

100 ЗАС
БАЛТУШИС



проданные годы

Scan Kreyder - 04.10.2018 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА



«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Леонид Грачев
Анатолий Жигулин
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Леонард Лавлинский
Георгий Ломидзе
Михаил Луконин
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камил Яшен**

Б И Б Л И О Т Е К А « Д Р У Ж Б Ы Н А Р О Д О В »

ЮОЗАС
БАЛТУШИС

проданные годы

РОМАН В НОВЕЛЛАХ

КНИГА ВТОРАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ●МОСКВА●1975

С(Лит)2
Б-20

Перевод с литовского
З. ФЕДОРОВОЙ

Художник **Л. ГРИТЧИН**

70302-005
Б $\frac{70302-005}{074(02)-75}$ **64-75** подписное



Юозас БАЛТУШИС родился в 1909 году в городе Риге, в семье рабочего.

«Официальное» образование будущего писателя ограничилось тремя классами сельской школы. Совсем ребенком он уже вынужден был зарабатывать себе на хлеб. Двенадцать лет проработал он у кулаков: восемь лет подпаском, четыре года батраком.

Когда стало совсем невмоготу, отправился искать работу в город. Долго бродил по Каунасу в поисках заработка, наконец устроился в контору по распространению газет и журналов — посыльным, упаковщиком. Для того чтобы обеспечить хотя бы прожиточный минимум, приходилось работать по совмещительству: утром натирать полы в театре (в том самом Каунасском театре, где в 1947 году была поставлена его пьеса «Поют петухи»), а вечером подрабатывать еще где-нибудь. Это были годы поисков не только места работы, но и своего места в жизни. Вчерашний батрак всерьез занялся самообразова-

нием, чтением литовской и русской литературы.

В начале 30-х годов Балтушис впервые пробует силы в литературе. В 1932 году в альманахе «Дарбас» («Труд») был опубликован его первый рассказ «Сахарная свекла». В рассказе изображен ксендз-стяжатель, который пустил по миру бедную вдову.

Опубликование рассказа имело для автора неожиданные последствия. Хозяйка конторы, где он работал, отказала ему от места. И снова потянулись долгие месяцы безработицы. В конце концов он устроился в типографию. Работал там переплетчиком, наборщиком, лнотипистом. Недоедал, недосыпал, но все свободное время отдавал литературе. Много читал и писал сам — о том, что пережил в деревне, о людях, с которыми встречался.

В 1940 году вышла первая книга Юозаса Балтушиса «Неделя начинается хорошо», куда вошли его восемь рассказов.

Творчество Балтушиса военных лет — один из примеров идейного и художественного роста литературы Литвы. Повседневная деятельность его тесно связана с работой в фронтовой печати, на радио. Рассказы о борьбе литовских партизан («Когда цветет росынка», «Так надо», «Рассказ партизана»), о солдатах-фронтовиках («Секунды тишины» и другие) составили сборник, названный «Белый клевер». В эти же годы он написал много радиоскетчей, обличающих фашистских захватчиков и литовских буржуазных националистов. Передаваемые по радио на временно оккупированную Литву, они находили там живой отклик. Для самого же писателя они были подступами к освоению нового жанра — драматургии.

В первые послевоенные годы — годы ожесточенной классовой борьбы с кулачеством — перед литовской литературой встает задача огромной сложности: помочь партии в формировании социалистического сознания людей.

В многообразном по жанрам творчестве Балтушиса этого периода драматургия заняла первое место. Первая пьеса Балтушиса «Поют петухи» (1946 г.) посвящена разоблачению уклада литовской буржуазной деревни. Действие пьесы происходит в конце 20-х годов, но в Пуронасе, главном действующем лице, узнаешь будущего вдохновителя тех кулацких сынков, что в годы гитлеровской оккупации беспощадно расстреливали советских людей, становились вожаками националистических банд.

В 1953 году написана еще одна пьеса «Ранним утром», проникнутая пафосом утверждения колхозной жизни.

Рассказы Ю. Балтушиса первых послевоенных лет примечательны глубиной проникновения в душевный мир героев. Это рассказы: «Ночь перед большой пахотой», «Совесть», «Краюха». Читая их, постигаешь всю сложность обстановки в послевоенной литовской деревне, проникаешься сердечным расположением к незаметным героям села, таким, как колхозник Шилинис, на свой страх и риск разоблачивший кулаков, сочувствием к крестьянину Нарутису, которого природное мягкосердечие побудило оказать помощь врагу. Рассказ «Краюха» потрясает жестокостью жизненной правды. Мысль автора о невозможности какого-либо снисхождения к врагу входит в сознание как насущное требование подлинного гуманизма.

Творческая деятельность писателя в первое послевоенное десятилетие не исчерпывалась его опытами в прозе и драматургии. Он не оставлял и жанра сатиры. Одновременно шла работа над романом «Проданные годы». Писать его Балтушис начал еще до 1941 года. Первая книга вышла в 1957 году. Орывки из нее появились в печати, но во время войны рукопись пропала.

Роман «Проданные годы» сразу обратил на себя внимание. Он был удостоен республиканской премии Литовской ССР. В приложении к журналу «Дружба народов» 1-я книга вышла в 1965 году. Но самую убедительную оценку книги дал читатель — вскоре после ее выхода потребовался дополнительный тираж. Этот роман в новеллах, как назвал его автор, состоит из ряда самостоятельных рассказов, связанных между собой главным действующим лицом. Герой всех рассказов — сын бедняка, подросток-пастушонок, работавший на кулаков, чтобы помочь отцу прокормить семью. Сила таланта автора проявилась в том, что он сумел посмотреть на старую литовскую деревню глазами гражданина социалистической Литвы, глазами нашего современника. Со страниц книги встают живые люди, и читатель все яснее сознает, что источник страшной жестокости и тупости, жадности и бессердечия несправедливый общественный строй.

Книга, которую мы представляем читателю, является продолжением первой книги романа «Проданные годы». На литовском языке она вышла в 1970 году в издательстве «Вага», на русском — в 1974 году в журнале «Дружба народов».

Дождь все лил, и наша курная избушка как будто стала еще меньше, беднее, совсем вросла в землю. Жерди в боковой стене стали тонкими, разошлись, солому из пазов выдуло, а дерюжка в дверном проеме трепыхалась на ветру, как юбка горемычной бабенки. Только пахло по-прежнему едким остывшим дымом да отсыревшим на подволоке отцовым самоса-дом.

Перед избой огород, от самой двери начинается: двора-то нет, одна тропинка. Шесть грядок — как были, так и есть. Торчат оголенные стебли самосада. Отец все лето обрывает листья, начиная снизу, чтобы верхние побольше выросли. Листья нанизывает на нитку и выдерживает в дыму. А стебли ломает осенью, когда огород тронет заморозками. После мелко режет их, мешает с листовым табаком и приготовляет такое зелье, что как зачадит сигаркой, мы все разбегаемся кто куда. Возле стеблей самосада — капуста, тринадцать литых ядреных вилок. В сторонке развесила светло-зеленые кружева морковь, там же шесть кустиков бобов, на которых еще видны почерневшие бугристые стручки, у изгороди тенистый хрен. Между грядками ютятся лебеда и мокрица — они так набухли от воды, одрябли, что их больше и не рвут.

В сенцах тихо. Как увели буренку во время болезни матери, так другой коровы и не привели. Остались ключья соломы от подстилки, осталась привязь с грязным от навоза концом и деревянной петлей, потемневшей от буренина пота. Больше ничего.

В избе тоже тихо. Темнеет, дождь барабанит в оконные стекла. Стекла черные — еще не вздували огня.

Эх, не надо было убегать от Дирдов. Как-нибудь бы перетерпел, подтянул живот. Будто каждый день надо есть да еще по два, по три раза. Эка беда, если Саямуте и повизжит немного, или начнет бурчать эта кикимора-Дамуле или старуха побухтит! Побурчат, побухтят и перестанут, меня от этого не убудет.

Может, вернуться? Вот сейчас же, пока никто не знает. К утру дойду. Скажу — заблудился, ночь проспал в ольшанике, потому и промок, а стадо пасти готов. Покричат, побранят, а пастух все равно нужен, — не прогонят же, оставят. И все будет хорошо. Опять стану пасти вместе с Аквилей, Ализас выбежит из кустов, увижу Казимераса. Хорошо...

Я было и повернул назад, но зашуршала и отпахнулась дерюжка, из сеней показалась мать, поглядела, заулыбалась.

— Пришел?

После тифа у нее вылезли все волосы, потом опять отросли, но не такие, как раньше, а седые, жидкие. И сама она стала другой. Будто кто осыпал ее золой, а потом сдул, но сдул плохо, так и остался этот серый налет.

— Пришел? — опять спросила она.

— Мама...

— Так пришел?

Из избы отозвался отец:

— С кем это ты?

— Мальчонка пришел.

— Какой мальчонка?

Дерюжка колыхнулась вверх. Придерживая ее рукой, отец глядел на меня.

— Ты? Все лето ждали, думали, навестишь, а ты вон когда. Хозяева другого времени не нашли, чтобы отпустить?

— Я не навещать. Хозяева меня не отпускали.

— Так как же? Без спросу пришел?

В дверях показались Лявукас и Маре. Отец обернулся к матери. Она опустила голову. Отец поглядел на Лявукаса, на Маре и опять на меня.

— Да ты... Как же так?.. Слышишь, мать? Я спрашиваю — слышишь? Поняла?

Первым, как водится, догадался Лявукас и вот обрадовался! Запрыгал на одной ножке, оскалил зубы и ну кричать:

— Топорик принес! Топорик принес! Топорик, топорик...

Отец ударил его наотмашь. Лявукас отлетел кувырком к дерюжке, поднялся, жалостно шмыгнул носом и показал мне язык.

— Отец...— начала мать.

— Молчать! — крикнул отец.

— Постой, отец. Не годится так...

Отец было раскипятился, но тут же махнул рукой и скрылся за дерюжкой. В сенях что-то стукнуло, скрипнула и захлопнулась дверь.

Маре и Лявукас присмирели.

— Пойдем и мы,—немного погодя сказала мать.— И мы все в избу.

— Может, мне вернуться? Как-нибудь продержусь...

— Не надо было приходить.

— Ну, пришел... Они поругают-поругают, больше ничего. Дотяну до всех святых... Думаю, дотяну...

— Лучше бы подумал, когда уходил. Куда уж там вернешься! — Мать подтолкнула меня вперед. — Поцелуй отца руку. Сердитый, а отходчивый, — вздохнула она.— Как войдешь, и поцелуй. Не мешкай.

Отец сидел на лавке, откинув голову к стене, с закрытыми глазами. Мне показалось — спит, но он сразу увидел, зачем я подошел к нему, и отдернул руку.

— Не лезь!

— Отец...— заговорила от порога мать.

— И ты не лезь...

Лявукас тихо сидел за печкой, поджав под себя ноги. И Маре была там, но она не глядела на меня.

— Сними мокрые лохмоты,—сказала мать.— Пойду поншу что-нибудь сменить.

— Какие такие лохмоты? — отпрянул отец от стенки.— Какие, я тебя спрашиваю? Может, его по головке

погладить, в теплую постельку уложить, напоить горячим молочком? Говори — так, что ли, мать?

Мать не ответила, тогда он и разбушевался. Вскочил с лавки и заходил по избе, как всякий раз, когда сердчал или был веселый: три шага туда, три — обратно. Ходил и громко рассуждал, — мол, от этого неженки, этого косорукого, от этого лежебоки, слюнтая, ясное дело, ничего доброго ждать не приходилось, но чтобы такого дожидаться... Это уж многовато. Да, многовато!..

— Ты хоть разорвись, хоть тресни, хоть сдохни три раза, а человеком останься! — кричал он, шагая по избе. — Шесть раз сдохни, семь раз, двенадцать раз, коль понадобится, а выдержи, отслужи свой срок, как все люди. Как все люди!

Задохнулся, остановился, отдышавшись, сгреб меня за плечи.

— И чего ты сбежал? Истязали тебя, собаками травили, цепами молотили?

— Отец...

— Молчать!.. Пусть сам, идол, расскажет!

Я рассказал о разделе братьев, о перекорах Салямуте с Дамуле, о Казимерасе, о том, как никто не хотел кормить меня.

— Все равно прогнали бы, — говорю.

— Прогнали бы? — крикнул отец. — Вот и надо было дожидаться, когда прогонят! Тогда бы заработанное получил, а теперь что? Много ты теперь с них возьмешь? Может, в суд подашь? Сам сбежал. Прогнали бы! Говорит, прогнали бы! Мать, растолкуй ты этому... растолкуй!

Мать не ответила и на этот раз, и отец продолжал бушевать. Сколько помню, никогда-то он ничего не мог сделать один, ему надо было, чтобы кто-нибудь поддакнул или хоть поспорил с ним. Если этого не случалось, отец не знал, как быть дальше, и ожесточался все пуще.

— Я тебя спрашиваю, мать! — крикнул он, только уже не сердито, а умоляюще. — Слышишь, мать?

Мать, конечно, слышала. Но не отвечала. Передела меня во все сухое, а мокрую одежку вынесла в сенцы. Отец глядел, ждал, и ничего не дождавшись, опять раскричался:

— Как же у других дети отбывают свой срок? Собачьи скулят, волком воют, а выдерживают. Не бегут, задрав хвост, не получив ни денег, ни припасов! Каких только хворей не наживают, припадочными становятся, слепнут, чахнут, дуреют, а все же людьми остаются, не бродячими собаками. Что ты скажешь, мать? Я тебя спрашиваю, отчего у других дети, как дети, а наши — не как у людей? Чуть его против шерсти погладят, не попотчуют сыром, маслом, копченым сычугом с чесночком — он тут же бежать, отцу на шею сесть — и вся недолга. А, мать? И так уж у меня на шее эти дармоеды сидят, — показал он рукой на Лявукаса и Маре, — теперь изволь и этого!..

Мать и на этот раз ничего не ответила, и отец снова принялся шагать из угла в угол. Долго так шагал и все косился на мать. Лявукас подобрался ко мне поближе и озорно спросил:

— Отлупцует тебя?

Ответить я не успел, потому что снова заговорил отец:

— И так уж на столе у нас пусто. Во всем доме пусто, макового зернышка не сыщешь!.. Тяконис, кровосос, иуда этот, опять только после рождества расплатится за все лето. У него, слышь ты, не все уродилось, Лявукас, покуда гусей пас, в убыток его ввел, ему надо после молотьбы все подсчитать... Чтобы ему черти на том свете все ребра пересчитали!

— Не ругайся, отец.

Отец остановился, обернулся к матери.

— Еще что скажешь? Пять ртов у нас за столом, что жрать-то будем? Ты мне скажи, раз такая умная!

— Ругань не поможет.

— А что поможет? Тут голова кругом идет...

— Не у тебя одного.

— А куда мне глаза девать? Как с людьми встречаться? Растил-растил сына, а он — шась — сбежал. А ты его и поругать не смей.

— Да уж отругал.

Отец обмяк так же внезапно, как и разбушевался. И сразу стал словно бы меньше ростом. Сел на лавку, ни на кого не глядя.

Лявукас опять присосался к моему уху и теперь не так озорно спросил:

— Не отлупцует?

И на этот раз я не успел ответить. Отец шевельнулся на лавке, припугнул:

— Сейчас вот сниму ремень!

Лявукас замер на месте, но отец уж успокоился.

— Не посоветоваться ли мне с Алаушасом, а? Как ты скажешь, мать?

— Добрый человек всегда словцо к месту скажет.

Отец повеселел и махнул рукой Лявукасу, чтобы позвал Алаушаса. Тот вприпрыжку выскочил за дверь.

Алаушас пришел не скоро, когда совсем стемнело. Высокий, худющий, с крупной седой головой,—шел он, опираясь на толстую, суковатую клюку. Про эту клюку, срезанную с дикой яблони, знали даже в Видугирай. Было на ней шестьдесят четыре сучка, а ручку никто не выгибал, — сама такая выросла. Многие говорили, что это олень загнул, когда рога сбрасывал, а как было на самом деле, никто не знал, только все завидовали Алаушасу, глядя на эту клюку.

Алаушас сказал: «Слава Иисусу Христу», присел к концу стола и стал набивать трубку. Он никогда и никуда не спешил. Набив трубку, долго ее не зажигал, а держал в руке и, прищурившись, глядел на нас.

— Пришел? — спросил меня.

— Как же, топорик принес,—объявил отец.— А ты, Алаушас, еще хвалил его, говорил — человек из него выйдет.

Алаушас покопался в загнетке, достал из-под золы голыми пальцами уголек, разжег трубку и спросил отца:

— Первый раз принес топорик и уж не человек?

— Что же мне, целовать его от радости?

— И целовать не спеши.

Он долго пыхтел трубкой, покуда не раскурил как следует.

— Бранить мальчонку и без тебя есть кому,—он медленно, со вкусом выпустил дым,—чего-чего, а ругани на долю бедняка всегда хватало. Хватит и твоему мальчонке. Этого он вдоволь получит. А вот кто ему доброе слово скажет, как не ты? Ну, кто? Мальчонка не от хорошего житья сбежал.

— Ну, запел,—рассердился отец.— Для того я тебя позвал, чтобы ты при нем на меня накинулся?



— Ты при своем детище правду выслушай.

— Да куда мне девать это... детище? Плата за пастьбу ухнула, а у меня и без того четыре голодных рта с ложками. Откуда пятой черпать?

Алаушас все курил, раз за разом затягиваясь дымом.

Можно было подумать, что пришел он просто покурить, не за чем другим. Отец нетерпеливо отмахнулся, отвернулся и молча устался в угол. Но и по его спине видно было, что внутри у него все клокочет.

— Верно, нехорошо получилось,— сказал Алаушас,— нехорошо. А все же, я так считаю, сосед, тебе радоваться надо на сына.

— На этого слюнтя? — вскинулся отец.

— Никому ног не целует, не дает помыкать собой, не ползает, как побитая собака — вот какой у тебя сын. Ого, не у всех такие дети!

— Где там,— сердито усмехнулся отец.— У других дети не сбегают до срока.

— Зато они гнутся в три погибели перед каждым чучелом, лижут руки-ноги, себя ни во что ставят.

— На пустое брюхо не тяжело и поклоняться. Небось, спина не переломится.

— Спина-то не переломится, а душа? Привыкнет с малых лет, так и проживет весь век согнувшись, и померет таким. Этого ты бы хотел для своего детища?

— Хотел бы я знать, куда теперь девать это детище.

— Куда-нибудь денешь,— чмокая трубкой, сказал Алаушас.— А я так скажу — увидишь еще, выйдет человек из мальчонки.

— Если с голоду ноги не протянет.

— Где четверо кормятся, прокормится и пятый.

— По-твоему, я хвалить его должен?

— Хвалить не торопись. Но и бранить не торопись. Твоего мальчонку сама жизнь обтешет,— как еще обтешет! Меня на свете не будет, и тебя не будет, а она его все будет обтесывать, уж ты мне поверь!

— Ничего хорошего ты мне не сказал, Алаушас,— с горечью промолвил отец.

— Чем богаты, тем и рады.

Алаушас докурил трубку. Выбил ее, как всегда постукав о яблоневую клюку.

— Я пойду.

— И ничего хорошего ты мне не сказал,— повторил отец.

— Мальчонку отведи в школу. Как начнутся уроки в избе у Тякониса. Пусть посидит за книжкой. А сам присматривай ему хозяина.

— Как присмотришь в эту пору? Теперь не весна.

— И в эту пору можно найти. Случается. Возьмут до конца пастьбы, все кусок хлеба. Чего еще тебе надо? Ну, и я буду разузнавать, людей порасспрошу.

— Вот за это спасибо, Алаушас.

— Спасибо после скажешь.

Алаушас двинулся к двери и мимоходом толкнул меня локтем.

— Так говоришь, пришел?

— Пришел, дядя Алаушас.

— Плохо сделал, что пришел.

— Слыхал? — крикнул отец, когда вышел Алаушас.

— Отец... Опять ты...

— А ты что, ты что?..— снова вскинулся он. И раскричался на Лявукаса и Маре:— Да вы уляжетесь, черти полосатые?

Оба они так проворно нырнули под одеяло, что отец замолчал.

— Ложись и ты,— сказала мать.— Раз пришел, так ложись.

Все улеглись, Лявукас долго лежал, укрывшись одеялом. Только когда все затихли, он высунул голову и недовольно спросил:

— Так тебя не отлупцуют нынче?

— Не твоя забота.

Лявукас молчал-молчал, потом заявил:

— Меня в школу приняли.

— Тебя? А не врешь?

— Может, ты сам врешь, а меня приняли,— ответил он сердито.— Ты теперь не ученик, а я ученик. Буквы пишу.

— Пиши, пиши...

— А ты зачем вернулся? Тебя отлупцевать надо.

Тут зашевелилась и лежавшая с нами в изножье кровати Маре. Высунула голову и захлюпала:

— И Пятрас остался пасти, и Юргис, и все пасут... Один ты... А в школе над нами смеяться будут, скажут — брат у вас горе-пастух, беглый... Все будут смеяться.

— Зачем вернулся? —опять спросил Лявукас.

— Да вы перестанете? —прикрикнул отец с другого конца кровати,— какие разговоры среди ночи? Цыц у меня!

Долго стояла тишина. Нырнул под одеяло и уснул Лявукас, уснула и Маре. Не спал лишь отец, хоть и лежал неподвижно. Должно быть, не спала и мать. Она тоже лежала не шевелясь. Долго они так лежали, не шевелясь и не заговаривая. Только под утро услышал я отцов голос:

— А если подать на Дирдов в суд?.. Ты спишь, мать?

— Не сплю.

— В суд, говорю, на Дирдов, а?

— Чего ты добьешься? Мальчонка сам ушел, никто его не гнал.

— Чертов сын!

Мать смолчала.

— Хоть бы какую часть,— не утерпел, заговорил отец.— Всего и не требую. Как, мать, а? Зерно бы получить, картошку вырыть, что на его долю посадили.

— Спи, отец.

Отец повернулся на другой бок, полежал немного, опять повернулся.

— Спи, отец.

— Должна же быть справедливость!

— Должна, должна, отец. Спи.

— Чертов сын...

— Спи, отец.

Отец повернулся с боку на бок и не выдержал — приподнялся, сел.

— Пойду на рынок,— сказал,— нынче как раз базарный день. Авось, черт принесет какого-нибудь хозяина поплоче. Долго рядиться не стану. Иначе нам гибель. Слышишь ты, мать?

— Спи...

Но отцу уж было не до сна. Он живо собрался и ушел, выпив ковш студеной воды. Весь день его не было. Пришел только под вечер, с прояснившимся лицом, расправив плечи.

— Нашел. Завтра явится.

— Ну, видишь, отец,— обрадовалась мать.— И хороший?

— Нам выбирать не приходится.

— Знамо дело, отец. А все ж таки, кто?

— Приедет, увидишь.

Мать больше не стала расспрашивать, занялась своим делом. Все мы ждали нового хозяина. Он не спешил.

Прошел день, другой. Маре и Лявукас каждое утро уходили в школу, а я все ждал — до самой ночи. Отец из себя выходил, кричал и ругался, завидев меня, и то и дело спрашивал мать:

— Надул? Неужто надул? А, мать?

— Приедет.

— А ну как не приедет? А, мать?

— Приедет.

Хозяин и правда приехал. Был это не кто иной, как брат Пятраса Повилас Довидонис. Мать как увидела его, аж в лице переменялась.

— Родное детище этому зверю?

— Молчи,— остановил ее отец.— Кого еще надо? Ангела с небес стащить для него? Где взять об эту пору ангела?

Довидонис вошел в избу, уселся по привычке на хозяйское место, в передний угол, присмотрелся ко мне, спросил:

— Не ты это летось у Чяпулисов пастушил?

— Я самый,— отвечаю.

— Я и говорю, словно бы видал такого. Ты, может, не признал меня?

— Признал.

— Чего же не поздороваяешься, не поцелуешь руку?

— Мало били,— торопливо вступил в разговор отец.— Учили, как же, учили уважительному обхождению с людьми. Э, да что там... Шкура больно толстая...

— Потончает,— утешил его Довидонис.— Поживет побольше — она и потончает. Поживешь, братец ты мой любезный, так шкура не то что потончает, а бывает, от нее ничего не остается. Побегает за коровьим хвостом и как еще научится уважительному обхождению. Сколько же заломишь за своего горе-пастуха?

— Какой он горе-пастух, хозяин,— обиделся отец.— Прошлый год целиком отработал.

— То-то и оно, что прошлый. Много тебе прибыли от прошлогоднего снега? Так сколько же заломишь за этого горе-пастуха?

— Он не горе-пастух, — не сдавался отец.— В жизни чего не бывает... Если мой парень унес топорик из одного дома, чей-нибудь, может, унесет из другого.

— Это ты мне? — Довидонис глянул на отца и усмехнулся. — У меня не унесет, братец ты мой любезный, у меня никто ничего не унесет.

— Так зачем нанимаете в эту пору? — не утерпел я.

— Помалкивай, поросенок! — крикнул отец, толкнув меня. — Вы его не слушайте. Я ему сейчас вправлю мозги, — и он взялся за пряжку ремня.

— Отец... — заговорила мать.

Она стояла у двери. Стояла и ждала. В руках у нее была моя одежонка, давно высушенная и приготовленная. Теперь мать ждала — одевать меня или нет.

— Бабенка правильно говорит, — поддакнул, все еще усмехаясь, Довидонис, — бабенка, братец ты мой любезный, всегда правильно скажет. Детей бранить нельзя. Детям надо отвечать, когда они спрашивают. Так и родитель мой, упокой бог его душу, говаривал: коли дети спрашивают, — ты не ярись, все как есть растолкуй им. Так-то... А нанимаю я тебя, сынок, потому что хозяин тебе нужен, — ответил мне Довидонис, засмеялся и зажмурился от удовольствия — так он себе нравился. — Прослышал, что ищешь, и оставил без надзора дом, приехал вот.

Отец тоже попробовал улыбнуться — правда, одним уголком губ. Левым.

— Так как же? — вдоволь насмеявшись, спросил Довидонис. — Сколько же сдерешь за своего горе-пастуха? Полтора четверика ржи — не многовато будет?

— Только и всего, что полтора четверика ржи?

— Я и спрашиваю — не многовато ли?

— А что в придачу?

— И рад бы...

— За такого парня? И большой и работающий.

— Никудышный твой парень. Когда с Дирдами расплевался, из такого дома сбежал, то может, и со мной расплется. Опять мне искать пастуха?

— Так ничего и не добавите?

— Лето же, почитай, кончилось. Сколько ее, пастыбыто, осталось? Два раза обежишь со стадом жнивье и домой. Потом и корми его задаром.

— Где же задаром? Он не маленький, работу себе найдет.

— Какая уж работа в зимнее время? Батрак у меня есть, батрачку тоже нанял. Да и свои дети подрастают.

Полдня просуетишься, покуда какую-нибудь работенку найдешь. Бездельничать будет пастух.

Мать дернула меня за рукав.

— Они тут поспорят-поспорят и сторгуются,— сказала она, выведя меня в сенцы.— Переоденься. Чтобы не терять время...

Она скоренько одела меня. Но Довидонис еще скорее договорился о плате. Когда мы с матерью вернулись, он стоял посреди избы и растолковывал отцу:

— Ни ты мне сделал одолжение, ни я тебе. Когда у меня нужда, ты мне уступи, а если он угодит — я его не отпущу, оставлю на другой год...

— Когда так, чего же еще.

— Мне бы только угодил, а уж я, братец ты мой любезный!.. А, вот и он, свиной король. Ну, ехать пора, ехать...

Выехали.

На дворе у Тякониса ребятня. Шум, гам, трещит забор. Множество голосов... Не слышно было только Пятраса и Юргиса. А когда мы проезжали мимо, замолкли и все голоса. В школе, должно быть, кончилась перемена.

Солнце стало садиться, и вот уж порозовело политое дождем серое жнивье. Зарозовели и пашни, и почерневший загон картошки и даже густая трава вдоль канавок. На хуторах вспыхнули окна. Лишь за дальними полями синел подернутый дымкой лес, не тронутый закатным солнцем.

Едем вдвоем с Довидонисом, и давно уж. Едем и всю дорогу молчим.

— Кыш! — крикнул он вдруг, щелкнув кнутом.

Пугнул он не меня, а неподвижно стоявшего на одной ноге посреди луговины аиста. Аист и головы не повернул. Зато я вздрогнул. Испугалась и лошадь. Она фыркнула и так понесла, что мы оба едва не вылетели из телеги.

Довидонис гоготал.

Миновали речушку, Иоанна Крестителя, который поливал водой голову Христа. Иоанн был деревянный. Христос тоже деревянный. И ковшик черпать воду для крещения деревянный. И вода в ковшике... Нет, вода была настоящая, стекала блескучей серебряной струйкой. Довидонис снял шапку, перекрестился, прочел молитву и опять перекрестился.

— Почему не молишься? — ткнул меня в бок локтем,

— Да не знаю я.

— Чего не знаешь?

— Как молиться перед Иоанном Крестителем. Когда мимо креста едешь, знаю как, а здесь как — не знаю.

Довидонис придержал лошадь.

— Ты со мной шутики шутишь?

— Правда, не знаю.

— Как это не знаешь? К причастию же готовился!

— Да нет.

— Как так нет? Опять шутики шутишь?

— Да нет. Зимой хотел пойти, да захворал. И мать захворала. Отец сказал — успеешь еще.

Довидонис громко засопел и отпустил вожжи. Лошадь опять пошла рысцой.

— Вас, гольтепу, один черт разберет...— пробормотал он.

Поехали дальше. Довидонис долго ерзал на сиденье, нахлестывая лошадь, громко сопел и все-таки не выдержал:

— Ты не думай, что я тебя буду посылать к ксендзу, не на дурака напал.

— Я и не думаю.

— Вот и не думай, — повторил Довидонис и тут же показал вдаль кнутовищем. — Вот оно! Имение наше!

Именья там не было, а всего-навсего хутор. Да и не хутор, а хуторок стоял на высоком бугре. Дом — перестроенная и подновленная курная изба; прорубили пошире окна, сруб надставили снизу двумя венцами, сбоку пристроили горницу, стены которой еще пахли сосновой смолой, свежим мхом. Окна были без стекол и забиты крест-накрест досками. Многие подновили на хуторе, а клеть напротив дома осталась какой была — с потемневшей от ветхости, расписанной узорами дверью, и еще более потемневшими резными столбиками приклеты. У порога лежала истертая половина жернова. Замыкавшие двор с третьей стороны хлева были не намного новее клетки, а у денника прогнулся даже хребет кровли. С четвертой стороны не было ничего, потому что сарай и рига с овином стояли на отлете, чуть ли не у самого болота. К ним вела вязкая дорожка и множество колея, расползшихся по лугу и пашне. По обе стороны дорожки — длинные штабеля бревен, с отпиленными и неотпиленными горбылями. Здесь работали двое русских. Вкатывали на

высокие козлы сосновое бревно и распиливали его на толстые доски. Младший, весь в живописных рябинах, грудь нараспашку, мокрый от пота, стоял наверху, крепко зажав босыми ногами бревно; старший, с большой поседевшей бородой, внизу. Они водили продольную пилу вверх-вниз, и при каждом потяге пила стонала:

— У-ухты — ай-ай-ай, у-ухты — ай-ай-ай!

Бревен было много. И не только здесь. Ими были завалены с боков все строения. А не бревнами, так штабелями досок, окоренными слагами для обрешетки крыш. Поодаль от дорожки, у изгороди и риги, лежали груды камней. Везде все прибрано, все на месте. Не валялось нигде ни щепочки, ни обломка коры. Вокруг стоял запах влажной земли, древесины. И от русских пахло свежими опилками и здоровым потом.

— Уу-ухты — ай-ай-ай!

Из денника высунул голову какой-то парень, увидел нас, заухмылялся и пошел навстречу. На ходу он переваливался, как селезень, и задевал коленом о колено. Был он в сером полосатом пиджаке и полосатых же зеленых штанах. Сроду я не видел таких зеленых штанов! Обутые на босу ногу деревянные клумпы были все в навозе. Вышел из хлева и не вытер. Следом волочились налипшие на подметки длинные соломинки. Картуз плохо прикрывал давно не стриженные, торчавшие во все стороны жидкие волосы. Нос был долгий, как трепало, сдавленный с боков, сплошь розовый и насквозь просвечивал. Не просвечивал только толстый — пипкой — кончик. Вокруг носа — россыпь мелких, как конопляное семя, прыщей. Подойдя к нам, парень стал, по-прежнему ухмыляясь и не говоря ни слова.

— Что дома, Паурукас? — спросил хозяин. — Как тут русские? Никуда не отлучались?

— Жиду шматок свинины дали.

— Свинины? Какому жиду?

— Шинкялису дали. Заехал в обед, а они подцепили ножом и подали Шинкялису.

— Вот большевики. А он что?

— Подцепили и говорят: поглядим, как он будет есть свинину.

— А он и стрескал? Я тебя спрашиваю, что Шинкялис? Стрескал?

— Съел, хозяин.

Хозяин так заторопился распрягать лошадь, что запутался в вожжах.

— А где хозяйка была? — крикнул он, топчась на месте.— Она куда глядела?

— Шинкялис еще попросил, хозяин. Съел и попросил: дайте, говорит, еще кусочек съем.

— Вот нехристь! Я тебя спрашиваю, где хозяйка была?

— Подцепите, говорит, ножом подцепите. Я, говорит, с утра, не евши, мотаюсь...

— И опять стрескал?

— Они и дали... Поглядим еще, говорят, как будет есть.

— И этот кусок стрескал?

— А хозяйки дома не было, хозяин. Она лен стлала.

— А ты-то, ты-то, чтоб тебя черти взяли, куда глядел?

— Я, что ли, хозяин?

— Чертов ты огрызок,— крикнул, вконец обозлившись, хозяин.— Оставил тебя дом сторожить, а ты... ты вон как...

Паурукас поднял правую ногу и долго почесывал ее левой рукой. Знать, ему трудно было уразуметь, куда он глядел, покуда Шинкялис уплетал хозяйскую свинину. Вдруг он сам окликнул Довидониса:

— Хозяин, а хозяин!

— Ну!

— Мариёна хлеб взяла.

— Как так взяла? Где?

— Когда пасти пошла. Полезла за стол, целую краюху отломил.

— Вот змея. А хозяйка куда глядела?

— Я не брал, хозяин.

— А ты глядел и ничего не сказал?

— От полбуханки краюху отхватила и унесла на выгон...

— А ты молчал? Я тебя спрашиваю: ты молчал?

— К стаду унесла, на выгон. Хозяйка не видала, это я увидал. Краюху под мышку — и на выгон.

— Вон ты как со мной, Паурукас? — бросил вожжи Довидонис.— Четыре года в моем доме, я тебя первым человеком считал, а ты... вон ты как со мной? Я-то всем говорю — Паурукас у меня правая рука, без Паурукаса

я как без рук. А ты вон как со мной? Я тебя расхваливаю, а ты вон как?

— Не брал я, хозяин.

— Тебя черт тащил-тащил и мне на шею посадил! Дома кто что хочет, то и жрет, жидам свинину раздают, а ты... Не брал, не брал! Оставил тебя дом сторожить, а ты что? А ты?

Паурукас потупил глаза. Пипка на носу у него из красной стала синей. Он уж не почесывал ногу. А Довидонис кричал, что он вычтет у Паурукаса из жалования за «шкоду», что он ему покажет, как должна вести себя правая рука хозяина. Накричавшись вдоволь, стал распрягать лошадь, только все валилось у него из рук: отпустил чересседельник, опять подтянул и, верно, раза три снимал с оглобель дугу.

— Хозяин,— еще раз окликнул его Паурукас.

Довидонис обернулся.

— Хозяйка зерно-то нашла.

Довидонис выпустил из рук дугу — стоял, хлопал глазами. Паурукас снова стал почесывать ногу.

— Какое еще зерно, дурень? — крикнул Довидонис. — Чего зря языком треплешь?

— Куры занеслись, а яйца кладут не на месте. Хозяйка и стала выслеживать. Куры в половню, и хозяйка в половню. И влезла на мешок, что под мякиной.

— Перестань молотить! — рявкнул Довидонис, так что русские бросили работу и оба обернулись.

Паурукас все почесывал ногу.

— Кабы я не говорил, хозяин. А я говорил. Не прячь, говорю, хозяин, зерно в мякину. Не прячь, хозяин. Разве баба не найдет под мякиной? Бабе это раз плюнуть. Я знаю...

— Замолчишь или нет, черт косогузый? — слабым голосом сказал Довидонис, крикнуть громче он не мог — задохся. — Выпрягай лошадь!

— Раз баба примется искать, хозяин, она у черта из под хвоста достанет. Я уж знаю. Когда баба поищет хорошенько... И что вышло? Под мякиной, мол, баба не найдет. Она выследила курицу — и прощай зерно. Говорил я, не прячь под мякину. И этот мешок нашла, а после другой... После она все дела бросила, мешки искала.

— Лошадь, лошадь выпрягай!..— хрипел Довидонис.— Лошадь, говорю, окаянный, свиное рыло! Уймешь-ся ты наконец?

— Потому и сказал хозяину: в половне не прячь, сказал. Разве баба не найдет под мякиной? Под мякиной ей раз плюнуть... Я знаю...

Может, мне показалось, а может, и правда неумолчная болтовня Паурукаса довела хозяина до слез. Он махнул рукой и отошел к русским. Те отдышали, сидя на колоде. Довидонис угостил их табаком.

— Попробуйте моего. Покупной.

Паурукас, посмеиваясь, стал выпрягать лошадь.

— Кабы я не говорил... Баба как примется искать, ей раз плюнуть под мякиной.

Поглядел на куривших мужиков, а на этот раз сказал уж мне:

— Не заплатит он.

— Кому не заплатит?

Паурукас не ответил. Только когда кончил выпрягать и вывел лошадь из оглобель, спросил:

— Так ты приехал?

— Или сам не видишь?

— Отвечай: приехал?

— Кому не заплатит?

— Ты слушай, что я тебе говорю,— сказал Паурукас, взяв лошадь за повод.— Я здесь батраком чтыре года служу. Чего же ты, пастушонок, лезешь ко мне с расспросами? Чего лезешь, когда я сам тебя спрашиваю?

— Кому не заплатит? — опять спросил я, да так громко, что Паурукас попятился.

— Все равно не ори на меня,— сказал он.— Пастушонок, а сам орешь. Ты погляди: подсел к ним хозяин, дал табаку... покупного! Вот и говорю — не заплатит русским. Знаю я.

Дернул за повод, повел лошадь к конюшне, на полдсроге стал, оглянулся и объявил:

— И тебе не заплатит.

— Тебе самому не заплатит.

Паурукас улыбнулся, постоял еще, спросил:

— Здорово тебя пороли?

— Кто?

Паурукас улыбнулся еще шире:

— Какая теперь порка. Вот меня пороли, так пороли! — И повел лошадь дальше.

Я стоял и глядел ему вслед, а тут сзади незаметно подошел Довидонис.

— Чего стоишь, братец ты мой любезный?

— А что мне делать?

— Мариёна время теряет на выгоне, а ты не знаешь, что делать? Так-таки не знаешь?

— А если у меня брюхо подвело. Не обедал я.

— Поешь после пастьбы. Твое не пропадет,— сказал с улыбкой Довидонис.— Погоди, погоди,— остановил он меня.— Чего бежишь, когда приказа моего не было? Ты слушай. Скотина отдыхает на жнивье, выгон у меня хороший, как бы ты не заскучал. Вот ты подбери камушки, и не будет скучно.

— Какие камушки?

— Там увидишь. И куча начатая есть. Еще прежний пастушок начал, только заленился и не кончил. Если, говорю, кончишь, я не рассержусь,— опять улыбнулся он и весело добавил:

— Я вовсе не сердитый.

На краю поля коров не было видно. Не было и овец. Одна Мариёна выбралась из ольховых кустов и остановилась передо мной, широко расставив ноги, помахивая ракиевой хворостиной. Была она невелика ростом, зато плотная, востроносая, румяная, а на левой щеке — изрядный шрам. На меня глядела сердито и вовсе сердито спросила:

— Зачем пришел?

— Тебя сменить.

— К Довидонису зачем пришел? Чья это баранья голова надумала отпустить тебя к Довидонису?

— У нас баранов нет. Отец отпустил.

— И ты пошел?

— Наняли меня.

Мариёна засмеялась. У нее и смех был сердитый.

— Кто же тебя нанял? — прищурившись, спросила она.

— Кто тебя нанял, тот и меня.

— Вижу, что тот же самый.

— Видишь, так не спрашивай.

— Не фырчи, от расспросов не рассыплешься. А ты не спросил Довидониса, сколько пастушков он прогнал за это лето и не заплатил? Ты будешь четвертый. Еще говорит — баранов у них нет. А что у вас есть? Может, ослы?

— По-твоему, не надо было наниматься?

— Сперва бы людей порасспросили.

— Хозяин велел тебе идти домой.

Но Мариёна не спешила. Видно, ничуть не боялась хозяина.

— Паурукаса видел? — спросила она. — Есть у нас такой куцегузый.

— Он сказал, не заплатят мне.

Мариёна усмехнулась, на этот раз повеселей. И сразу как-то похорошела.

— Паурукас всех так встречает. И меня и тебя... А сам за три года оббитого зернышка не получил. Четвертый год задаром.

— Паурукас?

— Не Маурукас же. Заплатит ему Довидонис, когда сивая корова околеет.

Опять усмехнулась. Но мне было не до смеха. Если Довидонис со всеми так...

— А тебе заплатит? — спрашиваю.

— Пусть только зажилит, — пригрозила она. — Пусть попробует зажилить! — И тут же мне: — Теперь ты оставайся пасти, и не плачь.

— Я и не плачу.

— И хорошо делаешь. Слезами не прокормишься, — сказала и пошла к дому, твердо ступая по раскисшей земле. В конце гона обернулась.

— Знаешь что, петушок?

— Я не петушок.

— Да и не петух. Вот что хочу тебе сказать: с Паурукасом не связывайся.

— Что он, свинья?

— Свинья — добрая животное, Паурукаса с ней не ровняй.

Ушла. В ольшанике лениво жевали жвачку коровы. То одна, то другая выходили из чащи, шастали по жнивью в поисках травки послаще, не тронутого утренником кустика клевера. Тут же бродили овцы, погрузившие к осени от сала и густой шерсти. Мариёна пасла

на совесть, вся скотина была сытая и слонялась лишь от скуки.

Сел я на камень, зажал кнут между колен, осматриваюсь. Места незнакомые, никогда я их не видел. Пригорки, косогоры, ложбинки, разбросанные по холмам хутора. Возле домов темнеют яблони, кое-где виднеются липы, строем стоят вдоль заборов башни тополей...

По жнивью приближался ко мне какой-то парнишка. Небольшого роста, тонконогий, с вздутым животом и длинными, болтавшимися, как два цепа, руками. Подошел, стал, молчит. Глаза большие, белесые, и, видать, парень не умывался с самой пасхи. Замурзанный, под носом разводы. Постоял, поглядел на меня и, не сказав ни слова, поднял с земли камень, понес дальше. Камень был тяжелый, парнишка тащил его, как муравей соломинку, вихляя во все стороны тонкими ногами. Донес до большой кучи возле кустов, вкатил на самый верх, потом вернулся и опять уставился на меня своими белесыми глазами. Устал, не мог отдышаться.

— Ты кто такой? — спросил я. — Чего тебе надо?

— Я хозяин.

— Чей же ты хозяин? — засмеялся я. — Может, кошкин?

— Вот и не кошкин. Папаша помрет, земля мне достанется. Я тут главный во всем доме. Я хозяин.

Поднял другой камень, побольше первого, прижал к животу и опять попер к куче. Вернулся, совсем задохшись, с широко открытым ртом, и долго не мог выговорить ни слова.

— А ты не хозяин, — отдышавшись, объявил он. — Ты пастух.

— И ты не велик барин. Камни таскаешь.

— Я хозяин, я работаю. Мы, хозяева, все работаем, не сидим сложа руки. А вы, наймиты, сидите. Вам бы только побездельничать, послаще поесть за хозяйским столом да подольше поспать...

Поднял третий камень. Опять попер.

— Но, но-о-о! — услышался из-за кустов голос Довидониса.

Он правил стоя, а телега была завалена почерневшими и провонявшими ольховыми ветками. Верно, пригнетали ими лен в мочиле, а теперь он вез их домой на топку.

Подъехав ближе, натянул вожжи.

— Ай да Альбинелис, ай да помощничек! — похвалил сына. — Минутки без дела не посидит, все за что-нибудь возьмется. — Обернулся ко мне: — А ты что заспесивился, не поможешь моему хозяину? Не умеешь, так мой Альбинелис покажет. Альбинелис, покажи, как таскать камни.

— Я показывал. Он не хочет.

— Не хочет? Как так не хочет?

— Я коров пасу, — ответил я.

— Вижу, что не обедню служишь, — улыбнулся Довидонис. — Да, только когда пасешь, ноги заняты, а руки что? Может, боишься — отвалятся? Не отвалятся, не бойся. Погляди на моего Альбинелиса.

— Мое дело — пасти, а не камни катать...

— Хорошо, хорошо поешь, братец ты мой любезный, да как бы тебе за ложкой не надорваться.

— Как так за ложкой?

— А так вот: кто камешек не поднимет, тот, может, и ложки за столом не поднимет. Подумай хорошенько, братец ты мой любезный.

Вытянул лошадь кнутом, и воз двинулся, подметая жнивье вершинками веток. Альбинелис тащил уж пятый камень.

Принялся таскать и я. Камней здесь была уйма. И на пашне и вдоль дороги. Там и сям они были собраны в огромные, высокие кучи.

Скотину я пригнал в сумерки. На дворе ее встречала Мариёна с подойником в руке. Коров отогнала в сторону и села доить.

Паурукас отвел лошадей к хлевам и стал задавать корм, поругиваясь в темноте.

— Ступай в избу, — сказала Мариёна, — обнюхайся, а я подою и сама коров привяжу.

В избе еще не зажгли лампы. На шестке под большим таганом трещал огонь. В большом чугуне варилась картошка. Поставила ее хозяйка, женщина ростом повыше Довидониса, только очень тощая, изнуренная. Волосы у нее были зачесаны назад так туго, что глаза чуть не вылезали на лоб, и оттого она казалась испуганной. Все-то она торопилась, металась из стороны в сторону и ничего не могла сделать сразу, даже дверь затворить: вой-

дет, захлопнет ее, а потом вернется проверить, хорошо ли прикрыла. И все рысю. По нескольку раз хватает горшок либо миску, поставит на стол, переставит на другое место; раздует огонь под таганом, тут же начинает поправлять, переворачивать хворостинки, и от этой хлопотни огонь гаснет, не желает гореть.

Довидонене то и дело сетовала:

— Никак не успеваю. Ну никак, никак!..

Перед печью стоял стан с навитой пряжей, но ткань еще не было начато. На нижней поперечине стана, под навоем, пристроились Довидонисовы ребятишки. Их было трое. Знакомый уже мне Альбинукас, девчужка лет шести, Уршулите, и Унтанюкас — совсем еще сопливый, без штанов, ноги прикрыты только подолом холщовой рубашонки. Все вялые, раскисшие, а Уршулите и Унтанюкас успели задремать — согрелись у огня. И Альбинелис сидел не шевелясь, но с открытыми глазами. Когда пригляделся я, вижу — он не моргает и ничего не видит, словно угорел. Тронул его за плечо, окликнул:

— Альбинас!

— Не лезь! — вскинулась на меня хозяйка.— Тебе чего надо от моего сынка? Тебе мешает мой сынок?

— Не мешает.

— Так чего лезешь, раз не мешает? Подремать ему не даешь?

— Да он глядит... Спит, а сам глядит.

— И пусть себе глядит. Тебе мешает, коли глядит?

— Не мешает.

— Так и не лезь к моему сынку! — кричала она.

Потом смягчилась, стала рассказывать:

— С перепугу такой стал. Отец раз замахнулся на него поленом, он и перепугался, с тех пор и не закрывает глаз. Мы уж и собачьей шерстью подкуривали, и деве Марии Непорочного зачатия жертвовали; ничего не помогло, не закрывает глаз сынок, да и только. Спит позаячьему.

Немного погодя добавила:

— Вырастет — выздоровеет.

И помолчав, еще увереннее сказала:

— Детишки ведь выздоравливают.

Взяла черную от сажи отымалку, обхватила ею чугуна, сняла с тагана и сцедила воду сквозь эту же отымалку. С грохотом поставила чугуна на середину стола.

— Вздуйте огонь! — крикнула она неизвестно кому. — Ужинать!

Вошел Паурукас, долго возился, пока зажег коптилку, поставил ее на опрокинутое блюдо, чтобы светлее было. Пришла и Мариёна с высоко подоткнутым подолом, принесла с собой запах парного молока. Сполоснула руки в углу у двери. Хозяйка достала высокую крынку кислого молока, поставила рядом с чугуном, потом большую глиняную миску. Уселись мы все, но есть не начинали, пока хозяин все еще покрикивал на дворе, навел там порядок. После долгого ожидания явился и он, окинул взглядом стол, хозяйку:

— А чем картошку заедать?

— Кислым молоком, отец.

— Та-ак, молоком. Сметану сняла?

— Сняла, отец.

— Сняла. Как следует сняла?

— Сняла, отец, ну, как по-твоему!

Довидонис молча взял крынку со стола, поднес к коптилке, заглянул внутрь.

— Когда, говоришь, сняла, отчего же оно по краям желтое?

— Да сняла я!..

— Дай сюда ложку.

— Сняла я, отец, ну, как по-твоему! Сняла, сняла я сметану!..

— Ложку дай!

Довидонис зажал крынку под мышкой и долго вылавливал пленки сметаны и стряхивал в блюдо. Хозяйка сидела, опустив голову. Детишки совсем уснули под станом. Паурукас ухмылялся, а Мариёна цедила сквозь зубы:

— Чтобы тебе подавиться... подавиться...

— Ну, господи, благослови! — Довидонис поставил крынку на стол, кончив свое дело. — Посолите да уплетайте на здоровье. Пожалуй, и я... подсяду и я к вам.

Подсесть-то он подсел, только ел не вместе со всеми, а из отдельной махонькой чашки, и там не молоко было, а масло. И сыр у него под рукой лежал, и краюха пшеничного хлеба. А когда умял все это, взял ложку и помог нам управиться с молоком.

— Есть же на свете злые языки, — шлепая губами, говорил он. — Меня кое-кто и жмотом обзывает. До-

видонис, мол, такой, Довидонис сякой, отцу на гроб дощечки пожалеет, из-за копейки вошь за десять верст погонит... Это я-то жмот! Я не жмот, я порядок люблю. В праздник, скажем, на пасху, на рождество, на крещение у меня на столе и ломоть потолще и приправа пожирней. А теперь что? Что у нас хорошего в будний день? Ветер загребаем, полой землю подметаем. Так же и на столе... Наваливайтесь, наваливайтесь, голодными не останетесь. Чем будний день от праздника отличишь? В будний день и еда будняя. Но голодать не голодаем. Наваливайтесь, мне не жалко, я для своих наймитов ничего не жалею. Не хватит молока, хозяйка с новой крынки сметану снимет. Снимешь, мать?

— Куда же денешься, как не снять?

— Слыхали? Наваливайтесь, голодными не останетесь.

Мы молча хлебали молоко, молча лупили картошку.

А ребятишки все спали под станом.

Когда все поели, женщины собрали со стола остатки ужина, поставили на скамеечку и придвинули ее к стану. Стали будить, расталкивать спящих, заставляли поесть. Ребятишки качались из стороны в сторону, норвили прислониться к стану, опять засыпали. Довидонису жалко стало их, он и раскричался:

— Долго будете мучить моих детишек? Не хотят есть, пускай ложатся. Жалко, если поспят? Уложите на кровать, пускай спят!

— Да голодные они, отец,— сказала хозяйка.— В обед что ели, что не ели... Какой уж сон на голодный желудок?

— А если не хотят? Сама видишь — не хотят, чего же пристала? Лучше бы эту картошку пороссятам снесла.

Подошел, взял на руки Альбинелиса, отнес на кровать.

Женщины перетасили Уршулите и Унтаюкаса. Ребятишки мигом заснули. Оставшись без дела, Довидонис слонялся по избе и все шевелил лопатками.

— Не захворал ли, отец? — встревожилась хозяйка.

— Кости что-то мозжит...

— Мозжит? Ну, ты захворал, отец!

— Так тебе и захворал?

— Полезай на печь. Видать, прозяб у мочил, ветром продуло. Полезай, полезай, не мешкай. Прижмись к горячей печи — и пройдет все. Лезь.

— Чего там прижмись, когда печь остыла.

— Где там остыла, вовсе не остыла, отец! С утра попону расстелила.

— Рад бы на печь, а кто клепки на бочку резать будет? Сама плакалась, капусту не в чем заквасить.

— Не убегут твои клепки. Кости прогреешь и нарежешь. Попону отодвинь, когда влезешь, и грейся.

Хозяин ничего не сказал, но на печь не полез. Постоял, поозирался по сторонам, наконец объявил:

— Пожалуй, полезу.

— Лезь, отец, лезь, не теряй время, или боишься оставить нас без присмотра?

— Бояться не боюсь, а знать вас знаю. Чуть только отвернись, работа — из рук, достаток — из дома.

— Побойся бога, отец, такие слова говорить.

Паурукас принес два березовых срезка и стал обтесывать подошвы для клумп. Женщины сели прясть, а мне дали расщипывать клочок шерсти. Шерсть была сальная, сбившаяся в колтуны, с застрявшими в ней колючками чертополоха — видать, еще прошлогодней, а то и позапрошлогодней стрижки.

Все занялись делом, а Довидонис еще стоял посреди избы, сопел, почесывал бока, грозился влезть на печь и все не влезал. Хозяйка, наклонив голову к кудели, молча пряла.

— Пожалуй, влезу.— Чуть не в десятый раз повторил Довидонис.

И правда влез. Влез и тут же выглянул из-за колпака очага, словно хотел спросить, все ли мы видим, что он на печи, потом занавесился попоной и словно в отдельной комнате очутился. Сразу утих, верно, пригрел больные косточки, начал похрапывать.

И внизу стало тихо. Альбинелис и Уршулите,— не умытые, не раздетые,— спали рядом, свернувшись в клубочек. В ногах у них свернулся Унтанюкас, разинув рот в сладком первом сне. Изредка кто-нибудь из них дергался, вскрикивал не своим голосом, вскакивал, тупо глядя вокруг, и снова падал, погружался в глубокий сон, как в омут. Хозяйка и Мариёна сидели за прялками, молча подергивали кудель. Притих и топор в руках Паурукаса, будто не дерево обтесывал, а резал кашу. А я все расщипывал и расщипывал шерсть.

Хозяйка воровато оглянулась на печь, где все больше набирал силу храп Довидониса, стараясь не стучать, остановила прялку, скользнула за стол. Там она схватила прикрытый толстым полотенцем хлеб и откромсала ломоть. Когда вернулась за прялку, положила ломоть на край стола. Одной рукой сучила нить, другой — отщипывала от ломтя и кидала крошки в рот.

— Мать! — рявкнул вдруг с печи Довидонис.

— Боже милостивый! — вздрогнув и побледнев, закричалась хозяйка. — Чего тебе еще? Ошалел, отец, что так орешь? Владыка небесный, прямо обмерла... и не отдышусь. — Она ухватилась за грудь.

— Отрежь хлеба на мою долю и подай сюда, — сказал Довидонис. — Завтра съем.

— Что ты говоришь, отец? — чуть не заплакала хозяйка. — Хлеба тебе жалко? Много ли я взяла? Только что голодный желудок обмануть!

Довидонис не ответил, он снова захрапел. Зато не унималась хозяйка.

— Коль сам проголодался, отец, коль самому захотелось, кто же тебе не велит? Отрежь себе, ешь на здоровье, никто слова не скажет!

— А к чему на ночь есть? — отозвался Довидонис. — Как бы во сне греха не случилось...

— А теперь довольно! — рассердилась хозяйка. — Теперь уж довольно! Тут из сил выбиваешься, день и ночь работаешь не покладая рук, и в своем доме не смеешь взять крошку хлеба! Это как по-твоему, отец?

Но Довидонис не слышал. Он опять заснул и сладко посапывал. Хозяйка плюнула и снова стала прясть, да так, что прялка зажужжала. Потом немного успокоилась, остановила прялку. Глаза у нее покраснели от недосыпа. Так она сидела, тупо глядела на нас.

Паурукас кончил обтесывать подошвы, взял нож и стал делать насечки для гвоздиков. Мариёна, как начала прясть, так все и прядла, будто ничего не видя, ни о чем не думая. И опять в избѣ стало тихо, спокойно.

— А-а-а! — вдруг дурным голосом крикнула Уршулите.

Проснулась, обеими руками обхватила голову.

— Ушко, мама, опять у меня ушко жжет! Ой-ой, как больно... Мама, как мне больно!

Хозяйка взяла дочь на колени, прижала к себе, прикрыла ей голову ладонью.

— А-а-а! — все громче кричала Уршулите.

— Ну, что ты, детка, что ты... — уговаривала ее хозяйка. — Сейчас пройдет, ты только потерпи, и пройдет, заживет ушко... Ты только потерпи... Ты же знаешь, Уршулите, ушко поболит-поболит и перестанет, потерпишь, тут же и перестанет болеть... или не помнишь?

— Не перестанет, мама!.. А-а-а!

— Перестанет, перестанет, только потерпи. Я же говорю, увидишь — перестанет... Потерпи!

— Да очень колет ушко... Ой-ой, как колет! — плакала Уршулите. — Больше не могу, мама, а-а-а!

Хозяйка перестала уж уговаривать ее, только поглаживала, прижимала к себе, дышала на больное ухо, но Уршулите кричала и кричала не переставая.

— Ироды! — Мариёна остановила прятку. — Ироды проклятые!

— Помолчи, Мариёна, — сказала хозяйка. — Мы сами, сами... Не плачь, Уршулите, — снова принялась она утешать дочку. — Сейчас полегчает, пройдет, опять тебе станет хорошо... Попросим папашу, он повезет тебя к доктору, опять станешь здоровой, больше никогда не заболит ушко...

— С каких это доходов везти? — проснулся на печи Довидонис. — В доме ни гроша.

— Воспаление уха у нее, отец. Это что по-твоему? Вырастет девчужка глухой, куда ее денешь? Где взять калеке жениха?

— Выдумки! Сколько ребятишек болеет ушами и не раз болеет, так все и бегут к доктору?

— Не так болеют, отец, или сам не видишь? Ни единой ночи девчужка не пропустит — все в слезах и в слезах. Надо везти.

— Так и вези. Выкладывай докторам сотенные.

— И выложила бы, ничего бы для своего детища не пожалела. Да где они, мои сотенные? Откуда их выкопаю?

— Захочешь — выкопаешь. Ишь, ты все на мою мощну зарисься, все от меня ждешь?

— Что ты говоришь, отец? Это как по-твоему?

— Не дождешься, у самой есть.

— Ну, как это по-твоему, отец? — вскинулась хозяйка.— Где они, мои сотенные? Все прибрал к рукам, за семью замками держишь и еще мне глаза колешь! Что у меня есть? Саван в сундучке, вот и все мое достояние! Или, может, саван продать? Чтобы меня голой-босой в гроб положили! Так ты скажешь, отец?

— Ты под саваном поищи.

— Нет, ты совсем ошалел, отец! Перегрелся, видно, на печи, вот и мозги набекрень!.. Под саваном! Завладел всем домом, на все наложил лапу, крошки хлеба не вытрясешь из тебя, теперь и на саван позарился? Это как по-твоему? Мало тебе дома, никак не насытишься моим добром?

— Мели, мать, мели языком, — ответил печальным голосом Довидонис.— «Завладел, наложил лапу»... Что у меня есть? Земля и раньше была твоя и теперь твоя, изба — твоя, скотина — твоя, все до последней соломинки — твое. Ничего нет у меня. Вошел в дом примаком, голый, все здоровье на него ухлопал, а задумаешь ты выгнать — голым и уйду. Ничего у меня нет!

Хозяйка язык прикусила услышав такое от мужа. Уршулите, и та утихла, крепче прижалась к матери.

Мариёна все пряла — ждала, что будет дальше.

Паурукас ковырял ножом подошвы, ничего не видя и не слыша.

— Лазаря запел? — пришла в себя наконец хозяйка.— Опять лазаря запел, отец?

Довидонис не отзывался. Мне даже послышалось, будто он опять захрапел.

— Раз ты такой, отец, чего ж зерно в половне припрятал? Отвечай, ворюга ты этакий!..

— А-а-а! — неожиданно взвизгнула Уршулите. — В ушке, мамушка миленькая... в ушке опять закололо!..

Хозяйка принялась унимать, успокаивать дочь, но ничто не помогало. Та визжала все громче и громче. Хозяйка опять накинулась на Довидониса.

— Отвечай, ворюга, отвечай!..

— Свое ворую, не твое!

— Теперь уже свое? — крикнула хозяйка.— Теперь уж не мое, теперь все твое? Так знай: не переписала на тебя дом и не перепишу! Чтобы ты все зацапал, чтобы меня с ребяташками из дому выгнал? Нет, мил человек, не выгнать тебе меня! Слышишь?

— Бог даст, и без того подохнешь.

Хозяйка хотела было ответить ему тем же, но тут, видать, у дочери сильнее закололо в ухе:

— А-а-а!

— Ироды! — крикнула опять Мариёна. — Душегубы проклятые! Надо бы, ох как надо сюда большевиков! Они бы вам задали перцу, уж они бы вам показали!

— Ну ты, ну! — закричал Довидонис, высунув голову из-за колпака. — Что ты мелешь, дубина стоеросовая?

Лицо у Довидониса было помятое, потное.

— Черта в дом накликать хочешь? — не своим голосом кричал он. — Знаешь ты, где место большевикам? Тебя спрашиваю: знаешь?

— Откуда мне знать? — зло умехнулась Мариёна. — Я не твой брат Пятрас, не меня ты выдал полиции.

Довидонис схватил березовое полено, что сушилось на растопку, хотел было запустить в Мариёну. И запустил бы, ясное дело, да подскочила хозяйка с визжавшей Уршулите на руках.

— Перебесились вы все, что ли, с ума посходили? Как это по-вашему?

Довидонис, тяжело дыша, улегся опять.

— Ложитесь, — промычал он.

И все улеглись.

Кто-то дергал меня за ногу и окликал:

— Эй, герои, соколы! Вставайте, вставайте!

Это была Мариёна. Стояла у изножья кровати в темноте.

— Третьи петухи пропели, а вы все не продряхнетесь? Вставайте, вставайте!

Подбежав к печи, раздула вчерашние угли, зажгла лучину и поднесла мне к самым глазам.

— Лежишь, растопырился. Проспишь — без невесты останешься.

— Сейчас встану...

— Разбуди и этого... вислогубого! — мотнула подбородком в сторону Паурукаса.

Паурукас лежал у стенки. Вечером еще попросил пустить его туда, потому как ночью он падает с кровати. Теперь он крепко спал, будто переломленный пополам, не разобрать, где руки, где ноги. Мариёна

плюнула, отвернулась, как от погани какой. Зажгла фонарь, взяла за дужку.

— Долго будете квохтать, клушки в портках? Не встанете, приду опять!

Трах-трах — гроыхнула дверьми. Светя себе фонарем, вышла во двор.

— Паурукас,— тронул я за плечо соседа.— Вставать пора, Паурукас...

— М-м-м,— замычал он, но вставать и не подумал.

— Вставать пора! Мариёна сказала. Третьи петухи пропели, слышишь?

Не то он услышал, не то нет, а все же пошевелился, но пошевелился лишь, чтобы поудобнее улечься. Сунул руки под подушку и опять захрапел.

— Паурукас! — тряс я его за плечо.— Хочешь, чтобы Мариёна вернулась? Вставай!

— Не приставай...— просипел Паурукас в подушку.

— Хочешь, чтобы Мариёна пришла?

Паурукас долго выпрастывал руки из-под подушки, но так и не выпростал. Опять скрючился, не открывая глаз.

— Не приставай...

— В ригу пошла Мариёна,— старался я растолковать ему.— Снопы расстилать. Не дождется нас, вернется, а тогда знаешь, что будет?

— Не приставай!

Слез я с кровати и — к ведру возле двери. Набрал полон рот воды, вернулся и прыснул в лицо Паурукасу.

— М-м-м...— застонал он. Уперся в постель коленями, кое-как приподнял зад, потом оторвал от подушки голову, оперся на локти. После долгого единоборства с постелью стал на четвереньки посреди кровати. Может, поднялся бы окончательно, но тут силы покинули его, он опять уткнулся носом в подушку и так быстро уснул, что не успел опустить зад. Я с горя схватил обтесанную им вчера подошву и трахнул по этому месту. Но Паурукас не проснулся, только вытянулся на постели и продолжал храпеть.

Я опять стал трясти и дергать его за что попало.

— Паурукас, вставай! Не слышишь разве, Мариёна идет? Мариёна!

Паурукас вздрогнул. Видно, имя Мариёны переслило сладкий сон. Долго работал он руками и ногами, стонал и охал, пока не повернулся на спину, а потом кое-как и сел. Ненадолго. Опять переломился, уронил голову, ткнулся носом в колени и уснул как убитый. Пошел я в другой раз к ведру. Но в рот воды не набрал, а зачерпнул ковшом и выплеснул, так что Паурукас вскочил, как ужаленный, и долго тарачил на меня глаза.

— Ты не больно-то... не больно... — начал было.

— А ты вставай!

— Чего пристал? — услышался с печи голос Довидониса.— Придет в себя, сам встанет, вашего благо-родия тут не хватало.

Хозяин стоял на печи, упершись макушкой в потолок, и застегивал штаны, которые так и не снял на ночь. Там же была и хозяйка — и она проспала с ним на попоне. Встрепанная, в одной рубахе.

— Он с утра только такой,— сказал Довидонис.— А как проснется, разойдется — на лошади за ним не угонишься.

— Это как по-твоему? — поддакнула хозяйка.— Мешает тебе наш работник?

Слезла с печи в одной рубахе, на ходу надела через голову юбку, обулась, пригладила волосы, повязалась платком. Пока дошла до порога, была совсем готова. Схватила подойник, плеснула в него воды, выбежала во двор.

— Пойду и я... за лошадьми присмотреть,— объявил Довидонис.— А Паурукаса не трогай, сам проснется.

И правда проснулся. Сел, спустил ноги, выгреб из-под кровати онучи, ступил прямо в деревянные башмаки, набросил на плечи зипун.

— Кто облил водой постель? — спросил он.

— Разве я знаю?

— Чего она мокрая?

— Разве мокрая?

Паурукас задумался.

— Может, ты под себя ходишь?

— Сам ты под себя ходишь.

Паурукас промолчал; видно, так и не догадался, отчего постель мокрая. Надел зипун, потянулся.

— Не больно ладно нынче...

— Что неладно?

— Неладно...

Выходим оба во двор. Еще темным-темно. Тихо все кругом. И петухи, отпев раннюю обедню, заснули на насесте. Попахивает полынью, навозом, подопревшей травой, может, еще кое-чем. Разве разберешь, чем пахнет по ночам в начале осени?

За распахнутыми воротами риги розовел свет. Фонарь висел на балке прясла. Мариёна уже свалила целый валок необмолоченных ржаных снопов и теперь двигала другой, — чуть не весь верхний слой клади. Придвинула к самому краю, нажала посредине плечом. У-ух — и весь валок рухнул наземь. Завалил пол-риги, пыль взвилась столбом.

— Рехнулась, что ли, — по столько кидать? — рассердился Паурукас. — Черт, что ли, смолотит тебе такой посад?

— Зачем черт? А на что здесь его сынок Паурукас?

Паурукас начал готовить посад. На вид казался слабосильным, а снопы подымал целыми охапками, растилал на току и ногой прибивал их друг к другу. Почти полпосада уложил и тогда обернулся к Мариёне.

— Так ты насмехаешься надо мной?

— Насмехаюсь? — удивилась она. — И в помыслах у меня не было.

— Так ты меня чертовым сынком обозвала? — подумав, спросил Паурукас. — Ведь обозвала? А то скажешь — нет?

— Выдумываешь ты, Паурукас, — усмехнулась она. — Чтобы я обозвала так тебя? Тебя?

— Обозвала же, — неуверенно сказал он. — Вон и пастух слышал, как обозвала. Слышал ведь?

— Ничего не слышал, — соврал я.

Мариёна фыркнула и прикрыла рот рукой.

— Выдумываешь ты, больше ничего, — с невинным видом сказала она. — Такого героя? Да ни в жизнь не обзову.

Паурукас сам не знал, поверить или не поверить. От беспокойства стал чесать ногу.

— Правда, что ли, не обзывала?

— Не выдумывай!..

На этот раз он поверил. Снова взялся за снопы. Живехонько кончил настилать посад во всю длину

половни. Мариёна спрыгнула с прясла, пригребла опавшие колосья.

— Начнем? — сказал Паурукас.

— Не горит, — осадил его Мариёна. — Пускай подойдет господу хозяева. За стол они всегда первые, так чего за цепами нам одним надрываться?

— Нехорошо так говорить, — сказал Паурукас.

— А еще хуже молчать, как ты, — отбрила его Мариёна.

В дверях показался Довидонис. Хозяйка подошла к половне, где на ясеневом гвозде висели цепи. Нашелся и для меня один, поменьше других, у него и путо было не ременное, а из витой в три пряди веревочки.

— Так с богом! — Хозяин перекрестился и поплевал на ладони.

— Драку-таку, драку-таку, — начали они вчетвером.

— Ладь и ты, чего стоишь? — стал понукать меня хозяин. — Ладь!

Я крепко сжал в руках цеп, приладился и ударил по посадку. Ударил как будто правильно, как и все были, но у меня молотило болтнулось со свистом куда-то в сторону и опустилось не на снопы, а возле половни, — бух!

— Как держишь, чучело! — крикнул хозяин. — Держи цеп наискосок, расставь ноги, стань боком, боком... боком к посадку! Ну, с богом!

— Драку-таку, драку-таку, — начали все четверо.

Я стоял боком, как было велено, и цеп держал наискосок, но молотило и на этот раз не послушалось: крутнулось в воздухе, пронеслось над головой Паурукаса и опустилось возле его ноги на голый ток.

— Убьет еще! — взвыл Паурукас, бросая цеп. — И жалованья не получишь!..

— Не ори! — прикрикнул на него Довидонис. — Как же научиться пастуху, если все кричать будем? Надо показать.

— Кто же мне покажет?

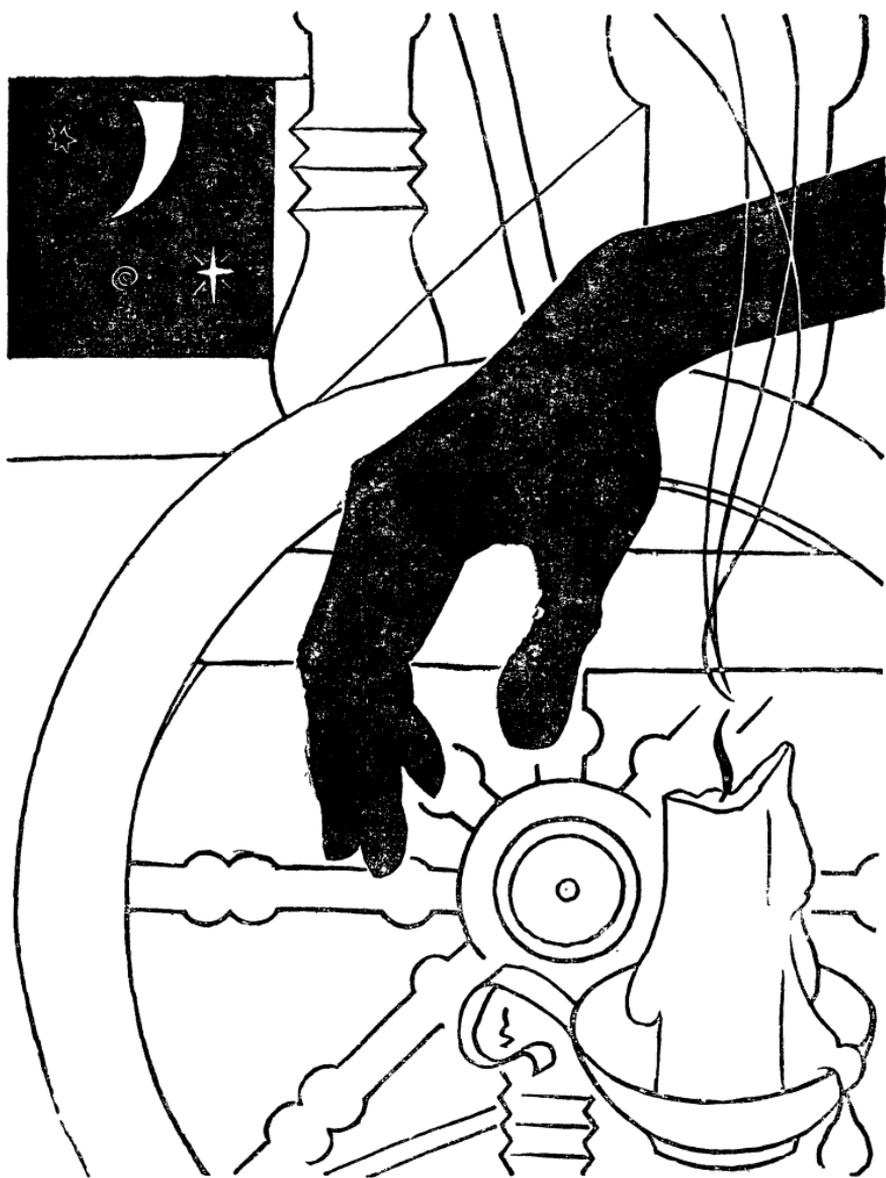
Довидонис набросил свой цеп на гвоздь, стал позади меня, взялся моими руками за цеп.

— Вот как, видишь? — стал мне объяснять. — Держи цеп поперек груди. Ухватись крепче, тебе сказано! Ну, как за забор, когда собака за тобой гонится! На себя бери и покручивай... Понял! Наискосок, наискосок кру-



ти, чтобы молотило вокруг цепа шло, а не вокруг Пауру-
касовой головы. Понял теперь?

И сам стал молотить моими руками. Обошли мы с
ним вокруг всего посада, тогда он отпустил меня, взял
свой цеп.



— Теперь все разом. Пастушок, ладь!

— Драку-таку, драку-таку...

Приладился и я, поднял цеп, крутнул назад. Моло-
тило со свистом повернулось в воздухе и точнехонь-
ко опустилось на свое место.

— Бряк!

— Что я говорил!— обрадовался Довидонис.— Ладь, ладь...

— Драку-таку, драку-таку...

— Бряк!

Так мы и молотили, и я увидел, что не такое уж мудреное дело — молотьба, надо только знать, как покручивать молотилом. И не зевать, соблюдать свое время, а там молотило само идет и тебя ведет. Вот и кончили посад. Молотильщики повесили цепи, развязали снопы, перевернули их. Довидонис подобрался ко мне.

— Из жалованья кое-что мне причитается.

— За что?

— За учение. Человеком я тебя сделал.

Я все же не понял, за что ему причитается, и тогда он растолковал мне:

— Когда человек родится, разве он человек? Умеет только есть да мараться. Человек — когда он цепом владеет.

Мариёна с Паурукасом кончили переворачивать снопы.

Стали мы опять впятером:

— Драку-таку, драку-таку...

— Бряк!

Обмолотили посад, за ним другой. Когда Мариёна полезла наверх сбрасывать снопы на третий, на скотном дворе запел петух. Ему стал вторить соседский певун, тому — тоже соседский. Так пропели, прокукарекали все ближние хутора.

— Вторые только, слава богу, вторые,— радовался Довидонис.

Мы все молотили, трясали солому, сгребали полови граблями, повернутыми вверх зубьями, сдвигали в кучу зерно. Фонарь под балкой стал тускнеть. Под стрелой зачирикали проснувшиеся воробьи.

— Кукареку-у!— снова загорланил наш петух.

Довидонис сердито сплюнул, обернулся к хозяйке.

— Печь пора топить, мать. Мы уж тут одни управимся. Не забудь ребятишек спугнуть с кровати, пускай перья щиплют.

Хозяйка набрала в подол полови — видать, курам.

— В денник загляни,— поучал ее хозяин.— Ночи теперь длинные, а лукавый и на заре не спит. Погоди! Не

забудь пильщиков блинами покормить, и подливку подай пожирней. А мы парочку посадов отмахаем, и довольно, и завтракать явимся.

— Едва хозяйка ушла, Мариёна повесила свой цеп.

— Еще чего!

— Что так?

— А коров кто подоит? Свиньям месиво приготовит?

— Ну, распустила глотку! Не твоя забота! Приготовят!

— Знаю, знаю. А лен кто будет стлать после завтрака?

— Не задаром работаешь.

— У меня не десять рук. Ни одного посада больше не стану обмолачивать, сами надрывайтесь,— и Мариёна повернула к воротам.

— Сбесилась ты? Четыре прясла снопов цепа дожидаются, лежат мышам на съедение, а ты не станешь молотить? Не станешь у меня? Просить тебя прикажешь?

— Хочешь цепами отбиться от мышей? Как же у других давно с молотьюбой покончили?

— Будешь меня учить, как надо хозяйничать? Не нанимал молотилки и нанимать не буду!

— Ну и машите цепами с Паурукасом.

— Поговори у меня! Не видал я твоей молотилки. Целого зернышка не останется, вся солома — в труху. Ни крышу покрыть, ни самим пропитаться.

— А в Латвии все нанимают,— сказала Мариёна.— И живут позажиточней, чем нашенские недотепы. В Латвии засмеют, если возьмешься за цеп.

Довидонис аж побелел от злости.

— Латвия, Латвия! Чтоб тебе подавиться твоей Латвией! Когда там так хорошо, зачем вернулась?

— Мое дело.

— А тут — мое! Молоти, тебе говорят по-литовски, а нет — так я и по-латышки могу.

— Еще чего!

Паурукас слонялся по риге и корчил рожи, а я стоял, выпучив глаза. Как это Мариёна смеет не слушаться хозяина? С ума она, что ли, сошла? Опять же собиравась кормить свиней, а не идет, ругается с хозяином, а он с ней — будто и не хозяин.

— Кто такие латыши? — гремел хозяин.— Лютеране твои латыши, постов не соблюдают. А уж скупые-то —

алтаря в церкви не поставят, молятся сундуку. Побывал я в Риге, навидался!..

Мариёна за словом в карман не лезла. Так и так, мол, в Латвии люди живут широко, не трясутся над каждой ниткой, над каждым зернышком. Батракам платят хорошо, читают газеты. А если бог правда в яслях родился и волю грели его своим дыханием, — такому и сундука довольно. На что ему позолоченные алтари?

Довидонис чуть не задохнулся от таких речей.

— Бесстыдница, бесстыдница... Тебе, тебе сказано, бери цеп... Бесстыдница!

— Еще чего!

— Хозяин! — заговорил Паурукас. — Пускай ее уходит. Давай молотить, хозяин.

— Ты мне говоришь? — переспросил тот.

— Пускай уходит. Без бабы будем молотить. Так лучше.

Мариёна усмехнулась, ушла.

Довидонис долго глядел ей вслед, хмыкнул, повернулся к Паурукасу.

— Идите все к черту!

— Хозяин...

— Дурак! Раз сказано — выметайся! — бушевал Довидонис. — Сказано, уходите оба!

Вышли. Паурукас шагнул в предрассветную темень и остановился.

— Опять зерна себе отсыплет.

— Кто отсыплет? Какое зерно?

— Кто остался, тот и отсыплет. Сидит один в риге, ждет, когда подальше отойдем. Я уж знаю. Спрячет под мякиной... А хозяйка опять заберется... Говорит, под мякиной баба не найдет! Баба если поищет... А потом опять на меня наорет.

— Погоди, Паурукас, — остановился и я. — Как это отсыплет? Зерно-то его же.

Паурукас молча постоял-постоял, потом приказал мне:

— Ты впереди пойдешь.

— Чего я буду впереди?

— А чего тебе сзади идти?

— Тебе не все равно?

— Иди первый. — Он стоял и ждал, пока я не двинулся. Тогда пошел позади, тихонько бормоча:

— Знаю я... Как очутился за спиной — тут же передразнивать... Впереди, впереди...

Вдруг вцепился мне в плечо:

— Постой. Ты что, правду мне сказал?

— Какую правду?

— Так зерно Довидонисово? Верно — Довидонисово?

— Вот новость! Чье же еще?

— Постой... Нет, ты постой, пастух! — Он еще крепче стиснул мне плечо. — Так ты правду сказал?

— Это и малый ребенок поймет.

— Нет, ты постой... — Паурукас оглянулся. — Ты все же постой...

Опять оглянулся. И опять. Потоптался, не выпуская моего плеча. Потом придвинулся поближе, спросил:

— А ты верно знаешь? Насчет зерна... Верно, Довидонисово?

— А то твое? — пошутил я.

— Постой... Ты правду говоришь. Правда это! Довидонисово зерно.

И оттолкнул меня.

— Отстань! Говорят тебе — отстань. Отстань!

И чуть не бегом побежал к хлевам.

Оба русских вошли в избу. Они только что умылись и докрасна растерлись полотенцами; холщовые рубахи были распахнуты на груди, от обоих пахло свежестью.

— С добрым утром, — поздоровался бородатый.

— И вас... И вас, Панфил Меркульич! — засуетился Довидонис. — И вас, почтенный Егор!

Младший, Егор, ничего не сказал, только внимательно поглядел на Довидониса.

— К столу, к столу пожалуйста, — лебезил Довидонис. — Мать, ты что, насмехаешься над людьми?

Хозяйка стащила с перекладки не вчера и не позавчера выстиранную скатерку, застелила стол, положила ложки и хлеб, принесла огромную миску дымящегося борща. Русские сели. Подсел и Довидонис, но есть не стал — глядел только, как едят пильщики.

— Кушайте, на нас не смотрите, — говорил и говорил он. — Мы и после... Правду сказать, кто мы такие? Ни работать путем не умеем, ни с людьми обойтись. Так что

и за стол нам спешить не след. Кушайте, хлебайте досыта, не заставляйте кланяться.

Русские молча хлебали, заедали борщ черным грубым хлебом.

— Как вам хлебушко? Не мало ли закваски положено?

— Вкусный хлеб,— похвалил Панфил Меркульич.— Как тебе, Егор? — обратился он к младшему.

Егор и тут ничего не сказал, только мотнул головой и продолжал есть.

— Потому — сами мололи,— просияв, объяснил Довидонис.— Иные везут на мельницу, разные пеклёвки придумали. Мы — не-ет. Что такое мельница? Ты ему заплати, а он чужими руками твое зерно мелет, да кое-как. Сколько его рассыплется, пылью изойдет, и мука уж не та. Несыпкая, закваски не принимает. Испечешь хлеб, а он глина глиной, будто не из печи его вынули, а в лавке купили. А какая польза от покупного хлеба? Так, говорите, вкусный хлебушко, Панфил Меркульич?

— Вкусный хлеб,— опять похвалил бородатый.

— Люблю мастерового человека,— говорил Довидонис, смахивая со стола ладонью крошки и отправляя их в рот.— Мастеровой человек нигде не пропадет, не он работу ищет, а работа его зовет. Вспоминаю, как во время войны... У нас животы с голоду подводило, ольховую кору на хлеб мололи, а у мастеровых людей было что есть и было чем сдобрить. Всю войну так.

— Кончаем работу хозяин,— объявил бородатый.— Еще день-другой, и готовь угощение.

— Угощение за мной не пропадет, только как же день-другой? У меня работы надолго.

— Как уговаривались. Нас в другом месте ждут.

— Еще бы не ждали. Мастерового человека все ждут, всем он нужен. Мать! — обернулся Довидонис к хозяйке.— Опять насмехаешься над людьми? Где блины? Ты что это несешь? — накинулся он на хозяйку, когда та отошла от печи, выставив перед собой миску.— Мастерам сухие блины подаешь?

Хозяйка вернулась к печи и наложила поверх блинов крошеного сычуга,— аж по всей избе запахло. Но Довидонис и на сей раз не дал поставить их на стол.

— Ты что несешь, мать?

— Блины. Спрашиваешь, как малый ребенок.

— Блины, говоришь?

— А сам не видишь, это как по-твоему?

— Вижу. Блины. А матушке отложила блинов?

— Блинов?

— Поди, позавидовала матушке? — улыбнулся Довидонис.

— Что ты болтаешь, отец?

— А что же, бывает и так. В жизни всякое бывает, — сказал Довидонис, уже не хозяйке, а пильщикам. — Матушка, как в песне поется, все глаза проглядела, куда тебя растила да белыми рученьками нянчила, а придет время — невестка блинка пожалеет, капли молока не подольет. Ну, отложи, отложи, хватит и мастерам... Или не хватит? — забеспокоился он. — Или не трогать? Голодными останетесь?

— Как не хватить, — сказал Панфил Меркульич.

Хозяйка опять вернулась к печи, отложила пару блинов в черепушку, побрызгала картофельной подливкой.

— Пастушку дай, пусть отнесет, а ты мастерам, мастерам подай. Видишь, ждут?

Взял я черепушку с блинами, а куда нести — не знал. Не знал даже, что у Довидониса есть мать. Никто ее не поминал, и я не видал ее.

— В кладовой она, — сказал Довидонис. — погоди, погоди! — остановил он меня. — Куда мчишься как угорелый? Покажи, что несешь?

— Блины, — оторопел я. — Что еще понесу?

— Блины, говоришь? Поди-ка сюда. Вот так... Теперь скажи — хорошие блины?

— Должно быть, хорошие. Гречневые.

— Правильно говоришь. Блины у меня хорошие. Неужто я такой человек, что pošлю матушке плохие? Родной матушке? Неси, неси, что стоишь как столб! — накинулся вдруг на меня.

Но отнести не удалось и на сей раз. Довидонис опять остановил меня — у самого порога.

— Как подашь, спроси у матушки, не нужно ли ей еще чего.

— Спрошу.

— Так и скажи: хозяин, мол, сын, спрашивает, не нужно ли еще чего. Может, молока. Может... масла. Вот и спроси, понял?

— Чего тут не понять! — И я поспешил к дверям. Но хозяин опять остановил меня:

— погоди, пого... И еще скажи ей, матушке, что это не какие-нибудь блины, что их для мастеров напекли. Отнеси и скажи: для мастеров напекли.

Я не стал ждать, когда он опять окликнет меня, и шмыгнул в дверь. Идя через сени, еще слышал его голос:

— Мастера и матушка — вот кто мне дорог. Последнюю рубаху отдам, зипуна с плеч не пожалею.

В большой, просторной кладовой, где грудились в сусеке картошка, красные бураки, брюква, морковь и вилки капусты, бродило в кадучке квашение, стояли кадки и накрытая крышкой дежа, увидел я в отгороженном углу дверь, вернее сказать, дверку — такую узкую, что пройти в нее можно было только боком. За дверкой сидела махонькая, старая-престарая женщина. Сидела, скрючившись на такой же махонькой, короткой кровати или на конике, и изредка нажимала ногой на подножку прялки. Колесо вертелось, а старушка все тянулась к кудели костлявыми прозрачными руками, старалась сучить нить, а руки опять падали на колени, отдыхали, и казалось, она давно померла и шевелится только по привычке.

— Бабушка! — окликнул я ее. — Вот блинов тебе принес.

Она не услышала. В стене каморки было прорублено маленькое оконце, вышиной в два венца. Но света здесь хватало. Пол подметен, нигде ни пылинки. Платок на старушке белый как снег, и вся она беленькая, седые волосы аккуратно приглажены.

— Слышишь, бабушка? — снова окликнул я ее. — Поесть тебе принес.

Старушка зашевелилась.

— Кто это пришел?

— Это я. Поесть тебе принес, бабушка.

— Поесть? — прислонилась она к стенке. — Нельзя мне есть... Вчерашнюю кудель не спряла.

Кудель и правда была не спрядена, даже наполовину. Бабушка опять принялась за нее, сучила нить, нажимала на подножку, но я понял, что она раньше померет, чем кончит эту кудель.

— А ты поешь, бабушка, — крикнул я. — Чего там! Ты поешь, не то остынут блины.

— Нельзя мне есть. Придет невестка, увидит... Ирод придет и увидит. Оба придут.

— Какой ирод, бабушка?

Она не ответила, повернула лишь голову, взглянула на черепушку с блинами.

— С подливкой... Так русские не ушли еще?

— Откуда ты знаешь, бабушка?

— Когда уйдут, блинов мне не принесут. Ирод не даст.

— Какой ирод, бабушка?

Она не ответила, сама спросила меня:

— А ты кто будешь? Не новый ли пастушок?

— Новый, бабушка. Вчера меня наняли.

— Верно, первый год в людях, коли к нам наплся.

— Не первый, бабушка. Я у Чяпулисов пас, и у Дирдов. Я давно уж пастушу.

Старушка смолкла, видать, сомлела. Долго сидела, откинувшись к стене — глаза закрыла, лицо стало серее конопки, что она пряла. Я стоял перед ней с черепушкой в руках, не зная, куда ее деть и как помочь бабушке. Хотел уж бежать в избу, позвать хозяйку, но тут старушка глубоко вздохнула, открыла глаза.

— У Чяпулисов пас? Так, может, ты моего Пятрюкаса знаешь?

— А как же, бабушка! В одно время там жили. Там еще Она была, такая косоглазая... Пятрас больно хороший.

— Ты правду говоришь? Не обманываешь?

— Что ты, бабушка! Мы в ночное вместе сдиди, и... Пятрас правда хороший.

Старушка глядела мне прямо в глаза. Шевельнула пальцами, подзывая меня поближе. Когда я подошел, положила мне на голову руку.

— Ты ко мне с доброй вестью... с такой доброй, дитятко...

— Поешь, бабушка! Пятрас больно хороший был, а ты поешь. Сейчас поешь.

— Где же он теперь? Пятралис мой?

— Не знаешь разве, бабушка?

— Ирод не сказывает. А ты знаешь?

Я чуть было не сказал, но тут же смекнул, что лучше, пожалуй, не говорить. Пятрас сидел в остроге, и

посадил его туда не кто иной, как мой хозяин Довидонис.

— Молчишь? Неладно с Пятрасом?.. Ирод молчит, ты молчишь.

Я отвернулся. Сколько раз Алаушас говорил: не надо врать людям. Нельзя врать. А вот ни разу не сказал, как быть, если нельзя сказать правду.

— В тюрьме мой Пятралис? — спросила она. — Опять в тюрьме сидит?

— Он за правду, бабушка...

Она закрыла глаза, помолчала.

— Пятрюкас за правду... И мой ирод за правду. Каждый стоит за свою правду, а ты, матушка? Как знаешь, матушка, как знаешь...

Снова пошевелила пальцами, на сей раз отгоняла меня.

— Иди теперь, не теряй времени. У меня кудель не спрядена.

В сенях, за дверью меня дожидался Довидонис.

— Что матушка сказала?

— Похвалила блины, — ответил я.

В избе уже не было ни Панфила Меркульича, ни Егора. Зато явились ребятишки. Один бог знает, где пропадали, куда завтракали пыльщики. Теперь сидели на своем постоянном месте — под станом. Неумытые, замурзанные. У девочки голова была обвязана шерстяной тряпкой. У Альбинелиса разводы под носом стали еще чернее и больше. Довидонис даже пошутил:

— У Альбинасы усы словно галифе!

Хозяйка взяла скамеечку, придвинула ребятишкам. Принесла ложки, миску с варевом, но не с тем, что ели пыльщики, — сквозь это дно было видно. Ребятишки кинулись хлебать. Сели и мы есть — то же варево, что стояло на скамеечке. Когда выхлебали, хозяйка сказала:

— Блинов не осталось, отец.

— Зачем все мастерам скормила? — положил ложку Довидонис. — Могла и побольше напечь, народу у нас прибавилось! — показал пальцем на меня.

— Сколько муки отсыпал, столько и напекла.

— Муки, муки!.. Пускай муку по ветру, когда впереди целая зима, — заворчал Довидонис. — Принеси хоть кислого молока, раз из тебя такая хозяйка.

Хозяйка пошла в чулан, принесла оттуда почерневший горшок и заранее наклонила его к свету перед Довидонисом:

— Погляди сам, а то опять крик подынешь.

Но Довидонис не стал глядеть. Дождался, когда хозяйка вылила молоко в миску, и стал хлебать вместе с другими. Хлеб он отодвинул, видно, решил, что хлеб тут ни к чему.

Хлебал он не очень долго.

— Мать!

— Опять что не так?

— Хватит этой кислятины. В каморку бы заглянула. Испортятся блины-то.

— Какие блины, отец?

— Тебе говорят — заглянуть надо!

Хозяйка пожала плечами, вышла. А вскоре вернулась с черепушкой и блинами в ней.

— И впрямь не съела, — удивилась она.

— Я что говорил? Будто я свою матушку не знаю! Отдай детишкам, пускай стрескают на здоровье!

Ребятишки аж завизжали от радости и накинулись на блины. А Довидонис чуть не прослезился от умиления.

— Святой человек матушка, — с трудом проглотив кусок, сказал он. — И всю жизнь так: куда не кончит дело, ни кусочка не возьмет, ни крошечки...

Вздыхнул, помолчал и опять:

— Кабы все люди такие были. Не жизнь была бы — рай земной. Суший рай!

Больше уж ничего не сказал, только хлебал и хлебал.

Хлебали и мы. Одна Мариёна остановилась, поглядела на хозяина, на хозяйку и бросила ложку.

— Ироды! — сказала и вышла.

Довидонис усмехнулся. Хлебать не перестал.

Все утро и весь день ветер дул от болота и доносил оттуда едкую вонь вымоченного льна. Паурукас вывозил его из мочил на жнивье, кидал сноп за снопом, а Мариёна, пятясь и пятясь, расстилала их. Я понять не мог, как она не сомлеет, когда и овцы с бляньем отбегали прочь, а коровы подымали головы, принюхивались и отворачивались от стлища. Целый гон уж был выслан льном,

а Паурукас все подвозил и подвозил. Мариёна выпрямилась, провела тыльной стороной ладони по волосам. Весь перед юбки у нее промок, а она усмехнулась только, потянулась и нагнулась к новому, прочерневшему, мокрому снопу.

Смрад стоял над жнивьем целый день, а за ним и другой и третий. Только послабее, не такой удушливый. Зато небо обложило тучами, заморосил дождик, прибил к жнивью золотые паутинки; раскисли пашни, еще больше покраснел ольшаник и с каждой ветки там капало. Невесело стало пасти скотину. Ни пристать, ни прислониться к чему — всюду мокро, аж в озноб тебя бросает. А дождь все моросит, мокнут, раскисают пашни, лужи разливаются на полевой дорожке.

Коровы ищут — не доищутся корма, коченеют на дожде и ветру, поворачиваются к нему хвостами, мычат — просятя домой, а овцы блеют не переставая. И так с самого утра. Пока выгонишь скотину со двора — все кнутовище обобьешь, а пригонишь ее на выгон — принимается реветь и блеять — домой просится.

Пасу я один-одинешенек, потому что хозяин в первый же день сказал:

— У меня чтобы вместе с чужими не пас!

Приходится слушаться. Да и не послушаешься — с кем будешь пасти? На окрестных хуторах скотину давно загнали в хлева. Когда заморозки прихватят зеленыя, ее выпустят полакомиться молодыми листочками. Сейчас на хуторах тишина. Только дымком попахивает оттуда. А дождь все льет, шуршит в ольшанике, ветер играет красными листьями, обрывает их и все не может оборвать. И у меня ноги покраснели, как эти листья, заоченели, даже пальцы как будто стали короче. Я не раз и не два сказал Довидонису, что не могу уж ходить босиком, а он только посмеивался:

— Как вижу, мерзляк ты, парень!

Сам он всегда ходил босиком, и по воде и по грязи шлепал посиневшими ногами, и всем показывал, как не надо бояться холода. Альбинелис и Уршулите тоже бегали босиком. И Унтанюкас. Только он не больно далеко. Побегает и остановится, наступит на подол рубашки погреть ноги, опять побегает, и остановится. Если уж родные дети так, что он даст пастушку?

Во всем доме одна Мариёна стучала деревянными башмаками. Сама взяла, крикнула только хозяину:

— Еще чего!

— Смотри, вычту из жалованья, — пригрозил он.

— Еще чего!

Довидонис злился, но ругался не очень сердито, с опаской, а потом и вовсе перестал, оставил Мариёну в покое. Хозяйка как-то спросила:

— Уж ты не спутался ли с ней, отец?

Он не ответил, плюнул только. Теперь он с утра до вечера ходил хмурый, все ему не нравилось, всюду он видел одни убытки и вред, и больше всего вреда и убытков во дворе и в поле.

— Разве я могу верить людям? — говорил он. — Разве теперь люди? Чуть отвернешься, мигом надуют, последнее зернышко стащат. Люди! Где они, люди? Покажите мне?

А тут еще пришли Панфил Меркульич и Егор.

— Готовь угощение, хозяин. Вечером уходим.

— Куда это? — не понял либо притворился, что не понял, Довидонис.

— К вечеру кончим. Так что давай расчет и мы двинемся дальше.

— Так уж и двинетесь? А если у меня еще три штабеля нераспиленных бревен? Останутся лежать под снегом?

— На сколько договорились, столько и наработали. Хочешь, чтобы остались — давай договариваться сызнова.

— Какие еще договора? Словно мы чужие, друг друга не знаем. Кончите работу — расплачусь.

— Сперва расплатись за старое, а там посмотрим, — ответил Панфил Меркульич.

— И смотреть нечего. Отдам за все гамузом, у вас сразу карманы отвиснут.

— Пускай помаленьку отвисают — и тебе, и нам легче.

— Думаете, надую?

— Про это мы не говорим.

Довидонис стал уверять, что он отродясь никого не надувал, букашки, и той не обидел. Панфил Меркульич на это возразил, что Довидонис говорит чистую правду, однако же они с Егором честью просят... Довидо-

нис разгорячился, раскричался, а пильщик улыбался все шире, говорил все спокойнее. Наконец сказал:

— Шутить изволишь?

— Вот и не заплачу! Раз не хотите мне удружить, и я... и я...

Панфил Меркульич обернулся к Егору, и Егор сказал:

— Ты, хозяин, с нами не шути!

Сказал он тихо, а Довидонис сразу закусил удила:

— Большевики вы — вот что я скажу! Вам место в Расее, а не здесь. Сидите на шее у Литвы, а служите Расее, большевикам.

Панфил Меркульич опять взглянул на Егора. Но на сей раз Егор смолчал. Тогда заговорил старший:

— Вот что хозяин. Нам такие шутки не по нраву! И моему отцу говорили в глаза: Столыпину служишь! Теперь мне кричат: большевикам служишь! А я никому не служил. И отец мой, которого пригнал сюда Столыпин. Мы своими руками кусок хлеба зарабатывали и зарабатываем. Вот и весь разговор. Плати, хозяин.

Довидонис втянул голову в плечи.

— Уж и рассердились... Нечем мне сейчас платить!

— А мы обождем, когда будет чем, хозяин. Слышь, Егор? У хозяина сейчас денег нет. Побудем здесь, обождем, а? Оно и лучше: тут и накормят нас, тут и ночлег.

Егор кивнул и опять ничего не сказал.

Довидонис сплюнул посреди избы, выбежал куда-то. Долго его не было. Пильщики сидели и посмеивались. Наконец вернулся Довидонис. Сел у стола.

— Сколько же это будет?

— За сколько уговорились, столько и будет,— ответил Панфил Меркульич.

Довидонис, не глядя на пильщиков, долго рылся в узелке, который принес с собой. Вытягивал из него скрюченными пальцами бумажку за бумажкой, каждую осматривал со всех сторон, откладывал и прижимал локтем. Когда вытащил сколько требовалось, затянул узелок, сунул себе под сиденье, а отсчитанные бумажки опять пересмотрел одну за другой, пересчитал, слюнявя палец, еще раз пересчитал, тогда только отодвинул от себя. Куда делся узелок с деньгами, я так и не заметил. Сам видел, сел на него, а когда встал Дови-

донис — узелка как не бывало. Словно в воду канул. Панфил Меркульич взял своей ручищей деньги, не считая, сунул в карман пиджака и спросил:

— Магарыч нам ставить или хозяин изволит?

Довидонис не ответил.

Зато когда ушли пильщики, он как с цепи сорвался. Раскричался, разорался на всю избу и двор, а вволю накричавшись, принялся за всех нас: и кто куда идет, и что делает, и что собирается делать? И все корил — и время зря теряем, дом разоряем; покуда иной совет трое пут, мы — только одни, никто не умеет кол вбить, постолы загнать... Стоило кому зазеваться, он тут же подкрадывался и спрашивал сладким голосом:

— Не занемог ли, не ослаб ли сердцем, что руки-ноги отнялись?

От его окриков, от подглядывания Паурукас так выбивался из сил, что иной раз среди бела дня прислонялся к изгороди и вздыхал, как загнанная кляча:

— Конец мой пришел... Конец...

— А помнишь, ты говорил: не заплатит он русским? — поддразнивал его я.

— Пошел ты... Кхе-кхе... Пошел к черту!..

Постоит так, повздыхает и опять бежит, цепляясь коленкой за коленку. А вечером повалится ничком на кровать, перевернется на спину и засыпает, как убитый.

— Один ты, Паурукас, один ты у меня дома человек, — хвалил его Довидонис. — Даром хлеб не ешь, жалованья не ждешь.

Врал Довидонис. В этом доме никто не сидел без дела. Альбинелис и Уршулите весь день собирали в поле камни, а вечером приносили дрова, доставали из колодца воду, таскали ее, ухватившись вдвоем за дужку ведра. Не кто другой — они должны были чистить картошку, перебирать горох на варево. Даже полосатая кошка знала свое дело. Целыми днями сидела в риге, подкарауливала зазевавшихся мышей. Поймает — несет в зубах через весь двор в избу, положит посреди пола и мяучит до тех пор, пока не подойдет Довидонис либо хозяйка, погладит по спине и похвалит:

— Умница наша кошечка, хорошо мышей ловит.

От радости кошка вздергивала хвост, относилась мышшь в сторонку и, ловко освежевав, с хрустом грызла косточки. Что ни день, приносила по нескольку мышшей, и Довидонис не раз говорил:

— Учитесь у нее. Вот как надо жить.

Случалось, кошка ленилась и шмыгала на печь погреться, тогда Довидонис прикрикивал:

— Пшла мышшей ловить!

Кошка сломя голову прыгивала с печи и бежала в ригу.

После ухода пыльщиков Довидонис перестал посылать блины матери. Кое-когда лишь откладывал для нее горбушку хлеба. Я раз проговорился, что верхняя корка каравая самая вкусная — всегда хорошо пропечена, а нижняя только пропревает на поду и желудок с ней не справляется. Довидонис обернулся ко мне:

— Как, как ты говоришь?

Я повторил свои слова. Довидонис подивился:

— Ты гляди. А мне и в голову не приходило.

С того дня он перестал отсылать в каморку горбушки, а выбирал куски с закалом, с тяжелой, вываленной в золе нижней коркой. Бабушка все сидела, привалившись к стене, уронив руки на колени. Нижние корки до того довели ее, что она неустанно вопрошала:

— Призовешь меня к себе, господи? Призовешь, господи?

А не дождавшись ответа, шевелила ногой, из последних сил нажимала на подножку. Но не трогалось колесо прялки, руки снова падали на колени, старушка откидывалась к стене и не вопрошала, а молила только:

— Не гневись, господи... Больше не могу я... Ничего я, старая ворона, не могу...

И утихала. Иной раз мне чудилось, что умерла она, не стало бабушки. Глядь, опять шевелит пальцами, открывает глаза, нащупывает ногой подножку. И снова вопрошает:

— Призовешь ли, господи? Призовешь ли?

— Легла бы ты, бабушка, — не вытерпел я однажды. — Полежи, отдохни...

Бабушка, не открывая глаз, улыбнулась.

— Пустое говоришь, малец. Помру — належусь. А

покуда жива — дело делать надо. Так сам господь велел... Пустое ты говоришь...

А за дверью кладовой меня всякий раз поджидал Довидонис. И всегда с одним и тем же вопросом:

— Ну?

Озлился я раз и отрубил:

— Поди сам погляди!

— Кому это я говорю? — спросил Довидонис, прищурившись.— Кому я, братец ты мой любезный, говорю? Может, тебе мой хлеб опротивел? Харчи у меня не сытные?

К матери он никогда не заходил, не заходил и в кладовую, где было столько припасов, а стоял в сенях, наблюдал, кто что оттуда выносит.

— Так, по-твоему, у меня харчи плохие? Плохие?

Харчи и правда были скверные. Рано утром мы хлебали подбеленный борщ и обходились этим почти до вечера, с обедом дотягивали допоздна, так что и сытного ужина не требовалось. На обед — все тот же подбеленный борщ, комковатая каша, на заедку ложка кислого молока. К ужину, перед сном, хозяйка варила гороховую кашу, заправляла ее пахтаньем. И все.

Хуже нет, когда проходишь мимо клетки и оттуда доносятся, ударяют в нос запахи копченого сычуга, сала, сушеного сыра, антоновских яблок, и чем только еще там не пахнет! А за клетью в большом огороде — как золото, желтеет сладкая брюква, краснеет крупная, сочная морковь, меж почерневших от заморозков плетей лежат огурцы — хоть и пожелтевшие, набитые семенами, а все огурцы... Возле избы пахнет сушеным укропом, пахнет тмином и прямо не разберешь, чем еще!..

От Довидонисовых харчей Паурукас побледнел, на ходу задевал ногой за ногу, да и ходить старался поменьше. Отлучится куда Довидонис, Паурукас уж присел где-нибудь, а то и прилег — отдыхает, набирается сил. Переведет дух и опять по двору топчется. С утра до вечера, с темна до поздней ночи. И хозяйка так, и мелюзга. Уршулите даже стала реже жаловаться на ухо. Некогда. Всем здесь некогда. У одной Мариёны румяные щеки, одна она все так же бегаёт, сверкая голяшками.

Вот так же прибежала ко мне в ольшаник, сунула в руку полоску копченого сала, пахнувшего можжевельным дымом.

— Где взяла?

— На, пососи. Молчок.

— Нет, Мариёна...

— Молчок. Вот хлеба не удалось... Ну, да не велик барин, и без хлеба стрескаешь. И помалкивай — понял?

Ничего я не понял, однако полоска сала целиком влезла мне в рот; я еще не пожевал и не пососал, как она сама стала таять. Мариёна посмеивалась:

— Попадешься под руку — еще получишь.

— Где взяла, Мариёна?

— Не твое дело.

— Не годится так.

— А подыхать с голоду годится?

— Ну, как поймает?

— Тебе какая забота? — перебила она меня и ушла.

Через день подследила меня, когда я шел на гумно, и опять сунула в руку обернутый тряпицей ломтик.

— На, пососи. И — молчок.

— Мариёна...

— Молчи! Не поймешь, раззява, с малых лет станешь чахнуть, черт ли тебя после откормит? Будешь расти заморышем и на всю жизнь заморышем останешься. Будешь, как Паурукас.

— И Паурукас голодный ходит.

— Паурукас? Отдай назад сало! Хочешь, чтобы он на меня хозяину донес? Отдай!

Я спрятал руку за спину, стал оправдываться:

— И он с голоду подыхает.

— И пусть его! — отрубила Мариёна. — Одним дураком меньше будет.

Теперь не так тянулись для меня дни на выгоне, не такими бесконечными казались вечера за витьем веревок и предутренняя молотья. Мариёна, точно волшебница из сказки, доставала и доставала откуда-то то ломтик сала, то кусочек сыра, то горбушку хлеба.

— Смотри — поймает, — пугал я ее, — увидит, что резали от сала, и догадается. Голову тебе свернет Довидонис.

— Не ему поймать меня. Я сверху режу. Влезу в клетки на сусек... А он, растяпа, снизу смотрит, ничего и не заметит.

— А если и он когда-нибудь на сусек влезет? Сверху посмотрит?

— Не твоя забота, — сердилась Мариёна. — Ты лопай, не голодай. И без тебя хватит на свете голодных.

— Нельзя воровать...

— А морить батраков голодом можно? Много ты видал, чтобы сытые батраки воровали? То-то же! А голодный... голодный всегда возьмет. Понятно? Вот и ешь, не гундось.

— Мариёна, если правда так... может, и бабушке в каморку?

— Пробовала. Не берет.

— Не берет? Голодная ведь.

— У нее не в брюхе пусто, а в голове. Положи, говорит, откуда взяла, а я, говорит, помолюсь за тебя, чтобы бог простил — чужое, мол, взяла. Ишь ты, помолится за меня!..

Помолчала Мариёна и, уходя уж, добавила:

— Ты ее не жалея. Она сама себя не жалеет.

А бабушка таяла со дня на день. Не один голод ее доканывал — мерзла она. На дворе посвежело, по ночам заморозки выбеливали крыши, трещала под ногами подмерзшая грязь. Зима зимой! В избе хозяйка топила печь, варила завтрак, держала обед горячим. За день находишься, насквозь тебя продует, а в избе отойдешь, и руки-ноги веселей шевелятся. А в каморке не то что печки — горшка с горячими углями не поставят. Сидит старушка, прислонясь к стене, на голове как был белый платочек и больше ничего. И на плечах ничего не накинуто, и подстелить ей нечего и нечем накрыться. Посинела старушка. Не нажимает на подножку, лишь тянется рукой к кудели, а пальцы хватают воздух. Такой я застал ее однажды утром: сидит и клонится в сторону...

— Бабушка, что с тобой?

— Позови моего... ирода... — еле шевеля губами, сказала она.

Пришла в каморку за иродом и хозяйка, а следом за ней и все дети. Паурукас, и тот явился, но внутрь

не зашел, стал за дверью и заглядывал, склонив голову набок.

— Матушка, или помираешь? — тонким голосом спросил Довидонис.

— Когда помру... — пошевелила губами старушка. — Когда помру, быть тебе, сынок, богатым... богатым будешь.

— Матушка, что ты? — поежился Довидонис, — ты бы пожила... Разве кому мешаешь? Место есть, горница хорошая. Пожила бы, матушка!

— И правда, — поддакнула ему хозяйка. — Отец верно говорит, матушка.

Старушка не то усмехнулась, не то вздохнула.

— Помру... И быть тебе, сынок, богатым... богатым...

Довидонис вышел за дверь, стал рядом с Паурукасом и запричитал:

— Что это матушка бредит? Что она говорит?

Хозяйка, встав у изголовья, сказала мужу:

— Свечку принеси, отходит. Так и не привезли ксендза... Ох, как нехорошо, как нехорошо...

— Да привозили же, мать! — причитал Довидонис. — Как не привозили? Привозили!

— В прошлом году только, отец. Целый год матушка без исповеди... А ведь говорила я, не раз говорила: привези ксендза, отец! Теперь так и помрет матушка грешницей, без соборования.

— Уж и грешницей. Говори, да не заговаривайся. Весь год пролежала, какие у нее грехи? А если в сердце зло на нас таила, с кем такого не случается на старости лет?

— Поди не надорвалась бы лошадь...

— А ксендза беспокоить?

— Свечу неси, отец, ну как это по-твоему? — засуетилась хозяйка. — Кончается матушка, или не видишь?

Довидонис пошел в клеть и вернулся с толстой желтой свечой, порядком уж обгоревшей. Вставил ее в подсвечник. Зажег. Свеча весело затрещала. Запорхал из стороны в сторону мотылек пламени. Довидонис отколупнул ногтем восковые потеки, уложил их вокруг фитиля, будто хотел накрыть веселого, жаркого мотылька.

Хозяйка поставила детей на колени у ног старушки, велела читать молитвы. Сама тоже опустила на ко-

лени, сложила руки крестом, ждала, когда кончится старушка. И Паурукас ждал, стоя рядом с Довидонисом. Его длинный розовый нос вздрагивал. Не было здесь одной Мариёны. Где-то на дворе покрикивала — хлопотала с уборкой. Может, ей никто не сказал?

А старушка не кончилась ни в этот день, ни на другое утро. Умерла она только на третий день, перед рассветом, когда мы молотили, а ребятишки еще спали. Померла в одиночестве, при погасшей свече. После молотбы, во время завтрака, когда я отворил дверь в каморку, она лежала уже застывшая, свесив с постели руку, а глядела прямо на меня. Когда я, завизжав от страха, ринулся в избу, все засуетились, забегали — мигом поняли, что свершилось то, что давно должно было совершиться. Довидонис и в кладовую не пошел, а отозвал в сторону хозяйку.

— Попросишь Вайтекене обмыть, а я позвонное повезу. Когда вернусь, овцу заколем. Копченый сычуг есть, колбаса есть, и сыра хватит. Пива наварили, а если к пиву и баранины, чего еще надо.

— Овцу заколоть?

— Придется. Съедется родня, как ты обернешься без свежатины?

— Ополоумел ты, отец, ну как по-твоему? Ишь ты, возьмет и заколет овцу! Много их у тебя?

— Вот бабья башка! Для родной матери да я пожалею овцу? Десять овец заколю, а матушку помянем честь-честью.

— Когда моя матушка померла, больно ты раскошеллся? Не припомнишь?

— Молчи, баба! Ровняешь свою мать с моей! Она меня выпестовала. Меня!

Не дав жене и рта раскрыть, повез позвонное, а когда вернулся, в самом деле заколол — да не одну, а две овцы. И еще отрубил головы двум петухам.

— Это для Масколюнасов, — сказал. — Авось, тоже приедут из Шяудине. Им баранью ногу не подашь, они привыкли к разносолам.

Хозяйка из себя выходила. На счастье, минутки не улучила полаяться с мужем. Вертелась как белка в колесе — тут и приготовления, и гостей надо встретить. За столы родня сядет, не осрамиться бы перед ней.

Поминки получились такие, что гости в один голос говорили — дай бог всякому такие похороны, каких дождалась старая Довидонене, и что детям надо показывать на Довидониса: учитесь, свинята, как любить родителей, как чтить их память.

Столько наготовили всякого угощения, что нельзя было протянуть руку и не наткнуться на блюдо с бараниной или звено поджаренной колбасы, на гору тушеной капусты либо плетенку с булками. Думалось, гости не одолеют за три дня и три ночи, и еще за три дня и три ночи всю эту снедь, не выпьют всех бочек пива и кадок квасу. Но гости уехали, не просидев и одной ночи, и мигом со столов все как ветром сдуло, и запаха не осталось.

Сели наутро завтракать, а на столе — опять чуть забеленный борщ, как при жизни бабушки. Хлеб, правда, другой, подобранный с поминальных столов. Один кусок пивом подмочен, другой обсыпан солью, так что на зубах хрустит. Под конец хозяйка подала обрезки баранины, тонкие и перекрученные, как веревочки. Много дней подносила эти обрезки, один бог ведает, где она их брала. Будто в доме не кололи овец и не резали петухов, а распустили плетенный из пакли половик. Обрезков этих хватило надолго, стали они тухнуть и попахивать, так что и Паурукас воротил свой долгий нос.

— Ешьте, ешьте, — угощал Довидонис. — Остаточки... как поминали еще драгоценную матушку. — И смахивал слезу.

Смерть старушки надолго огорчила его. Еще больше огорчился Довидонис, когда однажды утром хозяйка принесла из сарая большие медные котлы, налила их водой, собралась греть.

— Это еще что придумала?

— Девчушка совсем пропадает. Искупаю ее, ведь не покажешь доктору такую чумазию.

У нее и правда опять разболелось ухо, и теперь она плакала не только по вечерам, а целыми днями с визгом металась по избе и по двору, обхватив руками голову. Прямо на стену лезла от боли. Хозяйка в свою очередь ругалась с мужем, требовала денег на докторов. А Довидонис как вбил себе в голову, так и затвердил одно:

— Под саваном поройся.

Хозяйка поила Уршулите липовым цветом, водила к знахаркам, по их совету лечила ухо припарками из льняного семени, прикладывала к подошвам горячий кирпич, молилась по вечерам святому Антонию и дегей заставляла вставать на колени и молиться. Не помогло. Уршулите аж почернела, отекала и если не кричала, то бродила по избе на ощупь, как слепая.

— Ты под саваном поройся,— твердил свое Довидонис.

Хозяйка, видно, и порылась. Теперь вот грела воду, собиралась в дорогу. Довидонис до того огорчился, что вежливо попросил:

— Уршулите выкупаешь, заодно отмочила бы и Альбинелиса. Как рябая свинья стал.

— А его с какой радости?

— Вода горячая, еще и с мылом,— так пропадать ей? Заодно уж, мать.

— Раз ты такой добрый, выкупай сам.

— И выкупал бы. А когда? Сама знаешь, дел по горло.

— А кто мои дела переделает? Еще что выдумал! Один Альбинелис, что ли, стал как рябая свинья? Все вы грязью заросли. Взял бы да истопил баню — святое дело. Альбинелису к доктору не ехать.

— Отчего ему не поехать?

Хозяйка глазами захлопала.

— Рехнулся, отец? Альбинелису зачем ехать?

— Отчего не поехать? Заодно, мать. Уршулите покажешь доктору, и Альбинелиса покажешь. Доктору-то не все равно, одного осмотреть или двоих? Заодно ведь. Альбинелиса осмотреть надо. Сама знаешь — спит с открытыми глазами. Он разве не сын тебе?

— Что ты несешь, отец? — разгорячилась хозяйка. — «Покажешь, покажешь». А на показывание много мне дал? Уршулите везу на свои последние гроши, а он мне тут своего Альбинелиса навязывает. Это не мне, а тебе он не сын!

— Я разве одного Альбинелиса прошу везти? Тебе говорят — заодно. Осмотрит доктор Уршулите, осмотрит и Альбинелиса. Заодно — никак ты не поймешь, мать. Самому доктору лучше: осмотрел одного ребенка, и тут же другого. Что это будет, если к нему начнут возить всякий день по ребенку? Никакого житья не станет доктору.

Хозяйка опять принялась браниться. Довидонис гнул свое. Кончили завтракать, я выгнал стадо, так и не дождавшись конца схватки. После только видел, как проезжала хозяйка по полевой дороге. Кроме Уршулите, в телеге сидел и Альбинелис — чисто умытый, веселый. А рядом шагал Довидонис. Далеко проводил их, до последней межи, там остановился и все глядел вслед.

Подошел ко мне.

— Пасешь?

— Пасу, хозяин.

Довидонис опять поглядел в ту сторону, куда ушла подвода, хоть ее уже не было видно.

— Пасешь, значит? Ну, паси, паси.

И пошел к дому.

Не то показалось мне, не то и в самом деле Довидонис шел сгорбившись, будто старался разглядеть пашню под ногами.

Хозяйка вернулась лишь на другой день к вечеру. Выкарабкалась из телеги, сняла наземь детей. Голова Уршулите была обмотана бинтом, обеих ушей не видно. Она присмирела, не плакала.

Альбинелис запрыгал на одной ножке, побежал через весь двор к Унтанюкасу, дал ему тумака, и тот скривил рот, чтобы разреветься. Хозяйка прикрикнула:

— Или ты сбесился? Перестань. Весь в отца!

— Ну? — спросил Довидонис, когда сели ужинать.

— Что нукаешь-то?

— Просить, что ли, надо?

— Так не проси.

Довидонис молча хлебал ложку за ложкой, но не выдержал, уперся взглядом в хозяйку.

— А как все-таки?

— Не на твои возила, не твоя и забота.

— Вот бабья башка! Стоило мне захотеть — ты и со двора бы не двинулась.

— Что ж не захотел?

Довидонис не ответил — хлебал молоко. И снова:

— Ну?

— Готовь сотенные, — ответила хозяйка.

— Это какие сотенные? — встрепенулся Довидонис.

— Платить придется. И не горстками, а полными гор-

стями. Доктор сказал — в уезд надо везти. И поскорее... Уршулите в больницу класть.

— В больницу? С ума посходили доктора?

— За ухом кость долбить будут. Доктор сказал. Нужно гной выскрести.

— Дурак твой доктор! — крикнул Довидонис. — Ты знаешь, во что обойдется больница?

— А если девчушка помрет?

— Помрет! Другие же дети не помирают?

— Кость у нее гниет, отец, это как по-твоему? Сам доктор сказал: или в больницу, или на кладбище.

— Дурак твой доктор.

— Разругал меня. Где, говорит, были у вас глаза? Еще бы день-другой, говорит, и крышка, сгубили бы девочку.

— Дурак твой доктор...

— Сейчас же в больницу, говорит. Девочку чуть не уморили, такую терпеливую, красивую, хорошую.

— Дурак. Сидят в городах эти доктора — голодные, голые-босые, им бы только заманить, надуть человека... «Терпеливая, красивая, хорошая»... А сам кость долбить хочет, ребенка мне испортить!

— А если надо, отец? Если гной там?

— Кабы там гной был, надо бы посмотреть, капать что-нибудь в ухо... капли там, или траву какую прикладывать... мать-мачеху. А ему, видишь, кость подай. У них сотенные на уме, а не Уршулите.

— Как хочешь, отец, а я повезу. Доктора ученые, они знают.

— Они знают, как людей надувать.

— Неужто задаром лечить станут? Сам ты много даром работал? Не дури, отец, ну как это по-твоему?

Довидонис молча ел. Мы все ели за столом, а детишки — под станом.

— Надо было взяться за девчушку, — вскочил Довидонис. — Припарки бы ставила, теплее укутывала бы это дрянное ухо, — и выздоровела бы... Нет, подняла шум, поскакала!..

— Мало припарок я ставила? Мало укутывала? Сам же ругался, что льняное семя извожу.

— Ничего, от моей ругани тебя не убыло.

— Много помогли припарки? Доктор недаром сказал: нелюди вы! Как это по-твоему, отец?

— Нет у меня сотенных,— объявил Довидонис успокоившись и сел на место.

Теперь отложила ложку хозяйка.

— Нет, говоришь?

Она стала бледнее, чем в начале ужина. Глядела на Довидониса, и только пальцы у нее дрожали.

— Нет у тебя?

— Земля твоя,— тоже побледнев, сказал Довидонис,— и дом твой и скотина. Сухой былинки моей здесь нет... Вот возьму как-нибудь Альбинелиса за руку и оба уйдем. Ничего у нас нет — ни у меня, ни у моего сына.

Хозяйка встала из-за стола.

— А Уршулите в гроб? — спросила она так тихо, что мы еле расслышали. — В гроб Уршулите?

— И уйдем оба, в чем есть...

— В гроб Уршулите?

Довидонис поднял голову — увидел, что сейчас с хозяйкой шутки плохи. Совсем плохи.

— Ты это...

— Заел мой век, а теперь и ребенка в гроб?

— Ну, если нет у меня... И что ты вопишь, мать? Будто я хочу смерть накликасть на Уршулите...

— Землю продам, дом разорю, а не дам тебе заесть ребенка. Надену суму, побираться пойду, а моя Уршулите будет жить.

Хозяйка была уж не такая бледная, на скулах и на лбу у нее выступили красные пятна, пошли по всему лицу. Стояла, опершись ладонями на стол, глаза так и сверкали.

— Значит, нет у тебя? Нет?

— Не то говоришь, мать. — Довидонис втянул голову в плечи. — Я ведь насчет докторов. Живодеры они, норовят раздеть-разуть человека... Ну, что кричишь?

— Говоришь, нет денег?

— Опять заговариваешься. Везде тебе страхи чудятся. Где это видано, чтобы ребенок помер от уха? У кого это помирали? Что же, наша Уршулите хуже других? Почудилось тебе!

— Нет у тебя денег?

— Все здесь твое, мать, и власть твоя.

— Ты мне лазаря не пой. Последний раз спрашиваю: нет у тебя денег?



— Не наймитам слушать такие речи, мать,— после долгого молчания сказал Довидонис.

Мариёна встала, кивнула нам с Паурукасом, чтобы вышли. На дворе сказала:

— Пускай хоть глаза друг другу повыцарапают.

— Не даст он ей денег? — спросил я.

— Кто его знает.

Паурукас молча ковырял в зубах пальцем.

Обошли мы втроем хлева, расправили подстилку в овечьих и свиных закутах, а когда вернулись, ребятишки уже улеглись, со стола было убрано. Хозяйка сидела за прялкой, пряла, а Довидонис был там, где и всякий вечер — на печи. Просидели мы за работой допоздна и тоже улеглись.

Ночью я проснулся, когда что-то грохнулось на пол, точно куль мякины свалился или короб с зерном. Но это был не куль и не короб, а сам Довидонис сверзился с печи, хозяйка его столкнула.

— Попомнишь ты меня!.. — повторял он, барахтаясь на полу в темноте.

— Хозяин! — крикнул я, не понимая еще, что случилось. — Хозяин, может, помочь надо?

Довидонис перестал возиться.

— Хозяин! — еще раз окликнул его я.

Довидонис и тут не ответил. Зато откликнулась с печи хозяйка.

— Чего кричишь средь ночи? Белены объелся, как это по-твоему? Спать не даешь людям.

Я замолчал и опять уснул возле Паурукаса, который так и не проснулся и ничего не слышал.

На другой день Довидонис встал с расцарапанной левой щекой. Поманил меня пальцем.

— Что глаза пялишь? Это я ночью... Понял?

— Не понял.

— Повернулся во сне на другой бок... Понял?

— Не понял.

— Пошел ты к черту, чертов недоносок! — крикнул он, но тут же схватился от боли за левую щеку и, шепелявя, спросил: — Теперь понял?

— Теперь понял.

— Вот и иди, куда велено.

Слезла с печи и хозяйка. Глаза — опухшие, под ними синяки, щеки набрякли. Мельком взглянула на меня и принялась за уборку.

— Опять ночью схватились? — спросила доившая корову Мариёна.

— Не видал я.

— Врешь ведь.

— Ей-богу, не видел.

— Не видел, и не надо. Успеешь еще наглядеться на их красоту. А теперь выгоняй коров. Светает...

Совсем похолодало. Солнце не показывается и среди дня, не растапливает ледяную корочку по канавам и межам. Скворцы улетели, смолкли жаворонки. И ветер не шумит. И коровы молчат. И овцы. Тучи на небосклоне набухли снегом, но крепко держат, не отпускают его. И никуда не уплывают. Где видишь их утром, когда выгоняешь стадо, на том же месте стоят они, когда вернешься домой. Иной раз думаешь: лучше бы зима, лучше бы сугробы до крыш, лучше бы злые ветры и трескучие морозы. Но нет, не приходит зима, не торопится. Ничто не торопится. День стоит на месте. Тучи стоят на месте. Стадо стоит на месте. Все стоит на месте.

Один Довидонис не стоял. После ночной схватки в него словно нечистый вселился. Ходил по всему дому, что-то высматривал, обнюхивал все углы, даже в подполье клетки полез, ползал там на брюхе, ощупывал камни подмуровки. Все чего-то искал и никак не мог найти. И не найдя ничего, подстерег Мариёну:

— Вместе воруете?

Мариёна только засмеялась, показав ему белые, острые, как у пилы, зубы. Вырвала руку и убежала.

Довидонис окончательно потерял покой. Вставал среди ночи, зажигал фонарь, шел, размахивая им, по двору, возился у стен, что-то высматривал, проверял. Возвращался домой хмурый, гасил фонарь и долго не ложился, стоял в темноте.

— Все равно поймаю,— грозился он.

Аж почернел весь.

Хозяйка повеселела, и синяки под глазами пропали. Дело ли делает, идет ли куда, все напевает про себя, все кому-нибудь скажет ласковое словцо. На ночь укладывается в каморке, на старушкиной кровати, только слезавшуюся солому оттуда выбросила в денник. Один остался Довидонис на печи, на своей попе. Бурчал и ругался там, пока сил хватало.

Однажды ранним утром хозяйка опять нагрела в котлах воды и спросила Довидониса:

— Дашь мне лошадь до станции?

— До какой еще станции?

— Неужто потащимся пешком? Высчитай-ка, это восемнадцать миль по-старому. Это как по-твоему?

— За каким чертом?

— Спрашиваешь, как несмышлениш. В уезд Уршулите повезу.

Довидонис долго глядел исподлобья на хозяйку и молчал.

— Успела наворовать?

— И рада бы, да мне своего довольно.

— Смотри у меня, мать!

— Будет время — посмотрию.

На сей раз Довидонис молчал еще дольше. И глядел не на хозяйку, а куда-то в сторону. Та опять:

— Как же быть с лошадыю? Скажешь Паурукасу запрягать, или мне самой кликнуть?

Теперь бы Довидонису сорваться, накричать на хозяйку и, конечно, не дать лошадь. Так я подумал. Но Довидонис поступил совсем по-другому. Встал из-за стола и вышел. Хозяйка вышла следом за ним и тотчас крикнула Паурукасу, чтобы запрягал.

— Стало быть, хозяин дал денег? — спросил я Мариёну.

— Даст он, как же... Разве что камень, голову себе разбить.

— На какие же деньги она едет?

— Найдет, на какие, — засмеялась Мариёна. — Хозяйка взялась за ум.

— Мариёна!

— Что скажешь?

— А ты не помогла ей?

— Гони скотину, не задерживайся.

Идя за стадом по жнивью, я опять видел, как по дорожной грязи тащилась подвода. На телеге сидели хозяйка и Уршулите, а рядом шагал Паурукас и, чмокая губами, покрикивал:

— Но-о!.. Но-о-о!..

Довидонис в этот раз провожать не пошел. Остановился в воротах. Стал накрапывать дождик, давно уж не видно было подводы, а он все стоял.

Неизвестно, отчего, но в доме стало будто светлее. После отъезда хозяйки Мариёна взялась за уборку так,

что по всему дому пыль столбом поднялась. Вымыла окна, как перед пасхой, обмотала мокрой тряпкой метлу и сняла с потолка паутину. Стащила с печной балки попону, повесила на изгородь и долго выколачивала палкой, потонув в облаке пыли. Так и не выколотила, оставила на дворе, чтобы вытрепало ветром, вымыло дождем. Нагрела она целую кадку воды, посадила туда Альбинелиса и Унтанюкаса и долго скребла их. Они визжали и ревели, а вода в кадке почернела и стала густой от грязи. С непривычки ребята почесывались еще и на другой день. И стол было не узнать, когда Мариёна прошлась по нему горстью хвоща. А уж из-под кроватей выгребла груды ношенных-переносенных деревянных башмаков, сломанное мотовило, обломок расколотой ступы, рваный мешок и много всякого добра, набравшегося там за десять, а то и больше лет.

Какое-то исступление нашло на Мариёну — от ее беготни ходуном ходил весь дом.

Не девка, а вихрь! Довидонис сопел-сопел, а потом и сам нагрел воды, вымылся ночью все в той же кадке, даже чистое исподнее надел.

— И к чему это? На что это нужно? — на всякий случай сказал он Мариёне.

— Стану я сидеть в такой грязи!

— Приедет — опять будешь сидеть.

— Пока не приедет — я хозяйничаю!

Довидонис спорить на стал, он только следил, чтобы на стол лишнего не ставили, запирали клеть не только на ночь, но и днем, даже в избе вдделал в дверцу судницы задвижку. Там держали подливку к блинам, ступку толочь сало, помазок для сковороды, бутылку с керосином и много других прекрасных вещей, домашнего приготовления или приобретенных за деньги. Мариёна честная-то честная, а все — наймитка, кто ее знает...

Мариёна насквозь видела хозяина и только посмеивалась над ним, а сама спешила переделать все дела. Довидонис не выдержал и проговорился:

— Мне бы такую хозяйку.

— Твоя чем плоха?

— Я и ее не хаю.

— Какую искал, такую и нашел...

— Это еще как сказать...

— А чем она плоха? Трое детей на шее, хозяйство на горбу, работе конца нет, а кружится, бегаёт, хлопочет, сколько сил хватает. Другая бы на ее месте по шею в навозе сидела.

— Я разве хаю? Я не хаю.

— Не слыхала я, чтобы и хвалил.

— А тебя разве когда хвалю?

— Меня, хозяин, ты на одну мерку с женой не мерь. Нынче я здесь, завтра — куда бог пальцем ткнет. Жалованье забрала, и фюить. А хозяйка привязана к одному месту, прикована до гробовой доски и ни жалованья ей, ни ласкового слова. Скажу напрямик: заездил ты ее, хозяин. Ты с ней обходишься хуже, чем с последней батрачкой.

— Тебе, значит, только и летать с места на место? — раздосадовался Довидонис.

— А то буду сидеть на одном месте? По крайности, из разных чугунов борща отведаю.

— Хороший наймит не бегаёт из дома в дом.

— Вот и ищи себе хороших, — отрезала Мариёна и пошла налить варева: пора была завтракать, все домоладцы зашли в избу, а Паурукас уж сосал корку.

Довидонис хлебал, жевал и поглядывал исподлобья на Мариёну.

— Стало быть, сбежишь? Будто я когда ругал тебя? Еще думал на другой год оставить.

— Меня, что ли?

— А почему бы нет? Паурукаса оставляю, а ты чем хуже? Поживете еще год.

— С Паурукасом?

— Паурукас — особ статья. Не о нем речь. Тебе-то почему не остаться?

Паурукас перестал жевать, поглядел на Довидониса и заморгал глазами — вот-вот расплачется.

— Хозяин... а я не нужен?

— погоди ты, Паурукас.

— А говорил, что нужен...

— погоди, тебе говорят.

— Хозяин, а говорил, что оставишь... За четыре года заплатишь, а там сызнава... на пятый оставишь. Говорил же?

— Сказано тебе, погоди, чтоб тебя черти!.. — рассердился Довидонис. — Дай с ней договорить.

Паурукас замолчал и полными слез глазами следил то за Мариёной, то за Довидонисом. Ему уж кусок в горло не шел, он положил и хлеб и ложку.

— Так как же, Мариёна? — спросил Довидонис.

— Если Паурукаса не берешь, мне-то чего оставаться?

— погоди. Что ты все на другое сворачиваешь? Я тебя спрашиваю. Не шутя, спрашиваю, Мариёна.

— Хочу в Латвию податься, хозяин.

— Опять в Латвию? Какого черта несет тебя в Латвию?

— Там и вшей поменьше, и Рига близко. И жалованье, жалованье, хозяин, не сравнишь со здешним.

— И жалованье! А ты сперва порядись со мной, тогда говори. Авось, и мы наскребем. Не нищие, не бобыли. Мы можем.

— Пустые это речи.

Хозяин замолчал, но, видать, не понравились ему слова Мариёны. Отодвинул чашку, положил ложку.

— Птица, и та в родные места летит... Черта ли найдешь в Латвии...

— Ну и найду, хозяин,— засмеялась Мариёна.— Что ни говори, а там батраков не морят голодом.

— Тебе бы лишь пожрать! — вконец разозлился Довидонис.— Иного и в голове нет.

— Как сказать, хозяин. А когда на столе пусто, голову на полку не положишь.

— На столе, на столе... Ишь запела. Будто я не знаю латышей. Дадут кусочек, а потом семь потов из тебя выжмут.

— Раз знаешь, хозяин, почему сам не делаешь, как латыши? Тогда бы и разговор другой был.

Довидонис закусил ус. Завтрак окончили молча.

Вставая из-за стола, он опять не утерпел:

— Не-ет, мне бы такую хозяйку...

— Постыдился бы, хозяин,— сказала Мариёна.— Жену заживо отпеваешь.

Довидонис, не ответив, потащился во двор, приниматься за работу.

Ночью, когда после долгого сидения завалились мы спать, Паурукас подергал меня за плечо:

— Не спи. Что ты все спишь?

— Что стряслось?

— Не получит жалованья Мариёна. Я знаю.

Со сна я ничего не понял и опять уткнулся лицом в подушку. Паурукас не отставал:

— Слышишь? Мариёна жалованья не получит, слышишь?

Паурукас был веселый. Сидя в постели, он размахивал руками и не собирался спать.

— Сам ты не получишь! — крикнул я сердито. — Четыре года прослужил, а много получил? И на другой год не оставляют.

— Я-то получу.

— Получишь, когда пройдешь десять миль вперед пятками. И отстань. — Я повернулся на другой бок.

Меня клонило ко сну, хотелось только прижаться щекой к подушке, закрыть глаза. А Паурукас пристал, как чирей, и не отставал.

— Видал, как запел Довидонис?

— Вот как тресну в рожу... — пригрозил я.

— Ты это брось. Это и я могу.

— Ну и отстань.

Паурукас подумал немного, отстал. Но ненадолго. Не успел я задремать, он опять меня за плечо.

— Не спи. Мариёна не получит жалованья, верно? Я говорю — не получит Мариёна жалованья... Вот увидишь, верно?

Стараясь не проснуться, я перевернулся под одеялом, уперся спиной в стенку и как дам Паурукасу в бок обеими ногами. Он полетел с кровати, растянулся на полу и поднял крик:

— Это ты лягнул меня? Погоди... верно — ты лягнул?

— Какого там беса? — крикнул с печи Довидонис. — Разбаловались, разъелись... Задницы зудят?

Паурукас тишком влез на кроватку. Я притворился, будто храплю. Лежим. Паурукас следит, правда ли я сплю, а я жду, когда он уснет. Так и уснули оба.

Рано утром, вернее сказать, еще ночью, слышим: что-то неладное творится в деннике. И собака на дворе лает, рвется с цепи, и словно крикнул кто-то, и что-то упало.

— Хозяин! Хозяин! — зову я.

Хозяина как не бывало.

— Мариёна! Мариёна! — кричу, отворив дверь в сени.

И Мариёны нет.

— Давай сбегает поглядим, Паурукас, может воры там, грабители. Может, убили хозяина.

Паурукас было начал обуставаться, но тут же выпрямился и точно замер.

— Грабители? Говоришь — грабители?

— Кто же еще? Слышишь, как собака рвется? Идем, Паурукас, поможем. Топор захвати.

— Постой. Ты верно сказал — грабители? — опять спросил Паурукас.

— Бежим,— крикнул я и кинулся к двери.

А Паурукас только бормотал:

— Знаешь... ты беги, а я... я догоню. Я сейчас... И топор захвачу... Сейчас...

Темень на дворе, хоть глаза выколи. А грязищи — куда ни сунься — везде лужи, слякоть. Ночью грязь всегда больше, чем днем. В малюсеньком оконце — свет. Какая-то возня, шум. Видать, грабители убивают Довидониса, а может, заодно и Мариёну. Может, обоих уж прикончили. Успеть бы только. Успеть...

А в деннике Мариёна держала левой рукой Довидониса за грудки, а правой хлестала. По лицу, по голове, по уху. Даже фонарь на стене вздрагивал. Довидонис, верно, хотел кричать, но боялся и только скрипел зубами, стонал, пыхтел.

— Мариёна, сбесилась ты... — бормотал он сквозь усы. — Не озоруй, Мариёна... Я тебе говорю — не озоруй!..

— Дубина... Пентюх... Скотина!.. — приговаривала Мариёна.

— Не озоруй! Говорю — не озоруй!

— Барыней он меня делает... Хозяйкой... Вот тебе за барыню! И за хозяйку! И за... Вот тебе, и вот тебе! Тут она заметила меня.

— Ты чего сюда?

— Я? А ты что делаешь?

Довидонис присел и вырвался из рук Мариёны.

— Нет, обожди, дьявол! — крикнула Мариёна.

Какое тут ждать! Довидонис схватил фонарь и проворно побежал через двор. Я еще никогда не видал, чтобы он так мчался. Мы с Мариёной остались

в темноте. Она тяжело дышала. Наконец успокоилась.

— Хоть раз душу отвела.

А я никак не мог опомниться.

— Мариёна, это ты хозяйина так? Хозяина?

— Пускай не лезет.

— Как так не лезет? — не понял я.

— Тебе про это рано знать.

— Прогонит он тебя. И не заплатит.

— Не на такую напал.

Она нащупала мою руку, потянула к двери.

— Идем вместе, не то еще головой ударишься... Не привык ты в темноте...

Вывела во двор, отпустила возле избы. Сама пошла в клеть, зажгла там другой фонарь. Пора было начинать уборку.

В избе Довидонис сидел, нагнувшись над глиняной чашкой, промывал нос, примачивал ушибленные места. И все спрашивал Паурукаса:

— Сильно заметно?

Паурукас стоял перед ним, держа в поднятой руке фонарь. Вряд ли он понял, о чем его спрашивают.

— Чего, дьявол, молчишь? — рассердился Довидонис.— Сильно заметно, спрашиваю? Что ушиблено — видно или не видно?

— Хозяин, а кто это тебя?

— Не твоя забота, дурак! Я тебя спрашиваю: очень заметно?

— Не очень.

— Так бы и сказал. А не врешь? — усомнился Довидонис.

— Заметно, хозяин.

Довидонис плюнул и больше не спрашивал. Опять стал примачивать щеки. Но примочки плохо помогали. Щеки и без того горели, как спелая рябина, а от холодной воды еще больше покраснели. И не только щеки. Даже при свете фонаря было видно, что Мариёна здорово стукнула его по носу. А как рассветет, то и слепой увидит — побили нашего Довидониса. Так я и сказал, когда ему не хватило терпения выпытывать Паурукаса и он обратился ко мне. Довидонис разозлился:

— Все вы хороши.

И опять к Паурукасу:

— Говоришь, не очень?

— Не очень.

— Верно — не очень?

— Заметно, хозяин...

— Нос, спрашиваю, как? Поднеси ближе фонарь, дурак, погляди как следует. Ну, как?

Паурукас поднес фонарь, поглядел и наконец объявил:

— Нос на месте.

— Дурак! Сам знаю, что на месте. Я об этом тебя спрашиваю? Дурак!

— Верно, хозяин. Нос на месте.

— Чтoб у тебя в портках было так на месте! — рывкнул чуть ли не по-звериному Довидонис. — Сильно заметно, спрашиваю, черт косопузый? Царапины видны?

Не дожидаясь ответа, достал из судницы осколок зеркала и долго разглядывал нос и щеки, разминал их пальцами и даже немного пощекотал.

— Ничего, а?.. Может, ничего?.. — рассуждал он сам с собой. — Еще водочкой примочу, тысячелистником, и ничего, и хорошо... Хорошо, а? — обернулся он ко мне.

Но было совсем не хорошо. И вернувшаяся на другой день хозяйка заметила, что нехорошо. Заметила еще, что дом ее будто не такой, как раньше. Позвала Мариёну:

— Ишь, что выдумала.

— Пойдем поговорим, хозяйка.

Пошли в каморку. Довидонис сразу скис и стал слоняться мимо двери кладовой. Но поодаль. Будто и тянуло его туда, и что-то отталкивало, не давало подойти близко. Не скоро хозяйка вышла из кладовой. Довидонис побледнел, попятился:

— Ну, как теперь... как?

Хозяйка не ответила и не глянула на мужа. Надвинула на глаза платок и прошла мимо.

На дворе не на шутку похолодало, и однажды встали мы утром, глядим — все покрыто снегом. Довидонис, до сих пор ходивший босиком, влез в сапоги с деревянными подошвами, пошел ставить на привязь скотину, а потом

несколько раз обошел все строения, сад, огород, проверял, не забыли ли чего под открытым небом, и если находил — громко ругался, доказывал, что наймиты — народ непутевый, никогда черных дней не знали, и норовят ввести хозяев в убыток. Обойдя свои владения, все проверив и на всех накричав, Довидонис поспешил в ригу. Молотьба подошла к концу. Огромные кучи провеянного зерна заняли из конца в конец весь ток. Взялся было Довидонис отвезти зерно в клеть, а клеть полным-полна, сусеки прямо ломаются от всякого добра. Даже хозяйка сказала:

— Отвезем хоть часть на базар, отец? И места нет, и деньги в доме нужны.

— Кто же продает хлеб осенью? Какие деньги получишь об эту пору?

— А сколько его на току мыши поедят?

— Замолчи, баба. И на что мне сейчас деньги? Налоги уплатил, хлебушко еще из позапрошлогодней ржи едим, куда нам торопиться? Когда зима будет на исходе, запасы у людей кончатся, тогда и на базар, тогда и цены другие.

Так и не повез. Ни зернышка. Теперь Довидонис нашел дело в овине. Положил колосники, свалил на них снятый со стлица лен, нагреб из половни прошлогодней, а может, и позапрошлогодней костры — топить овин. В печь он сперва сунул две длинных жерди, закрепил их, плотно набил между ними костры, потом жерди вытащил, — остались две длинные норы, только поднеси спичку, как все вспыхнет.

И везде Довидонис брал с собой не Паурукаса, а Мариёну. Мариёну да Мариёну...

— Она половчее. Проворней орудует, — оправдывался он перед хозяйкой.

Хозяйка как перестала разговаривать после приезда, так все время и молчала. Ни слова Довидонису, ни слова Мариёне. По вечерам прядет, сидя рядом с Мариёной, а сама и не глянет в ее сторону.

— Рассердилась, что ли, хозяйка? — спрашивала ее Мариёна.

А хозяйка только нажимает на подножку, и больше ничего. И весь день молчит — за работой ли, за столом ли. Неделью так, другую. На третью заговорила:

— Не ожидала я от тебя, Мариёна.

— Чего не ожидала, хозяйка?

— Что ты со мной так... И как это ты?

— Когда же это я стала тебе поперек дороги?

— Сама знаешь.

Мариёна удивленно глядела на хозяйку:

— Так ты... ты вон что обо мне подумала? Неужто подумала? Я же сама тебе все выложила.

— Честность свою хотела доказать, вот и выложила. Только ошиблась ты, Мариёна. Я не слепая, вижу, какая ты честная. Это как по-твоему?

— Хозяйка... а ты это не в шутку? Что стряслось? Нет, ты шутишь, хозяйка!

— Это ты шутишь. Так вот тебе моя шутка: захотелось тебе моего старика — бери моего старика, но дом... мой дом тебе не захватить!

— Хозяйка, выкинь ты это из головы!

— Нет, я тебя из дому выкину!

— Как так выкинешь?.. Да что стряслось, хозяйка?

— На моего старика позарилась — вот что стряслось.

Мариёна развела руками, громко рассмеялась. Потом без смеха уж стала говорить, что такого старика она и близко к себе не подпустит, она не из таких. Сама же первая все рассказала хозяйке. Так ли она поступила бы, будь ей нужен старик? Хозяйка сама это знает... Сама.

Долго говорила Мариёна. Хозяйка слушала и молчала.

Ночью, когда мы улеглись, Паурукас опять стал прочить:

— Не заплатит он Мариёне. Я знаю.

И напророчил-таки, чертов сын, угадал. На другой день хозяйка напустилась на Мариёну, показала свои коготки. И ест-то Мариёна за четверых, и не встает вовремя, и корову плохо выдаивает, и творог в печи передержала, и последняя неряха она, и растрепана, роняет в горшок с борщом волосы... Вдоволь накричавшись, собралась ехать за Уршулите. Довидонис сам запряг лошадь, проводил за ворота.

— Себя побереги. И Уршулите, а пуще всего себя. Я хоть и не говорю, потому, сама знаешь... что я без тебя? Без тебя я последний нищий.

— Выдумываешь, отец... Ты уж очень... — краснела от радости хозяйка.

Паурукас стоял посреди двора и опять пророчил:

— Не заплатит он Мариёне.

— Тебе самому не заплатит,— разозлился я.

Едва уехала хозяйка, как Довидонис подступил к Мариёне:

— Добром уйдешь или просить прикажешь?

Она сперва не поняла. Довидонис взял ее за руку, подвел, как маленькую, к клетки и показал пальцем на подполье.

— Оба полезем затычку проверять или одна хочешь?

Мариёна так и оцепенела.

— Какая затычка? Где?

— Где вы с хозяйкой просверлили дно сусека,— ощерился Довидонис.— Перехитрить меня хотела? Созоровать? Нет, с хозяевами не больно-то поозоруюшь.

— Я не крала...— растерялась, покраснела Мариёна.— Ни зернышка не взяла.

— Это ты судье скажешь. Вот как вызовут, ты ему и скажи: не крала я, господин судья.

Довидонис ухмылялся, а Мариёна стояла сама не своя.

— Хозяйка все мне рассказала. Как на исповеди ксендзу. А ты думала — не скажет? Нашла дураков!

Мариёна мало-мальски пришла в себя и тихим голосом спросила:

— Хозяйка?

— Не кукушка же прокуковала.

— Хозяйка? — повторила Мариёна и так глянула на Довидониса, что он попятился и выставил вперед ладонь.

— Но, но! Ты не очень...

— Не крала я зерна!

— Не крала, так подговорила украсть. Мол, не проси у злыдня-мужа, возьми сама, все здесь твое. Что, не говорила?

— Хозяйка это сказала?

— Что ты ей, то и она мне.

— Не крала я зерна.

— А кто видал, что не крала? Может, Паурукас?

Разговаривали они перед клетью, а мы с Паурукасом замешкались у денника, и Паурукас в который раз твердил:

— Моя правда, не заплатит он Мариёне.

Мариёна замолчала и ушла. Весь день, а потом и весь вечер не вымолвила ни слова. Убралась в избе, обрядила скотину, покормила кур, напоила собаку. А когда миновала ночь, я увидел разряженную по-праздничному Мариёну. Платок на голове в цветочках, через руку перекинута шаль, в другой руке — узелок. Точно на престольный праздник собралась. Позвала меня на двор.

— Ухожу. Будь здоров, учись в дураках не оставаться.

— Мариёна, а ты... воровала зерно?

— Ты как думаешь?

— Зачем же уходишь?

— С дурака ума не спрашивай.

— Чего ты ругаешься?

— Я же не тебя — себя ругаю. А тебе вот что скажу: упаси тебя бог жалеть хозяев.

Я так и не понял, что она хотела этим сказать, а Мариёна замолчала. Так мы и стояли в предрассветном сумраке. Хозяйская собака вышла из конуры, повиляла хвостом и опять влезла в конуру. Собаке еще рано было вставать.

— А как упрашивала, плакала,— заговорила Мариёна.— «Помоги, надо спасти Уршулите, а если ты не поможешь, кто же поможет?» И выплакала, не выдержала я. Еще раз говорю: упаси тебя бог жалеть хозяев. Ладно, будь здоров и помни: они сами по себе, мы — сами по себе. Они всегда сами по себе.

— Мариёна...

— Ну?

— Ты добрая была...

Она не ответила, только обняла, прижала к себе, и тут я увидел: плачет. Тут же оттолкнула меня, ушла.

Была Мариёна, и нет Мариёны... Больше нет!..

Паурукас встал утром веселый. Первый раз веселый. Даже коленкой за коленку не так цеплялся.

— Моя правда. Не заплатил Мариёне!

— Паурукас,— окликнул я его.

— Моя правда...

— Чтоб ты сдох! Слышишь, Паурукас? Чтоб ты сдох

в крапиве!.. Знаешь, под забором, где собаки подымают. Чтобы тебе задницу нажгло и ты бы сдох!

Паурукас захолопал глазами.

— Погоди... ты никак ругаешься?

— Чтобы ты трижды сдох в крапиве!

— Ты правда ругаешься?

— Чтобы тебя вверх задницей закопали! И когда сдохнешь, чтоб ты белого света невзвидел!

Меня душили слезы, и было стыдно, что я плачу перед Паурукасом, и он видит, что я плачу.

— Ты не бойся,— стал утешать меня Паурукас.— Хоть и изругал меня, а не бойся. Я тебя не побью.

— Дурак! — крикнул я.— Не заплатит он тебе! Сроду не заплатит! В жизни ничего не получишь!

— Получу.

— Кукиш с маслом получишь. Много ты получил? Сколько-нибудь дал тебе Довидонис за четыре года? — выкрикнул я. И убежал. Не потому, что боялся его кулаков, а потому, что не мог больше видеть Паурукаса. И весь день не подходил к нему.

Завтрак нам подал и обед варил сам Довидонис. А помогал ему Альбинелис. И воды в чугуна налил, и сало на подливку истолок, и мешал кочергой в печи, отгребал жар от горшков. Довидонис не мог нахвалиться своим первенцем.

— Ай да Альбинелис, ай да помощничка я дождался! Когда так, Альбинелис, и я того... матери расскажу, какой ты помощничек.

И правда, когда приехала хозяйка с Уршулите, он стал рассказывать, как они с Альбинелисом стряпали, как хозяйничали, избавившись от Мариёны.

— Когда так, отец,— прямо-таки расцвела хозяйка,— пожалуй, на тот год лучше не брать работницу? Альбинелис будет помогать мне со стряпней. И Уршулите у нас, и Антанюкас подрастает. Как ты скажешь, отец?

Хозяйка была довольна. Видать, и у нее в уезде все обошлось хорошо.

— Золотые твои слова,— расчувствовался Довидонис,— ты погляди, как Альбинелис шурует, нет, ты только погляди, мать!

— Опять же Уршулите, говорю. Почти уж здоровая, кость ей продолбили, гной выкачали, еще под рожде-

ство свозим перевязку сделать, и все, и дочка совсем выздоровеет. Пусть они вдвоем, а я за стан сяду. Чего не знают, покажу, научу... А, отец?

— Золотые слова, мать, золотые твои слова!

Они проговорили целый вечер. Ночью Паурукас подтолкнул меня.

— Моя правда. Моя?

— И тебе не заплатит.

— Мне заплатит. Хозяин сказал. Заплатит.

Я только засмеялся, — тут и малый ребенок бы понял: не заплатит он Паурукасу. Если Мариёне не заплатил, то ему, худой мотне этой — и подавно... Три года проработал — не заплатил, а за четвертый так тебе Довидонис и выложит? Уйдет Паурукас, как и Мариёна ушла. Еще как! Мариёна хоть надавала Довидонису по роже, душу отвела, а этот разнюнится только. Паурукас, должно быть, услышал, как я бормочу, и пристал ко мне:

— Говоришь, не заплатит?

— Ободранной собаки не получишь.

— Не заплатит?

Я засмеялся. Паурукас подумал:

— Я покажу, как мне не платить!..

Сказал, а сам-то не знал, заплатит или не заплатит. Замолчал. А утром опять пристал:

— Говоришь, не заплатит? Правду сказал?

И так несколько дней. А потом и по ночам. Смотришь — проснулся, весь потный, сидит в постели, как пьяный, а рукой мне в бок тычет:

— Говоришь, не получу?..

И опять дело пошло к непогоде: то подморозит, то развезет, а там и вовсе зарядил дождь. Налетел лютый ветер — ерошил на крышах солому, отдирает решетины, завывал целыми ночами, трепал ветки яблонь; собака и та, перебегая двор, отворачивалась от этого ветра. Довидонис ночами топил овин, а утром сзывал соседей на толоку — мять лен. А измяли — и трепать начали. С утра обрядим скотину, похлебаем борща и все по лесенке на поветь. Здесь уж для каждого приготовлен ворох измятого льна, а как я ни разу еще не держал в руках трепала, Довидонис опять поучил, велел бить не

по пальцам себе, а по льну, и бить не сильно, а как бы поглаживать, тогда костра скорее осыпется и лен будет чистый. Он мне и стойку пониже сделал, чтобы сподручнее был трепать. Вот и наяриваем все втроем, и столько на нас садится костры и пыли, что мы походим на засыпанные землей пни. Потреплешь вот так целый день, а вечером рука так ноет, будто ее стянули ремнем, даже в локоть отдает; в постели укладываешь ее и так и сяк, а все неловко, неудобно, и не уснуть тебе, ни передохнуть. Вот когда я понял, как сладко было отцу трепать Тяконисов лен! А ведь перед сном надо было еще поработать крючком. Раз есть свежие отрепки, самое время навить кнутов на все лето. И сколько ни вей — конца-краю им не будет. Как побольше навешь, Довидонис собирает в кучу и отнссит. Куда он их утаскивает, куда деваает — не угадать. Словно в прорву какую кидает: перерой весь дом, осмотри от подмуровки до подволоки — нет кнутов. А Довидонис покривает:

— Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, не сидите сложа руки!

И пошевеливаемся. И хозяйка целыми вечерами сидит за прялкой. И ребятишки дремлют под навоем. Как навили на него основу, на том и дело стало; даже нитченки не вдеты, и бердо отодвинуто. Некому сесть за стан. Мариёны нет. Довидонис пыхтит на печи целыми вечерами — не то спит, не то греет кости. Кто тут поймет, что делает хозяин темными осенними вечерами?

В один из таких вечеров возьми и пропади Паурукас. Скотину убирать вышли все, Паурукас таскал в сетке солому, покрикивал в деннике, вдруг — глядь — нет Паурукаса. И ужинать не явился, и после ужина. Хозяйка не раз вставала из-за прялки, подходила то к одному, то к другому окну, всматривалась, приплюснув нос к стеклу, прислушивалась, не поскребет ли кто, не стукнет ли. Никого.

— Может, неладное что? — опять подошла к окну хозяйка. — Никуда не ходил, все вечера дома, а тут вдруг... Отец, слышишь?

Но Довидонис храпел на печи, не слышал. Хозяйка вернулась к прялке и опять только головой покачала, нажимая на подножку.

— Что же это будет? Если и Паурукас так, что же будет? Это как по-твоему, отец?

Совсем поздно, неожиданно-негаданно, слышим — идет Паурукас. Орет на весь двор:

— Э-эх, туруру! Подать мне семерых параличных!

Дверью — бух-бух! Вошел, шлепнулся задом на лавку, поставил локти чуть не на середину стола. Лицо покраснелось, глаза тоже красные и слипаются. Поднял кулак, грохнул по столу.

— Подать сюда семерых параличных!

— Не бесись, Паурукас,— улыбнулась хозяйка.— Ну, чего ты, бедняга? Это как по-твоему?

— Я не бедняга,— выкрикнул Паурукас,— ты видишь, хозяйка, что я не бедняга! — И опять по столу. Только не кулаком, а ладонью: плюх!

— Давай сюда жалованье! — Выкрикнул это смело, сам встал, оперся на край стола и давай раскачиваться: вперед-назад, вперед-назад. И опять ладонью по столу — плюх!

— На маковое зернышко не обсчитаете! Расплачивайся, говорю! За четыре года!

— Лег бы ты лучше, Паурукас,— стала уговаривать его хозяйка.— Набегался, натоптался... Ну, чего ты? Выпил, и слава богу, кто чего скажет? Поди проспись, завтра опять будешь здоров.

А Паурукас опять ладонью об стол.

— Выкладывай жалованье за все четыре года!

Но никто не спешил выкладывать что-нибудь, и Паурукас стал оглядывать избу.

— Где пастушок? — спросил.— Пастушок где... как его? Хозяйка, позови пастушка.

— Ты уж совсем рехнулся, Паурукас,— засмеялась хозяйка.— Вот он, пастушок, пряди сучит, это как по-твоему? Налил зенки-то!

— А-а, пастушок? Где ты, пастушок? Иди сюда, погляди... ты погляди! — сказал Паурукас и опять ударил по столу.— Видишь или не видишь? На маковое зернышко меня не обсчитает! Видишь?

Над колпаком очага показалась голова Довидониса.

— Кто же тут гуляет, а нас и не позовет? — тонким голосом спросил он. — Ба, не ты ли это, Паурялис?

— А-а, хозяин нашелся...— Паурукас запнулся.— Слезай, хозяин! Давай сюда жалованье. Слышь, хозяин? Жалованье подавай — вот сюда, на стол!

Довидонис соскользнул с печи — босой, на плечах кожух внакидку. Сел за стол и тут же крикнул хозяйке:

— Как же ты, мать, людей принимаешь? Как ты встречаешь Паурукаса? Да знаешь ли ты, кто такой Паурукас? Исходи вдоль и поперек весь свет, а такого не найдешь. День и ночь ищи, а не найдешь.

— Я разве что говорю, отец?

— А нам твои разговоры и не нужны. Больно нужны нам с Паурукасом твои разговоры. Ты нам поищи, там... алойной либо калганной настойки. Чтобы на столе звенело!

— Еще что удумаешь?— Хозяйка перестала пряхть.— Оба сбесились?

— А к настойке, мать, сыру, масла, копченого сала... Чего стоишь, будто доят тебя? Не слышишь, что говорят?

Хозяйка развела руками, отодвинула прялку, стряхнула с передника костру, все еще не веря, что Довидонис не шутит. А тот даже топнул ногой.

— Чтобы все как полагается. Для дорогого гостя — слышь, мать?

Тотчас на столе очутилась нарезанная кружочками колбаса, вкусно пахнущее можжевельным дымком сало, ломти хлеба, а посередине возвышалась, как колокольня, черная, крепко засмоленная бутылка. Паурукас только потянул носом вкусные запахи, поморгал и не то засмеялся, не то заплакал.

— Хозяин! — окликнул Довидониса.

— Или что не так, Паурукас, — встревожился Довидонис.

— Хозяин, а я твоего пить не буду.

— Не пей, не пей, Паурукас, — согласился хозяин.

— Я свое пил.

— Правильно говоришь, Паурукас. Раз пил свое, так моего не пей. Если душа моего не принимает, так и не пей.

— Мне твоего не надо.

— Хорошо сказано, Паурукас. Раз душа не принимает, зачем тебе мое пить? Ты моего не пей, Паурукас.

Я уж сам возьму да и выпью. Один выпью, Паурукас, ты только посиди со мной. Мне главное с человеком посидеть, а выпить я и один могу. Ничего не поделаешь — взял и выпил.

— Раз тебе захотелось выпить, хозяин, ты и пей, а меня не упрашивай. Мне твоей выпивки не надо,— артачился Паурукас, хотя его не то что не упрашивали, но и не угощали. И вдруг выпалил:— Мошенник ты, хозяин.

— Истинная правда,— пригорюнился Довидонис.— Все мы мошенники перед богом. Ты посиди, Паурукас, а я налью и выпью. Один выпью, что поделаешь, когда некому со мной выпить.

Говорил Довидонис чуть не со слезами, и сам откупорил бутылку, стал наливать. Налил рюмку, за ней другую и придвинул ее Паурукасу. Тот поглядел, взбеленился.

— Отдавай жалованье, мошенник! За четыре года выкладывай!

— Выложу, Паурукас, все до последнего зернышка выложу,— согласился Довидонис, взяв со стола свою рюмку.

— Вот и выложишь! И выложишь, хозяин.

— А я что говорю? Выложу. Все до зернышка. А ты меня — мошенником. За что ты меня так? Мне твоего не надо.

— Мошенник ты, хозяин. Где мое жалованье? За четыре года — где?

— Мужик, а рассуждаешь по-ребячьи. Твое не пропадет, мне ведь чужого не надо.

— И выложишь!

— Выложу, Паурукас. Хоть со слезами, а выложу. Не надо мне ничего чужого, своего хватает. Ты только посиди со мной, а то одному не пьется, — сказал Довидонис, взял другую рюмку и втиснул в руку Паурукасу. Будто и ненароком, а получилось ловко. Паурукас, не глядя, оставил рюмку, а Довидонис стал подталкивать все ближе и ближе. Выплеснул даже немного. Паурукас покосился.

— Не разлей смотри.

— Где наше не пропадало, Паурукас! Когда посидишь с хорошим человеком, так если и прольешь каплю — не обеднеешь. За твое здоровье! Хороший ты

парень. И раньше был хороший, и теперь. Таким всю жизнь будешь. И хозяйка так скажет. Видать, таким уж ты уродился, Паурукас.

Паурукас и не заметил, как взял рюмку, запрокинул голову и выпил. Выпил и Довидонис. И тут же подвинул Паурукасу блюдо с желтоватым салом, а потом и хлеб. Достал из судницы соль. Паурукас жевал и грозился:

— Жалованье все равно выложишь!

— Никуда не денешься — выложу. Такие уж мы люди: что заработано — отдавай.

— И отдашь!

— А я что говорю: ни зернышка, ни сухой былинки себе не оставлю. Только зачем же так — за четыре года? Взял бы уж за все пять — гамузом.

— Как так за пять? — Паурукас и жевать перестал. — Пять лет не отработал я, хозяин, за что же мне? Мне тоже чужого не надо.

— Не отработал, так работаешь. А заплатить я хоть сейчас готов. Как ты говоришь — выкладывай на стол, хозяин. Возьму и выложу.

Довидонис утер слезы, усмехнулся. Налил Паурукасу еще рюмку. Тот опять не заметил, как выпил. Довидонис сейчас же за колбасу, хватал кружочек за кружочком. Своими руками наложил на хлеб, впихнул в рот Паурукасу.

— Пожуй, очень пользительно. Когда хлеб с колбасой — для здоровья хорошо.

— Не отработал я пяти... — поперхнулся Паурукас.

— Выходит, не останешься на пятый год, выставишь меня на посмешище людям? Что же тебе в моем доме не нравится? Хлеба как будто не жалею, всегда с правой, по утрам на столе блины. Или одежда-обушка плоха?

Паурукас кое-как справился с куском, загнал его в себя и теперь глядел на Довидониса во все глаза:

— Выходит, оставляешь?

Довидонис не ответил ему, только напустился на хозяйку:

— Рехнулась ты, баба? Где на столе сычуг? Мы-то сидим, уминаем сухой хлеб, а она, вишь ты, а она... Чтобы сычуг кадрилию на стол! — и стукнул кулаком.

Хозяйка встала из-за прялки и, не сказав ни слова, пошла в кладовую.

— Хозяин...— окликнул его Паурукас.

— Ну что, Паурукелис? Что скажешь? Сам должен понять: когда наймит долго держится на одном месте, выходит, хороший он наймит?

— Хороший,— согласился Паурукас.

— И хозяин, выходит, хороший?

— Хороший,— опять согласился Паурукас.

— Выходит, оба хорошие, а, Паурукас?

Паурукас молчал, размышлял.

— Хозяин,— заговорил наконец,— коли ты так меня полюбил...

— Какой тут разговор, Паурукас. Где это видно, чтобы отбарабанить четыре года и не остаться на пятый? И разговора быть не может.

— Так оставляешь, хозяин? — все еще не верил Паурукас.

А Довидонис опять наливал и уж не колбасу, а сычуг накладывал на хлеб, и прямо в рот, в рот Паурукасу. Тот только работал челюстями.

— И жалованье за все пять лет, Паурукас. Долго ли пролететь пятому году? Не успеешь оглянуться, затылок почесать, и год позади, заплатят уж по-иному. Знай ворочай мешки зерна, свертывай пучки льна, да позвякивай денежками. Сапоги себе справишь, приоденешься во все суконное, штаны-галифе. Как пройдешь улицей, все девки — к окнам, и не с десятью, а может, и с двадцатью гектарами приданого, прямо отбою от них не будет, Паурукас.

Паурукас ослабил рот до ушей. Очень понравилось ему, как он пройдет по улице в сапогах и во всем суконном. Но поверить было нелегко.

— Хозяин, да ты шутишь надо мной?

— На вечеринку пойдешь, на танцы, а сапоги — скрип-скрип, как у самого землемера. Девки так и липнут, так и липнут... А ты себе покручиваешь усы — то один, то другой...

— Хозяин...— простонал Паурукас.

— Не шучу я, Паурукас, не шучу.

— Хозяин, а что ты думаешь? Если сапоги справить, может, и в самом деле?..

— Когда за пять лет получишь, не то что сапоги, а

прямая дорога в зятя. Скажем, на десять десятин, а? А то и на двадцать!

— Ну да, шутишь...

— Свою долю наличными внесешь, а работник каков! Иной взял бы тебя и голым-босым, а ты в сапогах и с головы до пят во всем суконном...

— Шутишь...

— Давай ударим по рукам, магарыч — на столе. Одним разом. А, Паурукас?

Паурукас глядел на Довидониса, и словно бы не видел Довидониса, ворочал глазами и ухмылялся, не закрывая рта. Рука сама шмыгнула через стол к Довидонису. Тот схватил ее, сжал и ударил левой рукой. Вот и срядились.

— Теперь мы почти сродники, Паурукас,— и Довидонис смахнул слезу.

— Шутишь ты, хозяин...

— Какие теперь шутки? По рукам разве не ударили?

— Все одно шутишь...

Опять забулькала водка, опять хозяин налил Паурукасу. А раз налил, тому ничего больше не оставалось, как взять и опрокинуть. Довидонис опять налил...

Все утро проспал Паурукас. И Довидонис не будил его, будто так и надо. И хозяйка тишком хлопотала у печи. Так и проспал бы Паурукас до самого обеда, кабы не заявился какой-то мужик. Пришел, спросил Паурукаса и ну расталкивать его.

— Долг не рана, не заживает. Обещал или не обещал отдать на заре?

Довидонис тут как тут:

— А тебе, самогонщик, чего здесь надо?

— Того самого.

— Стало быть, ты вчера в долг напоил моего батрака?

— Я свое получу.

Довидонис помолчал, поглядел на мужичка. Тот стоял как ни в чем не бывало, оставив левую ногу. Был он немолод, изрядно сгорблен, руки и даже лицо черные от въевшейся сажи, и весь он пропах дымом, как и всякий, кто живет в курной избе. Глаза часто-часто мигали, нос испещрен багровыми жилками.

— Я свое получу, — повторил он. — Паурукасу за че-

тыре года причитается, вот и получу. Вчера так и договорились.

— А известно тебе, что за самогонку могут и прижучить? — спросил Довидонис.

— Как не известно, да не нашелся пока, кто бы прижучил.

— А ну, как найдется?

— Тогда и разговор другой. Так как же, Паурукас,— принялся он снова расталкивать парня.— Умел пить, умеи и платить, у людей так водится.

Паурукас проснулся и озирался ошалело, не понимая, где он и чего хочет от него этот мужик. Прошлепал к ведру с водой и долго пил, а как напился — пуще обалдел.

— Вот как дам...

— Давай, давай. Обещал на заре отдать, чего ждательто?

Паурукас постоял, помолчал. Хмель не сошел с него, валил с ног, пришлось держаться за стену.

— Хозяин!.. — крикнул он.

— Мы разочтемся, Паурукас,— засуетился Довидонис.— Разочтемся, раз такое дело. Ты иди, а мы тут без тебя. Иди, Паурукас.

— Я свое получу,— повторял мужик.— Чистыми считаешь да еще попросишь взять.

— Возьмешь и так.

Паурукас вышел из избы. Он долго пил у колодца, наклонив ведро, но от воды ему стало еще хуже.

— Хвастался, хвастался, а что получил? — спросил я, когда мы пошли к скотине. — Над Мариёной смеялся, а сам много выжал? Где твое жалованье за четыре года?

— Погоди ты...

— Дрянь ты, Паурукас. Где твое жалованье? «Получу, получу, мне отдаст, мне отдаст!» Много тебе дал Довидонис? Теперь вот за самогонку вычтет, на пятый год останешься, и опять без жалованья.

— Погоди ты...

Взял вилы, зашел к коровам перевернуть подстилку. Работы тут было — раза два шевельнуть вилами, а Паурукас возился и возился, никак не мог кончить. А когда подошел к буренке, то вовсе очумел,— и вилы в навоз не воткнул, а пошел прямо в угол. После гля-

жу: у Паурукаса трясутся плечи. Голоса не слышно, а плечи трясутся. И лицом в угол уткнулся.

Буренка и то не выдержала, обернулась и поглядела на Паурукаса.

Зарядил дождь, слизнул первый снег. Развезло, размесило все тропинки. Но неглубоко — крепко промерзла земля. И дождь будто озлился — мочил и мочил ее. Холодный, недобрый. Идешь по двору, либо к риге, и кажется, льет не сверху, а со всех сторон, даже снизу. И ветер дует со всех сторон, несет ледяные брызги. Только в хлеву и хорошо в такую погоду. Сладковато-терпко пахнет навозец и вовсе уж сладко — коровий пот. Зайдешь покормить скотину, да так бы и не уходил, так бы и пробыл здесь до вечера, а там и до утра. Но наше место не в хлевах, а на повети. Трепка льна в самом разгаре. Довидонис так и сказал:

— К сочельнику не добьете — никого не отпущу на рождество.

И добываем. А дождь все хлещет. Под коньком завывает, гудит ветер, стегает потоками воды по крыше, бьется о стены у нас под ногами.

— Гнилая будет зима, — сердито вещает Довидонис.

Глядь, однажды днем небо словно бы прояснилось, тучи стали расходиться. И ветер как-то переменялся, словно ножницами режет. Видно, к морозу. Под вечер и вороны слетелись на верхушку тополя и долго сидели, повернувшись клювами к северу. Довидонис сразу просиял.

— Быть морозу.

Той же ночью и правда мороз крепко сковал землю, затянул ледком болота и болотца. А к утру заиндевели, поседели крыши, изгороди и зеленыя в поле. В полдень вышло из-за туч солнце, и вот уж вспыхнули кусты на краю поля, закапанные растаявшим инеем, даже жнивье загорелось, заблестело морозным серебром, а потом и золотом. Тихо стало в доме и в поле, и казалось, вот-вот зазвенят колокольчики мимоезжих сватов, и заспешат три волхва к празднику всех пастухов. Христос рождается в яслях, и кончен год — можно вернуться домой с честно заработанной рожью, а к ней

на прибавку хозяйка укладывает в сани вкусно пахнущие узелки и свертки...

Но это ненадолго. Опять обложили небо, распустили полы тяжелые, набрякшие тучи. Повалил снег, стал устилать, укрывать землю. Так весь вечер и всю ночь.

Утром встали, идем с Паурукасом в ригу, а там яблони подносят на сучьях, как на ладонях, снег, и кусты крыжовника забрели в белизну. А следов в снегу, следов-то! Вот пробежала, будто часто перебирая четки, серая мышка, а это ласка стрельнула, оставив двойную цепочку, и чуть заметную стежку прострочила землеройка... Тройчатки-елочки — это попрыгивает воробей, зазимовавший жаворонок будто взбирается по ровным ступенькам, а это красногрудый снегирь скачет... Но вот среди всех этих следов показались совсем иные: тут не четки перебирали, не по ступенькам поднимались, это прыжки, прыжки. И крупные. Задние лапы с острыми когтями уперлись в снег, раз — врезаются передние, опять уперлись, и опять врезались. И в каждом прыжке левый след впереди, а правый все позади.

Показываю на эти следы Паурукасу:

— Видишь? Хорек разгуливал.

Паурукас приостановился, опустил сетку, зевнул:

— А мне наплевать.

— Давай изловим, Паурукас. Вместе возьмем и изловим.

— Хорьков ловить не было уговора.

— А мы изловим. Для себя изловим. Продадим, кучу денег получим.

Паурукас долго стоял — думал.

— Не было такого уговора, — повторил.

И еще подумав, добавил:

— Не связывайся ты с хорьками. — И пошел дальше.

А у меня из головы не выходили хорьки. Чуть что — бегу поглядеть на следы. Весь день так. На другое утро гляжу — опять пробежал хорек, а может, и два и три. И тут и там, кругом следы...

— Изловим хорька, Паурукас, — пристал я к парню.

— Не связывайся.

— Чтоб тебе треснуть, Паурукас, — давай изловим.

— Больно надо.

Уперся, и никак его не уговоришь, не расшевелишь.

На четвертый день хозяева уехали на базар, оставили нас с ребяташками... Я уж не уговаривал Паурукаса, а тайком собрал кое-какие дощечки и смастерил ловушку. Получилась — что надо: вроде сундучка, открытая с двух сторон, чтобы хорек видел выход. Вставил в нее зазубренную лучинку, пропустил один конец сквозь выпиленное сбоку отверстие и подпер его сторожком. А чтобы крепче запереть хорька, положил на обе дверки по камню, какие только смог поднять. И еще, чтобы хорек влез без оглядки, нацепил на лучинку поджаренный ломтик сала. Не хочет Паурукас, ну и пусть его, я и один изловлю хорька, и будет он мой!

С вечера поставил я свое изделие у овина, под снопы, где были следы хорька. Улегся спать рядом с Паурукасом. Как рассветет, думаю, пойду проверю. Не спится. Только закрою глаза, и вижу: хорек подходит к моей ловушке. Хорь здоровенный, спина выгнута, шерсть блестит на морозе... Ближе, ближе... Увидел сало — цап! Сторожок подскакивает, обе дверки — хлоп-хлоп! Я подбегаю, хватаю хорька за загривок, и ударяю оземь, а он бьется, не утихает, а я вспрыгиваю на него, мну его руками, топчу ногами... Вдруг слышу под собой голос Паурукаса:

— Отстань, дурак... Чего дерешься?

Вокруг темно, а подо мной не хорек, а Паурукас.

— Говорил, не связывайся, — бормочет он, сбрасывая меня. — Теперь вот рехнулся, а что будет, когда хорек попадется? Влезь на меня еще разок, влезь только!..

Повернулся на другой бок и захрапел. Засыпаю и я, и не успел еще уснуть — опять вижу: подходит хорек... подходит...

Так всю ночь.

На рассвете я помчался к ловушке, прихватив с собой мешок. А там нет ничего. Сало висит на лучинке, смерзлось в камень. Хорек и не почесался, и близко не подходил. На снегу вчерашние следы, а новых нет. Скорее всего понял, чего я добиваюсь. А когда так, ничего у меня не выйдет.

Три дня подряд не проверял я ловушку. Но как-то утром пошел к скотине, слышу, под снопамы кто-то возится, царапается. Подбегаю к ловушке, а там — хорек! Хорек! Мечется в ловушке, царапает доски когтя-

ми, грызет зубами. А я как назло без мешка. Лётом полетел за ним и назад к овину, сам задохся. Натянул края мешка на ловушку, дернул за веревку, поднял дверку и вытряхнул. Хорек шлепнулся на дно мешка и как начнет рваться, вот-вот прогрызет мешок, выскочит, и фюить... Весь дрожа, хватаю мешок и ударяю им об стену, о кучу жердей, оземь, опять об стену... Мало-помалу утих мой хорек, скоро и вовсе ослаб, осел на дно мешка. Я обеими руками выхватил его, мякосько-го, приятно пахнущего козлом, и со всех ног пустился к дому, а сам кричу во все горло:

— Хорька!.. Хорька поймал!

Всполошился весь дом. Подбежали Альбинелис, Уршулите, Унтанюкас схватил хорька за хвост и не выпускает, а хозяйка — за голову и тоже не выпускает. Все спрашивают, как я его выследил, как сделал ловушку, как вытряхнул в мешок и как из мешка...

Когда все успокоились, Довидонис протянул руку.

— Ну-ка, дай сюда. Сниму шкуру, набью сухой золой, пусть повисит на жердочке, пока Мендель не заедет. Ему и продадим.

— Я сам сниму шкуру, — не соглашался я.

— Сам? — удивился Довидонис. — Как так сам? А ты умеешь? Приходилось разве?

— Не приходилось...

— А нет, так как будешь снимать? Ты шкуру испортишь. Ну, откуда начинать, знаешь?

Я не знал, слышал только, что начинать надо с губ. Отодрать ножом губы и вытаскивать хорька через шею, шкурка-то и слезет, целехонькая, без изъянов.

— Ты смотри, ты смотри! — рассердился Довидонис. — Не умеешь, так не суйся. Давай, давай сюда, не балуй! — опять протянул он руку. — Нельзя его так долго держать, шкурка испортится... А за то, что ты мне хорька словил, я тебя не забуду, конфетку с базара принесу. Давай, давай же.

— Конфетку? — я даже рот разинул. — Ведь хорька я поймал. Приедет Мендель, я и продам ему.

— погоди. Как продашь? Моего-то хорька! Как это ты продашь моего хорька?

Тут я окончательно обалдел. Мой хорек стал уж не моим. Шкуру с него снять — нельзя, продать — нельзя...

— Какой он ваш? — кричу.— Хорек мой!

— Твой? — все пуще удивлялся Довидонис.— Кто тебе его дал?

— Я сам поймал.

— Поймал...— усмехнулся Довидонис.— Эка важность, что поймал. Не ты, так другой бы поймал. Зазряя наймитам плачу? Ну, отдай, отдай, не балуй. Говорю, нельзя его долго так держать, мех облезет, много тогда с Менделя возьмешь?

— Не дам,— сказал я.— Хорек мой. Я сам его выследил, сам ловушку сколотил и поймал. Мой он!

Довидонис покачал головой и, недолго думая, взял меня за руку, повел к тому месту, где я поставил ловушку.

— Чей это овин? — показал пальцем.

Я только засмеялся. Последний дурак знает, чей это свин.

— Ты не щерься, а ты скажи: чей это овин?

— Ваш овин. Чей же еще?

— Правильно сказал. Мой. Ну, а снопы? Чьи снопы?

— И снопы ваши.

— Очень даже правильно сказал. Ну, а хорька ты под снопами поймал?

— Под снопами.

— Под этими снопами?

— Под этими.

— Так чей же хорек?

— Хорек? Хорек не ваш.

— А чей же?

— Не ваш... Хорек общий...— пашелся я.— Общий! Кто поймает, тот и возьмет себе. Общий!

— Хе-хе-хе,— рассмеялся Довидонис.— Может, скажешь теперь, и овин этот общий.

— Овин не общий. Овин ваш.

— Вот спасибо, братец ты мой любезный, хоть овин мне отдал. Ну, а снопы?

— И снопы не общие. Снопы ваши.

— Вот спасибо, вот уважил, — веселился Довидонис.— Ты, я вижу, хороший мужик, щедрый. Овин, выходит, мой, снопы мои... Ну, а доски чьи?

— Какие доски?

— Ловушку-то сколотил? Из чьих досок?

— Из досок?.. Из ваших досок.

— Ха... Что же это получается, братец ты мой любезный? Овин мой, снопы мои, доски на ловушку пошли мои, и время мое ты потратил, покуда ее сколачивал. Так чей же хорек?

У меня голова кругом шла от этого разговора. Никак не придумаю, что ему ответить. Чувствую лишь, что хорек все равно мой, сдохну, а не отдам его Довидонису. Прижимаю его к себе и говорю:

— Мой хорек.

Довидонис больше не улыбался, он молча смотрел на меня. Потом переспросил:

— Твой говоришь?

— Мой!

— Ну как знаешь, как знаешь.

Повернулся, ушел. И с этого дня о хорьке больше не было разговора. До самого рождества.

А рождество, как всем известно, самый долгий день у пастушка. Светает медленно, кажется, никогда не рассветет, а когда рассветет, не то это день, не то не день. Грузные снежные тучи обложили кругом небо. И печка не желает растапливаться — дымит, коптит и дым идет не в трубу, а в избу; и горшки, словно сговорились — не варят, и у хозяйки блины на сковороде лежат и лежат, а все сырые...

Легче отработать все лето и долгую осень, чем дожидаться, когда хозяин запряжет лошадь и повезет тебя домой.

Но недаром говаривал старый Алаушас: что должно наступить, то и наступит, тебя не минует. Пришло время и запрягать. Я уж переоделся во все свое и все посматривал — что мне положит хозяйка на прибавку: каравай хлеба или, может, ветчины, сыру, а то и копченый сычуг?

Но Довидонис не торопился. Как сел на лавку завтракать, так сидел и когда поели, еще и ноги на подстолье поставил. Непохоже было, что и хозяйка соберет что-нибудь на прибавку. Будто и не рождество нынче, а будний день.

— Когда же поедем? — не утерпел я.

— Или ты ждешь кого? — подвинулся Довидонис.

— Как так жду?

— Чего же тебе ждать? Год кончился, на другой год тебя не найму. Чего же еще?

— Кху-ху,— отозвался Паурукас, залегший после завтрака на кровать.

— Я не прошу нанять,— сердито ответил я.— Мне надо домой.

— Тебя что — на привязи держат? Позавтракал и отправляйся с богом,— сказал Довидонис.

Ясное дело, шутит. Как это «отправляйся»? Лошадь не запряжена, заработанную рожь не отсыпали, хозяйка ничего не собрала, а он — «отправляйся!». Довидонис опять спросил:

— Ты что — дороги не знаешь?

— Кху-ху,— опять отозвался с кровати Паурукас.

— Значит, не отвезете меня? А рожь? Как я дотащу пешком полтора четверика?

— Какие еще полтора четверика? — недоумевал Довидонис.

— Которые вы обещали, когда рядились. Забыли? Полтора четверика ржи.

— Полтора четверика? — опять не понял Довидонис.— Да эту рожь тебе мой хорек отсыпал,— догадался он наконец.

Так и отпустил меня в первый день рождества. Пешком, без ржи.

Паурукас проводил меня до ворот и, прикрывая их, заухмылялся.

— Говорил же я, дубина, не связывайся с хорьками... Раз не было уговора, и не связывайся. Здорово разбогател? Кху-ху!..

● ТАК ПАДАЛИ ДУБЫ

Была зима, и я опять был на новом месте. В Друленай, у Батайтисов. Нанял меня старший сын Станисловас, привез укутанного в кожу, впустил в избу и сказал:

— Орудуй, даром хлеб не переводи.

Изба большая, спереди два окна о восьми стеклах, два — в боковой стене, а в другой боковой, где обычно не прорубают, еще окошко, над кроватями. И не о восьми, а о четырех стеклах, но и от него на обеих кроватях было так светло, будто их поставили сюда не для спанья, а чтобы показывать людям, как надо спать.

На одной лежала старая Батайтене. Крупная, широкая, она занимала всю кровать и все равно не помещалась на ней. Она не спала, просто лежала и часто вздыхала, а еще чаще ощупывала подушку и ворчала:

— И зачем подложили самую мягкую? Кто захочет на нее лечь, когда помру? Пропадет самая мягкая...

Мужа у нее не было — его похоронили еще в прошлом году, — а было, как и у Дирдов, три сына, все уже работники, а старший Станисловас успел и ссутулиться. Был он мужик рослый, да не больно-то хорош собой, с длинным толстоватым носом и почти без подбородка. Подбородок был срезан от самой губы до горла. Недаром многие советовали:

— Ты бы хоть бороду отпустил.

Старик Алаушас не раз говорил: у кого длинный нос, у того хороший характер. Может, оно и так, но мы еще поглядим. Вон у Паурукаса тоже длинный нос, а что он, хороший? Станисловас всегда невесел. Если он хороший, так почему невеселый? Алаушас говорил, что хорошие люди всегда веселые, а дурные — невеселые. Так что мы еще поглядим. Лицо у Станисловаса свежее, щеки, что рябина после первого заморозка. И здоровья хоть отбавляй, кажется, разок наддаст — стену сдвинет, кулачищи словно колотушки, какими расклинивают бревна... А невеселый. Будто что неладное с ним стряслось, или вот-вот стрясется, и он ждет этого. Вечерами подолгу стоит и смотрит в темное окно. Днем идет-идет по двору, глядь, остановился, обернулся лицом к полю и стоит так. Все ждет. А чего дожидаться? В поле ничего хорошего: щетинятся кое-где под снегом пашни, торчат обмерзшие кусты ольхи, каркают вороны. Но Станисловас стоит и глядит-глядит...

Средний сын Лауринас был не такой. И ростом пониже, и в плечах поуже, и не простаивал он перед темным окном в избе, не глядел в поле. И еще он ругался на каждом шагу. Увидит, соломинка валяется — сразу в крик: и хозяйство мы разоряем, и ничего не бережем, и добро по ветру пускаем. Из-за пролитой у колодца воды, из-за недопитого ковшика и то раскричится:

— Ведь знаешь, сопля, сколько выглохтишь, какого же черта столько зачерпнул? Вода, что, даром дается? По двору разливать?

И из-за спички сердился, когда зажигали цельную, а не расколотую. Если же Станисловас уступал и зажигал расколотую спичку, Лауринас кричал, что расколота она всего лишь пополам, а не на четыре части. Старуха Батайтене не могла нарадоваться на своего Лауринаса и постоянно пророчила с кровати:

— Этот не пропадет, не пойдет по дворам с сумой.

Младший сын Антанас, которого все называли Антанелисом, был опять-таки иной. Не то что кричать на кого, — он сам остерегался, как бы на него не накричали. Всем уступал дорогу, всех боялся, а пуще всего — матери. Он и к ее кровати приближался, лишь когда она подзывала, и всегда на цыпочках, а подойдя, целовал ей руку и заливался слезами.

— Это еще что? — разъярялась всякий раз старуха.

— Мамаша, не помирай...

Батайтене принималась ругаться:

— Извел старик порох на старших, а на этого посребыша ничего не оставил. Вот и вышел не человек, а лапша!..

— Мамаша, не помирай...

— А ну тебя, лапша!.. — отталкивала она сына.

Так они и разговаривали всякий раз.

Была в доме еще Казите, как Салямуте у Дирдов. Только не дочь, а наймитка, вроде меня. Потому и не походила она ни на одного из трех сыновей, ни на самое Батайтене. Невысокая, кубастая, она не ходила, а клубочком каталась по всему дому, сверкая красными икрами и стуча деревяшками, — вечно с подоткнутым подолом и закатанными рукавами. У Казите были очень тонкие губы, и когда она улыбалась, оставались лишь две темные черточки под носом. Улыбалась же она постоянно, даже когда сердилась и ругалась, вот и казалась безгубой. Всегда она была на ногах: все-то она спешила, хлопотала, а чаще всего вертелась возле старухи и без умолку говорила:

— Кабы не вы, мамаша, уж и не знаю, что бы здесь стало. Хоть и недужные вы, мамаша, а весь дом на вас держится.

— Я тебе не мамаша.

— Как же не мамаша, мамаша? — чуть не со слезами возражала Казите. — Как себя помню, все в вашем доме да в вашем доме. И пастушкой здесь пасла, и помощницей батрачки снопы вязала, и теперь вот... Другого дома у меня нет, нет и другой мамыши.

— Виляй, виляй хвостом.

— Истинная правда, мамаша. И не надо мне ни других домов, ни другой мамыши, мамаша...

— Еще повиляй.

Старуха отворачивалась к стене, а Казите, смахнув слезы, принималась за работу.

Работы у нее было по горло, и не только в избе, на дворе и в хлевах, но и в горнице, которую все домашние называли залой. Никто не жил в этой зале, и всегда там стоял холод, всю зиму не топили, потому что и печки не было, зато стоял стол, и получше того, что в избе, хорошие лавки, окованный железом судук, занимавший поло-

вину залы, а кровати как на пасху покрыты пестрыми покрывалами, с горами подушек.

Над ними висело на сосновых стенах по полотенцу, затканному на двенадцати ниченках такими узорами, что глаз не оторвешь. С потолка спускался соломенный «садик», полный всяких птиц, сплетенных из соломы, с красными, голубыми, зелеными и желтыми крылышками и хвостами, так искусно вырезанными из бумаги, что только любуйся и любуйся, а когда вдоволь налюбуйешься, — опять полюбуйся. «Садик» был здорово засижен мухами, птички вылиняли, и Казите объяснила мне, что он висит здесь со свадьбы самой Батайтене — когда дружки выкупали невесту, они и повесили его здесь. Все эти дружки уж умерли, умер и Батайтис, а «садик» все висел, потому что никто здесь не жил и не заглядывал сюда. Изредка забегала лишь Казите — стереть пыль, налощить пол, хоть он и без того гладкий и светлый.

Хлева у Батайтисов большие, и везде полно коров, свиней, овец, лошадей. А там еще набитые сеном сарай, рига, закопченный овин, а еще клетки и возовня, а еще кладовая, где стоят жернова, сусеки с картошкой и лари с мукой, а еще баня в углу сада. Двор огромный — три воза в ряд проедут, и вокруг двора и сада — деревья, все тополи и вязы, а с северной стороны стеной стоят одни ели. И сумерки в нашей избе наступают раньше, чем у других, и ветер не ерошит кровлю, ни соломинки во двор не занесет. Словно в колодце живем.

Не одна Казите, все с утра до вечера на ногах. Хоть и зима, и работы поубавилось, а никому не отделаться от нее. Батайтене с кровати все видит, узнает, кто что сделал и чего не сделал, и тут же ругаться:

— Может, соску тебе, побаюкать тебя? Рученьки-ноженьки устали?

Велела Казите принести из залы толстые шерстяные чулки, все, какие были в сундуке. Села Батайтене в постели, со всех сторон подоткнулась одеялом и начала распускать эти чулки, а пряжу сматывать в клубок.

— Мамаша, что это ты? — не утерпела Казите. — Что наденешь, когда начнешь ходить?

— Я свое отходила.

И опять принялась мотать пряжу, не слушая охов и вздохов Казите. Когда все смотала, завязала на железных спицах новые чулки. Но вязала не себе, а прежде

всего Антанелису, потом другим сыновьям. Антанелис как увидел это, расплакался:

— Мамаша, не помирай.

— Когда придется, помру, тебя не спрошусь.

Антанелис вышел из избы и все плакал — и на дворе и в хлевах, даже глаза у него опухли и губы набрякли. А позади шла Казите и уговаривала не плакать. Хоть и больно хворая мамаша, а даст бог — поправится, оженит всех троих сыновей, ее одну не выдаст замуж, как она не дочь, не сродница... Антанелис слушал, хлюпая носом, стараясь унять слезы, но ему это не удавалось, и тогда Казите утерла ему лицо фартуком, и Антанелис нагнул голову, чтобы ей легче было достать, Лауринас заметил это, окликнул Станисловаса:

— Видал?

— Угу.

— Окрутит она лапшу...

— Угу.

— Нынче же Казите согнать со двора.

— Не сгонишь.

— А чего ждать? Зажилась девка. Другую, что ли, не найдем? Слава богу, к нам любая пойдет.

— Мамаша еще жива.

— Мамаша? Ей-то что?

— Как помрет, так сгоним, а теперь как сгонишь, раз мамаша жива? Не позволит. Когда помрет, другой разговор... Не сгонишь.

— Перестань уж — сгонишь, не сгонишь!.. — сердито плюнул Лауринас и пошел по своим делам.

Пошел и Станисловас, а дорогой все говорил:

— Когда помрет, тогда, конечно... Теперь разве выгонишь? Пока мамаша жива, как выгонишь? Сердиться зачем? Когда помрет мамаша...

Говорить так Станисловас мог подолгу. Расшевелить его было трудно, зато потом не остановишь. Идет и говорит, дело делает и говорит. И все медленно, точно камни из земли выворачивает или ольшаник корчует.

Домашние знали, что он всегда так, потому никто и не слушал, что он говорит.

Утром Лауринас встал злой, заторопил, затормошил всех с завтраком. Старуха крикнула с кровати:

— Или уж хозяином заделался?

— Дрыхнут,— не дозовешься никого. В лес надо ехать.

— В лесу и ори. А здесь дом. Мой дом.

— Да, мамаша...

— Помолчи.

В постели она полусидела. Седая, давно не мытая голова еще с вечера была повязана тонким белым платком. За ночь волосы выбились из-под платка, растрепались, торчали, как хворост во все стороны. Казите даже поднесла ей зеркало, чтобы пригладила перед ним волосы. Батайтене заругалась:

— В зеркало кто смотрится? Одни лентяйки да распутницы!

Все же потянулась за щеткой, лежавшей рядом на подоконнике. Щетка была жесткая, колючая, из щетины, с рукояткой, крепко обмотанной льняной бечевкой. Этой щеткой старуха обычно драла свою седую гриву, жмурилась при этом, скрипела зубами, да так и не додрав, бросала щетку опять на окно.

И в это утро Батайтене протянула руку за щеткой. Протянула, а не взяла, рука опустилась, и сама она откинулась назад, встревоженно крикнув:

— Господи, да что это?

Лицо ее сразу стало землисто-серым, глаза закрылись. Все перепугались, подбежали к ней... Лауринас кинулся зажигать громницу. Станисловас поднес к губам матери чашку со святой водой, а Казите растирала ей руки и все повторяла:

— Мамаша, очнись! Мамаша, мамаша...

— Мамаша, не помирай! — плакал стоявший позади Казите Антанелис.— Мамаша, что с тобой?.. Не помирай, мамаша!..

Старуха ничего не видела, ничего не слышала. Долго лежала она так,— громница в руках Лауринаса стала уже оплывать.

Внезапно очнулась и, не открывая глаз, сказала:

— Замолчи, лапша!

— Слышите? — взвизгнул от радости Антанелис.— Меня лапшой назвала. Не помрет мамаша, теперь не помрет!

Он подскочил к матери, стал целовать ей руки, гладить по лицу, от радости заодно погладил по спине и Казите, и та не очень отбивалась. Лауринас задул све-

чу, поглядел, намного ли сгорела, и положил на прежнее место. Отошел и Станисловас со святой водой. С лица старухи мало-помалу сходила бледность. Она открыла глаза и объявила:

— Нынче еще не придется отпевать.— И тут же приказала:— Идите, беритесь за свои дела.

— Мамаша, а я не уйду. Ну, как тебе опять станет худо, мамаша,— сказал Антанелис.

— Всем сказала.

Антанелис поцеловал ей руку и опять прослезился:

— Я тут поблизости... все равно поблизости буду.

Казите скорехонько собрала на стол, и после завтрака мы с Лауринасом выехали. На двух санях. Лауринас впереди, я — позади. Путь в лес долгий, половина рабочего дня. Там же были и покосы и на каждой делянке сарайчики. Летом хозяева стаскивали в них кошенину, сушили, а зимой, когда болота подмерзали и устанавливался санный путь, свозили домой. Вот мы с Лауринасом и возили сено, а не дрова или хворост.

Еще не доезжая до своего сарайчика, Лауринас натянул вожжи, прислушался и сделал знак рукой, чтобы я прислушался. Лошади, остановившись, стригли ушами, а Лауринас глядел в землю и все слушал. Далеко-далеко, на другом краю леса, а может, и дальше, кто-то рубил дерево.

Лауринас привязал свою лошадь, подвел мою к своим саням и, крадучись, пошел в глубь леса. Зашли мы не так далеко, как явственно послышалось тут же, чуть в сторонке:

— Тук-тук...

Между деревьев показалась человеческая спина, длинная и узкая, как гробовая доска. Человек рубил дерево, а спина не сгибалась, будто и правда была не спина, а гробовая доска. Лауринас подкрался ближе, притаился за деревом, а потом подскочил и крикнул что было мочи:

— Брысь!

Человек присел, топор выпал у него из рук. Лауринас — к нему, цапнул за топорище, обернулся:

— Которое по счету крадешь, собака?

Человек только хлопал глазами, а я сразу узнал его.

Был это Унтулис из Лаужине, бедняк из бедняков, еще и многодетный. Жил в курной избенке у самого

болота, где растет лишь неприхотливая ольха, корявая лоза, негодная даже на корзинки, да еще цветет вахта и всюду лезет из земли колкий, жесткий, как железо, хвощ.

Верно, потому, что жил он среди хвоща, и сам Унтулис мало походил на других людей. У него и борода росла по-особому, словно бы давала побеги во все стороны, как хвощ. Долговязый, прокопченный дымом, он и зимой и летом не спускал с плеч подпоясанную узловатой веревкой сермягу, а с ног — деревянных башмаков. И ходил как-то боком. Глядел больше себе под ноги, будто кто-то уронил наземь невесть какую драгоценную вещь, и он должен ее отыскать, да никак не отыщет. И сейчас, застигнутый врасплох, он глядел вниз. Под ногами у него лежал срубленный ясенек.

— Так которое по счету, собака?

— Я не краду.

— Не крадешь? Ты, может, польку танцуешь?

— Не краду... Полоз сломался, я этот ясенек на полоз.

— На полоз, мошенник? На полоз, когда у тебя и дохлой клячи нет? К каким саням полоз? На базар мой ясенек потащишь, так бы и сказал. На базар, на базар — продать и пропить.

Унтулис поднял голову, поглядел на Лауриласа и усмехнулся.

— Чего косоротиться, ворюга, — гремел Лаурилас, — я тебе покосорочусь! В тюрьме сгною!

— Непьющий я, Лаурилас, — сказал Унтулис. — Сам знаешь, отродясь в рот не брал.

И улыбнулся еще добродушнее, а Лаурилас совсем взбеленился. Он иначе не мог. И дома-то всех ругал из-за упавшей соломинки, сгребал повсюду конский навоз, и корзиной таскал в хлева и кричал, что наймиты хозяйство разоряют. А тут не соломинка, не кучка навоза, тут целое дерево. Лаурилас весь побагровел, подскочил к Унтулису, схватил за грудки и стал трясти.

— Пропиваешь, ворюга! Вечно от тебя винищем несет! Сколько украл, а? Сколько?

— Не вор я...

— Вор! И ты вор, и жена твоя воровка, и дети вошки! Признавайся, лучше будет. Добром признавайся!

— Ясенек только, говорю. Полоз у меня сломался...

— Врешь, собака! На что тебе полозья, когда у тебя разбитых дровней нет? Ничего у тебя нет, гольтепа. Признавайся!

— Матиёшюс лошадь дал. Сани... Я хворост вез, а полоз — хрясь! Матиёшюс говорит: сломал — так сделай новый. Побойся бога, Лауринас...

— Врешь, ворюга! — крикнул Лауринас, но Унтулиса выпустил: совсем задохся, покуда тряс его.

— В тюрьму засажу!

— За ясень отработаю...

— На черта мне твоя отработка, лентяй? С работой я и сам справлюсь, а вот кто мне ясень вырастит?

Унтулис глубоко задумался, уставясь в землю. Потом объявил:

— Не украл я.

Лауринасу не хотелось уж разговаривать.

— Поможешь нам навивать возы, — сказал, — а потом пригоню тебя домой. Ты у меня признаешься, как не крал.

— Куда домой? Отработаю я...

Лауринас заткнул Унтулисов топор за пояс, махнул рукой вору, чтобы сел в сани ехать за сеном. Тот сел, не переставая просить:

— Отработать же могу, говорю...

— Не надо было красть.

— Не крал я... Отродясь чужой соломинки... Детишки сидят у нетопленной печи, носы посинели. Матиёшюс... Как назло полоз — хрясь!..

— Вот как хрясну кнутовищем по башке... Замолчи!

Унтулис понял, видно, что лучше не говорить, и уже молча навивал сено вместе с Лауринасом, а когда оба воза были готовы, опять попросил:

— Так я пойду домой.

— Отправляйся хоть в пекло, но топора не получишь. Придешь еще за топором. На коленях приползешь.

Унтулис постоял, подумал и сел на мой воз.

Не доезжая еще до дому, мы издали увидели стоявшего у ворот Станисловаса.

— Мамаша плоха, — сказал он Лауринасу.

— Опять?

— Тебя спрашивает.

Лауринас поглядел на Станисловаса, потом на Унтулиса. Станисловас тоже взглянул на Унтулиса:

— Тебе чего?

— Ясенек свалил. Вот топор,— показал Лауринас.— Что теперь с ним, чертом, делать?

— Отдай топор, пусть идет,— сказал Станисловас.— Ступай в избу. Мамаша кончается.

— Не о том говоришь, Станисловас.

— Тебя спрашивает. С самого утра спрашивает. Ступай в избу.

— Я в избу, а ты Унтулиса — за ворота? Чтобы опять воровал?

Станисловас подошел к Лауринасу, взял у него из-за пояса топор, бросил Унтулису.

— Ступай себе.

Топор скользнул в снег у ног Унтулиса, и я тут только заметил, что обувь у вора еще хуже его сермяги, большой палец левой ноги высунулся наружу. Унтулис нагнулся, сунул топор под мышку и сказал Станисловасу так же, как и в лесу Лауринасу:

— Не крал я.

— Ступай себе, ступай.

— Не крал же...

— Ступай.

Унтулис, не торопясь, вышел за ворота — серый, обрванный, Лауринас поглядел ему вслед и плюнул.

— Вот ты как, братец? Видно, много у тебя в лесу ясеней? Не знаешь, куда и девать? Готов все раздать?

— И ты ступай.

— Унтулис опять украдет, попомни мое слово.

— Ступай же.

Лауринас все не заходил в избу, тогда Станисловас пошел один. Лауринас взглянул на него и тут же прошмыгнул вперед. Тогда Станисловас сказал мне:

— Лошадей сам выпряги.

В избе было почти темно, а огня не зажигали. Теплилась лишь громница у изголовья Батайтене. Перед ней стояли все три сына. Поодаль вертелась Казите, а под столом лежал Маргис. Казите держала в руках пучок свяченных трав и читала молитвы, а Маргис ничего не делал — он дремал, положив голову на вытянутые передние лапы. Старуха стала плоха — лицо, что земля, губы совсем белые, только уголки почернели. Взгляд непод-

вижный. Громница горела потрескивая, и в избе становилось все темнее. Близилась ночь. Сильно пахло воском и сухими травами, точно в костеле. Три сына все стояли перед постелью. Станисловас и Лауринас — в ожидании, Антанелис же так перепугался, что не мог и плакать.

Внезапно старуха вздохнула. Все придвинулись ближе.

Казите обмакнула тряпицу в святую воду, смочила хозяйке губы. Та вздохнула еще глубже, заморгала глазами. Сыновья нагнулись к ней.

— Кончаю путь,— сказала Батайтене.— Слышите меня, дети?.. Живите в ладу, держитесь друг за друга... В ладу, говорю... Слышите меня?

Старуха обессилела. Сыновья ждали, когда она заговорит опять.

— В ладу, мамаша,— подтвердил Станисловас.

— Слышишь, мамаша? — спросил Лауринас.— Станисловас правду говорит: будем жить в ладу. Не тревожься, мамаша.

Мать не отвечала. Быть может, не услышала или не в силах была отвечать — кто знает? Лежала, как неживая, глядела в потолок, а глаза были, как вода в луже после дождя. Сыновья уже не спрашивали ее ни о чем, ничего ей не обещали.

— Казите не отпускайте...— опять зашевелила губами старуха.— Удержите в хозяйстве...

Устала. Замолчала.

— Без Казите пропадет хозяйство...— заговорила, оживши немного.— Если что... пусть женится который-нибудь... Хоть и бесприданница она... Кому полюбится, тот и женись... Так надо...

Антанелис схватил Казите за руку и, отстранив братьев, подтащил ее к постели, бухнулся на колени, увлекая за собой и Казите.

— Мамаша,— заплакал он.— Мне полюбится... Полюбилась уж, мамаша!.. Благослови нас с Казите. Давно уж полюбилась, мамаша, только молчал я, не говорил...

Батайтене с трудом пошевелила рукой. Вернее сказать, пальцами. Антанелис с плачем припал к ней губами, подтолкнул Казите, чтобы и она сделала то же самое, а когда оба поцеловали,— подложили свои руки под ладонь старухи:

— Благослови, мамаша!.. Нас с Казите, мамаша!

— Лихоманка тебя заведи,— разъярился Лауринас и схватил Антанелиса за шиворот.— Куда лезешь не в свой черед?

— Мамаша, благослови, мамаша, благослови меня!— вопил Антанелис, вырываясь из рук Лауринаса.— Все, мамаша, умные, все сильные, а я пропаду без Казите!.. Я, матушка, всегда слабый был... Двадцать обеден закажу за упокой твоей души, на коленях страстные стояния обойду, матушка, только пожалей, благослови меня!..

Антанелис кричал, молил, а Казите молчала, держала свои руки под ладонью Батайтене и лишь побледнела немного. Лауринас из себя вышел. Сгреб покрепче Антанелиса и, верно, оттолкнул бы его от постели, но тут Батайтене зашевелила губами, и все мигом затихли.

— Казите младшему,— проговорила старуха.

Теперь побледнел и Лауринас.

— Как же так, мамаша? — нагнулся он через плечо Антанелиса.— Или я не работал, пропивал добро, пускал его по ветру? У всех равные доли, а ты одному Антанелису?.. Несправедливо это, мамаша.

— Пропадет он без Казите...— еле шевеля губами, вымолвила старуха.— Лапша...

— Лапша, а сам вперед других, нахрапом полез. Такой пропадет! А может, Казите и мне нужна!

Старуха замолчала, закрыла глаза.

Станисловас нагнулся пониже и поцеловал матери руку.

— Как скажешь, мамаша.

— Иуда-предатель! — взвыл Лауринас.

Лицо старухи прояснилось. Она открыла глаза, долго вглядывалась в Станисловаса. Словно бы и улыбнулась.

— Тебе говорю... самому старшему: пусть нерушим будет материнский завет.

— Будет нерушим, мамаша,— дал обещание сын.

Но старуха его не услышала. Она так ослабела, что Казите схватила громницу, всунула ей в пальцы, и когда та выскользнула, придержала ее. Антанелис тоже стоял рядом с Казите и придерживал громницу. Батайтене лежала недвижно, и нельзя было понять, померла она или вот-вот помрет.

Станисловас опустился на колени у изножья кровати, смотрел, ожидал. Стал на колени и я — ведь мне не

раз говорили, что, когда человек помирает, надо вставать на колени, а когда встретишь похороны — снимай шапку, скажи — «прощай» и подумай, что, может, и тебя повезут этой же дорогой и худо тебе будет лежать в гробу, если никто не снимет перед тобой в последний раз шапку. Опустились на колени и Антанелис с Казите, стоял один Лауринас. Он и на мать глядел искоса, недобрый взглядом. Верно, долго бы так простоял, но Станисловас обернулся и резанул его ребром ладони по поджилкам. Лауринас даже стукнулся коленями о пол — так быстро он осел. Перекрестился, забормотал отходную молитву, но, может, и вовсе не молитву, поди узнай. А из глаз Станисловаса выползла крупная слеза, такая тяжелая, что остановилась посреди щеки, заблестела от огня свечи. Антанелис все плакал, а чтобы не разреветься в голос, постоянно подносил к губам руку и кусал. Другую руку он держал под ладонью матери, рядом с рукой Казите.

Старуха умирала долго, тяжело. До самой полночи, а потом и за полночь. Пропели первые петухи, завозилась в хлевах проголодавшаяся скотина, а она все была жива.

— У-ух, у-ух... — вздыхала она.

Казите придвигалась поближе, подкладывала свободную руку под голову Батайтене, пыталась покачивать ее, как малого ребенка, и все приговаривала:

— Еще чуточку, мамаша, еще потерпи, и будет легче, и совсем полегчает, мамаша...

Старуха утихала и опять лежала не живая, но и не мертвая. Слезка все блестела на щеке Станисловаса. Антанелис кусал себя за руку, а другую держал под ладонью матери.

Совсем под утро, когда думали уж, что старуха пережила ночь и, чего доброго, дождетя другой, а может, и еще многих ночей, Маргис вдруг взвизгнул, поджал хвост и с воем выскочил за дверь.

— Все,— сказал Станисловас, и так долго блестящая слеза скатилась с его щеки.

Батайтене приоперлась на локти, задрала подбородок, вдохнула и откинулась назад. Вмиг побледнели ее руки, потом шея, подбородок, потом лоб.

— Мама-аша! — вскрикнул не своим голосом Антанелис.

Казите взяла его за плечи и вывела из избы, приговаривая:

— Не стало мамыши, отмучилась она, перестань плакать... Перестань!

Старшие братья по-прежнему стояли на коленях, словно не уразумели, что ждать больше нечего. Только Станисловас стал клонить голову ниже и ниже. Наклонив, оперся лбом о край постели, возле самой материной руки.

Два дня и две ночи пели молитвы у Батайтисов. А Батайтене лежала и лежала — сперва на столешнице, положенной одним концом на лавку, другим на скамью, а потом — в гробу. И все время две толстые, желтого воска свечи горели у ее изголовья, а в избе пахло можжевельником и еловой хвоей.

Можжевельковыми и еловыми ветками устлали и избы, и двор до самых ворот и за воротами, чтобы не только близкие, но и чужие люди знали: в доме покойница. И почти все время Станисловас стоял у изголовья матери и глядел на нее.

Лауринас встречал людей, отдавал распоряжения Казите, гонял то туда, то сюда меня, заглядывал к скотине, даже гроб сам привез. А Станисловас все стоял и глядел.

Антанелис тоже глядел на покойницу, утирая слезы, но издали, чаще из сеней, через голсы собравшихся, будто он боялся подойти близко.

А Станисловас так и не отрывался от изголовья матери. Стронулся с места он только на третий день, когда на дворе и перед домом тесно стало от саней приезжей родни, и пора было закрывать гроб и прощаться с Батайтене. Станисловас нагнулся, поцеловал матери руку, потом лоб, потом ноги...

В избе все почти прослезились. Потом к покойнице подошли Лауринас с Антанелисом и сделали то же самое; а после всех шла Казите. Когда она нагнулась к рукам Батайтене, кто-то сказал сквозь слезы:

— Примазалась... и эта примазалась...

Казите быстро обернулась, но не заметила, кто это сказал, тогда поцеловала Батайтене руки, потом и лоб, и ноги, обутые в черные туфли с картонными подошвами, обтянутыми черной материей. Тогда она выпрямилась,

обвела глазами всех, кто был в избе, и под ее взглядом люди опускали глаза.

Множество саней провожало старую Батайтене. Все ехали порожние, а люди шли пешком и пели духовные песнопения.

Кладбище было не очень далеко, на самом краю местечка Видугиряй, и называлось Борок, хотя там не росло ни единой сосны. Вдоль всей ограды покачивались ели, а возле могил разросся жасмин.

Ограда была сложена из крупных и мелких камней и крепко обмурована, но уже очень давно, и теперь кое-где осыпалась, особенно на выступах. Кругом лежало множество камней.

Мужчины подняли гроб с саней и понесли к вырытой посреди кладбища могиле. Когда его поставили, Антанелис упал перед ним и стал причитать:

— Седовласый батюшка, дорогой ты наш кормилец, как это ты лежишь один-одинешек в сырой земле? Подымись ты, батюшка, покажи свое белое лицо, махни мне своей рученькой...

Причитал он так громко, что кругом все притихли. Казите поглаживала его по плечу и шепотом уговаривала:

— Нельзя, Антанелис, нельзя... Мамашу надо оплакивать, а батюшка... Что теперь поделаешь?..

— Да ведь лежит он один-одинешенек, в холоде и темноте! — плакал Антанелис.

Я никак не мог понять, почему надо плакать по отцу, когда хоронят мать. Но когда протиснулся сквозь толпу, то увидел в могиле, где должна была лежать старуха, еще гроб — не гроб, а один его бок, облепленный землей и во многих местах исцарапанный лопатами могильщиков. В нем, должно быть, и лежал старик Батайтис.

— Милый ты наш батюшка, дорогой родитель, прими к себе и нашу матушку! — все причитал Антанелис.

Провожающие стали говорить, что напрасно это Антанелис. Родители, благодарение богу, пожили, повидали много хорошего, хоть и горя хлебнули; плакать так по ним — только бога гневить. Но Антанелис никого не слушал — рыдал все громче и громче, а когда уж громче невозможно стало, утер слезы, обернулся к братьям и позвал их:

— Умрем и мы, дорогие братцы. Упокоимся, где батюшка упокоился, где и матушка... И зачем нам дальше жить, чего дожидаться? Умрем и все вместе будем ждать воскресения из мертвых...

Станисловас молча опустил голову, а Лауринас оттолкнул Антанелиса от могилы, сказав сквозь зубы:

— Пропусти, дурень!

Все это слышали. Люди во все глаза глядели на Лауринаса, удивляясь больше, чем рыданиям Антанелиса, и шептались между собой:

— Добру не быть... Не жди добра в их доме...

Лауринас не слушал, что говорят, он махнул рукой могильщикам. Те поддели гроб длинными полотенцами и стали опускать в могилу. Антанелис склонил колени на желтый песок. Рядом с ним — Казите. Певчие затянули:

— Вечный покой даруй ей, господи!

Могильщики поплевали на ладони, взялись за лопаты.

Когда над могилой вырос холмик, укрывший старый и новый гробы, Лауринас пошел сквозь толпу провожающих и приглашал каждого:

— Теперь к нам пожалуйста, помянуть мамашу. Не погнушайтесь нашим домом.

Вернулись мы домой — глядь, из избы уж выметены еловые ветки, стол стоит на своем месте, а к нему придвинуто еще несколько столов. Все накрыты белыми скатертями, на всех стоят большие блюда с горячим мясом, с ломтями желтого сыра и черного хлеба, и много другого. А среди многого другого были кувшины пеннистого пива. Кто настряпал, кто собрал — никто не знал. Да никто и не спрашивал. Все спешили к столу, притоптывая от холода и дую на окоченевшие руки. Зачавкали рты, застучали ножи, зазвенели рюмки. И немного погодя гости снимали пиджаки — так быстро они разогрелись.

Станисловас с Антанелисом носили на столы угощение, а Лауринас следил, чтобы не принесли чересчур много. Раскрасневшаяся, потная Казите тоже не присаживалась ни на минуту — хлопотала, угощала гостей, а пуще всего утешала своего Антанелиса, который опять ударился в слезы.

Когда гости разгулялись вовсю, исчезли из избы все три брата. А с ними исчез и дядя Рамошка. Заявился он к нам еще в то утро, как умерла старуха. Немоло-

дой, изрядно поседевший, но здоровый еще мужик с густыми бровями и волосатой грудью. Теперь они сидели в зале за столом, и перед ними стояло пиво, но они не пили, а разговаривали, да так тихо, что за дверью трудно было расслышать.

— Добра не будет,— говорил Рамошка.— Примешь в семью наймита — добра не жди.

— Так и не жди? — заспорил Антанелис, тоже тихо.— По-вашему, если наймит — так и зверь? Не человек? А мамаша лучше разбиралась.

— Мамаша хвораая была. Я скажу как сродник, как свой человек: добра не будет.

— И по моему разумению так,— поддакнул Лауринас.

— Сам хотел Казите взять, а когда не выгорело, ты вон что говоришь!..

— Не ори,— стукнул по столу Рамошка.— Не в лесу сидим.

Антанелис замолчал, другие тоже. Рамошка спросил:

— Ты, Станисловас, что скажешь?

— Мамаша так приказала.

— В том-то и суть! — крикнул Антанелис.

— Не ори.

Они замолчали, а меня сгребла за шиворот Казите.

— Что тебе надо у двери?

— Ничего.

— А ничего, так чего же ты? — спросила, не выпуская моих вихров.— Вынюхиваешь, подслушиваешь?

Мне нечего было ответить, и она крикнула мне в самое ухо:

— Проваливай, наймитское отродье!

— Ты сама наймитка.

— Наймитка? Погоди, скоро увидишь, какая я наймитка.

Ругала меня за то, что я слушаю, а когда прогнала, сама прилипла к двери залы.

Гости тем временем согрелись как следует, отодвинули в сторону блюда и кувшины и взялись за книги, которые называли непонятным словом «Кантички»¹. Опять собрались петь, хотя здесь не было уже ни Батитене, ни зажженных свечей.

¹ «Кантичка» — сборник духовных песнопений (польск.).

Всякий раз, как мы садились завтракать или обедать, Станисловас оборачивался к Лауринасу и спрашивал:

— Так как же быть?

Лауринас не отвечал.

— Стало быть, ты наперекор мамашиному слову?

Лауринас все равно не отвечал. Черпал деревянной ложкой свекольник или щи, совал в рот свернутый блин, облизывал губы. Антанелис, не кончив есть, высказывал из-за стола:

— Мамашин завет свят и нерушим! Сколько еще ждать?

— Не мечись,— утихомиривал его Станисловас.

— А долго мне еще ждать? Не слыхали, что тогда мамаша сказала?

— Сказать сказала, да не сказала — когда.

— И чтобы ждал, тоже не говорила. Десять лет ждать? Или все двадцать?

— Не мечись.

Такие разговоры вели братья за столом, а потом шли по своим делам, и все оставалось по-старому. Но вот однажды утром Лауринас стал разбирать навес над настилом, где были уложены ошкуренные бревна. Уложены, видать, были впрок, если придет нужда строиться.

— Ты это что? — нахмурился Станисловас.

— Смотрю вот.

— Чего смотреть-то? Папаша на черный день припас.

— Черный день и настал.

— Где же черный? Что, сгорели мы? Чума пришла?

— Не стану я жить под одной крышей с нищей, не позволю на шею мне сесть.

Станисловас глянул исподлобья на брата.

— Бревна не твои. Отец для всех запас. Один строиться собрался?

— И буду строиться.

Станисловас, не глядя на Лауринаса, сказал:

— Позовем дядю Рамошку. Без него никак нельзя.

Однако позвать Рамошку братья не успели. На другое же утро за завтраком Казите заявила:

— Ухожу.

Все три брата положили ложки на стол и усталились на Казите. Она ложку не отложила и, как ни в чем не бывало, хлебала свекольник. Первым опомнился Антанелис:

— Как так уходишь? Куда?

— Совсем ухожу. Ищите другую работницу.

— Ведь мамаша завещала тебя мне. Забыла?

— Плохо, видать, завещала, и не я, а ты все забыл.

Антанелис вскочил, стукнул обоими кулаками по столу:

— Как же это так? Как же это ты?..

Казите выхлебала еще несколько ложек, потом лишь ответила:

— Мамаша в могиле. Упокоилась, видать, и свой завет с собой унесла...

Сказала это и — за уголок платка — утереть глаза.

— Как мне тут дольше оставаться? Девица между трех мужиков. Сам подумай: как тут быть?

Опять утерла слезы, тогда спросила:

— Куда мне деваться, когда соседи ославят меня. Кто меня замуж возьмет?

Антанелис и рот разинул после таких слов. А Казите добавила:

— Масленис уговаривает идти к ним работницей. Хозяева католики, место хорошее, платить обещают не скупясь.

— Так ты и уйдешь? — опомнился первым Станисловас. — Нет, я мамашина завета не нарушу.

— Когда так, давайте делиться! — крикнул Лауринас, выскакивая из-за стола. — Когда так, нынче же начнем делиться!

— Не кричи! — одернул его Станисловас. — Что ты все горячку порешь?

— Не стану я плясать под наймитскую дудку!

— Разделиться успеем. Это дело не на один день.

— И дня ждать не буду!

— Подождешь. Ни жены у тебя, ни детей, спешить некуда. Я ждал, и ты подождешь.

Станисловас говорил тихо, не горячась. Лауринас скрипнул зубами и отошел к окну, Станисловас обратился к Казите:

— И ты никуда не уйдешь из дому. Как мамаша велела.

— Рада бы не уходить, да как мне быть?

— Велела же мамаша, чего тебе еще?

— Мамаша-то велела, а сыновья исполнили?

— А как же я? — плачущим голосом спросил Анта-



нелис.— Лауринас, Станисловас, что же вы?.. Чего молчите, не просите ее? Вот возьмет и уйдет, а как же машина? В гробу перевернется, по ночам являться будет!

Лауринас стоял у окна, сопел и даже не обернулся.
— Никуда она не денется,— сказал Станисловас.—



Сейчас пост начинается, а когда же огласят? Придется ждать.

Казите метнула взгляд на Станисловаса.

— Люди вон и разрешение выхлопатывают,— сказала.— Конечно, когда стараются.

— Разрешение?

— Внесут денежки, и безо всяких оглашений.

— Сбесилась ты? — обернулся от окна Лауринас.— Такие деньжища выбрасывать? Ишь ты, разрешение ей понадобилось! Задницу у тебя припекает или что? А свадьбу как справлять? Только что мамашу оплакали, постель ее остыть не успела, а мы — польку плясать? С ума, что ли, все походили, а?

— Зачем свадьбу справлять? — вкрадчиво спросила Казите.— Поедем тишком, в костел войдем с Антанелисом через ризницу и приедем тишком. Нам с Антанелисом ничего не надо, нам бы только вместе... Как мамаша велела.

— Ничего, ничего нам с Казите не надо,— утирая слезы, сказал Антанелис.

— Все вы — скоты! — и Лауринас опять отвернулся к окну.

— Не кричи,— остановливал его Станисловас.

— Я хоть кричу, а ты собакой завоешь, когда возьмешь в дом такую невестку.

— Не кричи.

— Задницу ей припекает, патлы задымились? — не останавливался Лауринас.— Знаю, что ей припекает... Захapatь наше добро, вот ради чего она спешит. Болваны вы оба. И все будем последними болванами, если послушаемся.

При этих словах Казите только уткнулась в плечо Антанелису, но не заплакала и ничего не сказала, а он похлопывал ее по спине и успокаивал:

— Все будет, как мамаша велела...

— Не кричи,— опять сказал Станисловас Лауринасу.— Говоришь, без свадьбы? — спросил Казите.

— А на что эти свадьбы, пляски эти? — подняла она голову от Антанелисова плеча.— Ничего нам не нужно. Свадьба не за столом, а перед алтарем.

— Не за столом,— повторил за ней Антанелис,— не за столом, Станисловас.

Станисловас уже не слушал, а взял ложку и стал хлебать свекольник. Тогда Лауринас обернулся от окна и обрушился на Казите с руганью:

— Сука! Сука подлая! Наскулила Станисловасу, подлизалась? Ты у меня еще поскулишь!..

— Не кричи,— сказал Станисловас.

Но Лауринас не услышал этого. Хлопнул дверью, что было мочи, выбежал из избы, пошел по двору. И все время чертыхался.

Казите не ушла к Маслѣнису, а как-то утром собралась вместе с Антанелисом и Станисловасом в местечко. Выехали рано, на заре. Пропадали целый день. Оставшись один, Лауринас разобрал навес, выкатил бревна и взялся за топор — тесал, вырубал пазы. Поплевывал на ладони и все косился на ворота: не вернулись ли уехавшие?

Вернулись они, когда Лауринас уже лег. Все трое с раскрасневшимися лицами, веселые и голодные. Сели ужинать. Лауринаса не позвали, и он, сердито посопев, повернулся на другой бок. Антанелис как положил руку на плечо Казите, так и не отнимал, а другой рукой ломал хлеб, совал в рот мясо.

После ужина ни Казите, ни Антанелис не стали ложиться в избе. Оба ушли в залу.

Вдвоем со Станисловасом жжем листья. Давно мертвы эти листья, еще с прошлой осени, и теперь лежат, прибитые к земле, застрявшие в кустах крыжовника и смородины — ни граблями не выдерешь, ни руками не выберешь. Соберешь в кучу, пробуешь зажечь, а они дымят, рассыпаются в пыль, корчатся, как живые. Разожжешь кучу с одного боку, глядишь — с другого погасло. Наберешь сухих веток, подбегаешь, мешаешь, ворошишь, разжигаешь снова, а в это время на прежнем месте огонь заглох. Так и бегали мы со Станисловасом от кучи к куче — кашляли, чихали, оба черные от сажи, точно не листья жгли, а гнали смолу.

Снег сошел, дни стоят теплые, а вишня еще не зацветала, яблони молчат, даже крапива еще не пробивается у заборов. Зазвенел было в небе жаворонок и тут же смолк. С гоготом пронеслась в вышине вереница гусей и опять — ничего.

— Дождя бы надо,— сказал Станисловас.— Какая это весна без дождя?

Он подпер ладонями лицо и загляделся на дальние поля. Густой дым клубился у его ног.

— Станисловас! Ты в саду, Станисловас? — крикнула из избы Казите.

Станисловас не услышал. Стоял неподвижно, пока не подошла Казите и дернула его за рукав:

— Станисловас!

— Что тебе?

— Где ты пропадаешь все утро? Ищу, ищу...

Станисловас и теперь не обернулся, а смотрел на поля.

Казите остановилась рядом и сама стала смотреть в ту сторону. Теперь она постоянно так: Станисловас разговаривает, и она разговаривает. Он опустит голову, и Казите опускает. То улыбнется ему, то поддакнет, то скажет ласковое словцо. Будто не Антанелис ее муж, а Станисловас. И разговоры у нее все о том, что без Станисловаса не было бы ни хозяйства, ни дома и ничего путного, а ее самой, Казите, и подавно не было бы в этом доме, и Антанелис бы прожил свой век холостяком, проливая слезы. Станисловас только изредка взглядывал на нее, будто ничего не слышал.

— Нынче пятница,— сказал он и вздохнул.— Страстная пятница.

— Страстная,— повторила Казите и тоже вздохнула.

— Вот и пасха подошла,— сказал Станисловас.

— Подошла, Станисловелис. Вот уже и пасха. Благополучно дождались... Слава богу!

— Бывало, подойдет страстная пятница, и папаша ведет нас в сад...— заговорил Станисловас, глядя на дальние поля.

— Вечный ему покой,— добрый человек был.

Помолчала, вздохнула и добавила:

— Такой же, как и ты.

— Не всегда добрый,— буркнул Станисловас.

— Долго жил, Станисловас, потому это. За долгую-то жизнь с человеком чего не случится? Когда доведется — он добрый, а когда и не больно добрый.

Станисловас долго молчал. Молчала и Казите.

— Бывало, поведет сад расчистить,— стал рассказывать Станисловас.— Дым, бывало, так и вьется, и вьется между яблонями, а мамаша, бывало, высунется из окна и кричит: «Не жгите листья, оставьте на подстилку скотине!»

— Рачительная хозяйка была мамашенька, вечный ей покой. У нее соломинки зря не пропадало...

— Да уж, не пропадало,— подтвердил Станисловас.

Улыбка у Казите была добрая, светлая. Она стояла рядом со Станисловасом и вздыхала вместе с ним. И только чуточку отставала: вздохнет он, а потом уж Казите.

— Подгребаю листья и вдруг вспомнил: страстная пятница,— проговорил Станисловас.— Завтра надо в костел за освященным огнем идти.

— Вот и пойдем, Станисловелис. Или ты, или я. Лучше ты. Ты старший.

— Всегда, бывало, огонь приносил папаша. Шагает полем без шапки, седые волосы видны, а пакля, бывало, дымит у него в руках. И дым назад относит. Всегда, бывало, назад. Вот и идет — седой, без шапки... И идет, бывало...

— Богобоязненный человек был, Станисловас.

— Идет он, а мамаша, бывало, стоит в воротах и смотрит, как отец несет огонь.

Станисловас глубоко вздохнул, спросил:

— Разве не работаю я, разве я беспутный какой?

— Кто так говорит? — встрепенулась Казите.— Да ты в семье лучше всех. Да что в семье — во всем приходе.

— А нет их, обоих больше нет... Огонь надо в дом принести, а их нет. Как же так?

Долго молчали оба.

— Станисловелис,— окликнула Казите.

— Ну?

— Не годится так убиваться. Хорошо прожили родители, вечный им покой, много добра сделали. Не годится. В свой час и мы помрем. Все помрем, Станисловелис.

— И надо бы.

— Господь не спросит — надо ли, не надо. Позовет, и иди, не артачься.

Станисловас не ответил.

— Станисловелис!

— Ну что?

— Не подумай чего худого, Станисловелис...

— Чего?

— Так все и будем плакать? Великий пост соблюли, у исповеди были...

— Ну и что?

— Не грех бы и пиво сварить к пасхе. Как раз и солод у нас есть, от мамашиных поминок остался.

— Пиво?

— Окорок из кладовой принесем, крашеные яйца, сыр, масло. Не бог весть что, а все-таки...

— Ты куда клонишь?

— Не подумай чего худого, Станисловелис. Погоревали по дорогим родителям, поплакали, так неужто грешно на пасху кое-кого в гости?.. Много не надо — из молодых, из соседей кое-кого. Что ж это будет, если человек всю жизнь проплачет? Так и помрет, не увидев светлого дня.

Станисловас молчал.

— В семье у нас все молодые,— опять заговорила Казите,— только мы с Антанелисом старики. Девушки пришли бы — поговорили бы, пива отведали бы. Раньше ли, позже ли, а придется и тебе присмотреть кого-нибудь. Не бобылем же свой век коротать? Теперь самое время. И праздник нам всем светлее покажется.

— Кого же позовешь? — насупился Станисловас.— Некого.

— А хоть бы Станкусову Эльзе. Чем не гостья? И из парней, кто почище.

— А Эльзе придет? — обернулся он к Казите.— Ведь не придет.

— Если не хочешь ее, поищем другую. Мало ли девушек кругом? Собрались бы, побыли бы вместе, и на душе стало бы веселей. С кладбища никого не уносят, всех только на кладбище. Так покуда живы, не грех и с людьми побыть. Что ты на это скажешь?

Я успел разжечь кучу листьев, за ней другую и третью, а Станисловас все молчал.

— Нехороша она,— ответил наконец.

— Нехороша, так не надо ее. Я разве что говорю? Мало ли девушек кругом? На каждом хуторе по несколько.

— Она мне не мешает, — торопливо сказал Станисловас.— Если так хочется, позови. Побудет и опять уйдет.

— Так мы и сделаем, Станисловелис,— обрадовалась Казите.— А сейчас пойдем в избу. Я за тобой и пришла.

— Что там опять?

— Лауринас, полоумный этот. Опять за Унтулиса взялся.

— Сказал ведь, чтобы не трогал его.

— И ты говорил, и я говорила. Разве он послушается? Один ты с головой на плечах, на всю семью один. Потому и призываю тебя как спасителя.

— Пересаливаешь.

— Да ни крошечки. Не ты ли первый сказал Антанелису, чтобы женился на мне? До гробовой доски не забуду этого, а если бог пошлет мне деток, то и детям буду говорить: наш Станисловас святой человек.

— Пересаливаешь.

— Внукам буду говорить!

— Пересаливаешь. Антанелис не на тебе, так на другой бы женился.

— То-то и оно, что на другой! После мамашиней смерти вся родня слетелась, крик подняла; мол, выгнать меня надо, а в дом взять хозяйскую дочь. А ты сказал слово, и как топором отрубил.

— И не кричали, и ничего такого.

— Кричали, Станисловелис, все кричали. Кабы знал ты, как меня разобидели... Один ты оказался человеком, один из всех людей.

Станисловас покраснел, глянул на Казите и сердито спросил:

— Где этот Унтулис?

— В избе воюют они.

Станисловас молча повернул к избе. За ним — Казите. А за Казите и я, оставив и листья и костры.

В избе Лауринас тряс за грудки Унтулиса и кричал:

— Вон отсюда, тебе говорят! Убирайся ко всем чертям.

А Унтулис все норовил присесть на скамью, как ни беспощадно трепал его Лауринас.

— Никуда не уйду... не выгонишь. Никуда не уйду...

Станисловас взял Лауринаса за локти.

— Что тут у вас?

— Ты только послушай! — кричал Лауринас. — Ты погляди на этого сатану! Не уйдет, говорит, из моего дома!

— И не уйду, — сказал Унтулис, заправляя в штаны выбившуюся рубаху, и сел на скамью. Веревоочный пояс на нем лопнул, сермяга еле держалась, а на одном плече была разорвана.

— Никуда я не пойду. Сел и буду сидеть. Подавай в суд, тогда и встану.

— Какой тебе еще суд? — ожесточенно кричал Лауринас. — Сказано, вон отсюда!

— Не выгонишь, нет такого закона. Подай в суд, тогда и выгоняй человека.

Станисловас поглядел на Унтулиса, поглядел на брата.

— Чего вам еще? — спросил обоих.

— С меня уж довольно, — ответил Унтулис.

— Чего довольно? Ясенек украл? Украл. Я тебя отпустил? Отпустил. Чего тебе тут надо?

— Справедливости!

— Какой еще справедливости?

— Ты меня отпустил, а Лауринас как завидит, твердит одно: заплати за дерево. И за ворот хватает... При всем народе... Как встретит, тут же за ворот. А чем я заплачу? Сколько раз говорю ему: могу отработать. Всей семьей придем. А он — нет и нет. Чем я ему заплачу? Отработаю, говорю, так нет, не желает. Подавай тогда, говорю, в суд. Он опять не желает. Теперь и буду сидеть, покуда на меня в суд не подадите. Буду сидеть, Станисловас.

— Больно нужна мне твоя отработка! — кричал Лауринас. — Заплати чистоганом и проваливай хоть в пекло. Ишь ты, в суд ему захотелось, тяжбу с ним заводи! Как говорится, купил бы пес сала, да денег мало.

Станисловас обернулся к Лауринасу.

— Из-за яшенька?

— Нынче ясенек, завтра — дубок, а послезавтра они со всех нас штаны снимут. Не знаешь ты этих нищих?

— Из-за яшенька? — еще раз спросил Станисловас.

— Когда ты такой богач, раздай все деревья. А у меня нет их. Пускай заплатит, больше я ничего не требую. Когда заплатит, закается в другой раз воровать.

— Не воровал я, — отозвался Унтулис.

Он расправил складки рубахи и теперь связывал обрывки пояса. Поглядел исподлобья на Лауринаса, спросил:

— Долго еще будешь меня грызть?

— И загрызу.

— Подавай в суд: как там решат, так и будет. Должна быть справедливость.

- Купил бы пес сала...
- Чего тебе надо от меня?
- Уплати чистоганом.

Унтулис развел руками. Станисловас обернулся к нему:

- Иди домой.
- Никуда я не пойду. Раз я сел, теперь буду сидеть.
- Не пойдешь? — Станисловас прищурился, лицо у него стало краснеть.

— А ты... не балуй,— Унтулис побледнел, приподнялся со скамьи.— Драться будешь? Я за справедливостью пришел... Сижу и буду сидеть.

Он пошарил руками по скамье, видно, искал, чем бы оборониться, а Станисловас стоял перед ним и все сильнее краснел.

- Иди домой.

Тут подскочила Казите:

— Не надо, Станисловас, не марай рук. Пускай они все повесятся со своими ясенками, а тебе нельзя, ты будь поразумнее.

Станисловас сгреб Унтулиса, как ворох пакли, донес до двери и вытолкнул, почти вышвырнул в сени.

— И шапку, шапку его! — крикнула Казите, поднимая со скамьи шапку Унтулиса. — Тьфу, потом как песет...

Станисловас взял шапку, вышел в сени, нахлобучил ее на голову Унтулису и вернулся в избу.

— Чтобы пальцем больше не тронул,— сказал Лауринасу.

- Стало быть, подарить ему ясенек?

Теперь Станисловас глянул на брата и стал подступать к нему. Подступал молча и так медленно, что Лауринас побледнел пуще Унтулиса.

— Станисловас, не сходи с ума...— забормотал он,— Станисловас, я тебе говорю — не сходи с ума...

Неизвестно, сошел с ума Станисловас или нет, только подбежала опять Казите и стала между братьями:

— Побойтесь бога... Страстная пятница, а вы что? Брат на брата... И из-за чего? Из-за ясенка, пропади он пропадом.

Обхватила Станисловаса обеими руками, прижалась лицом к его широченной груди.

- Лучше меня убей, Станисловелис! Брат на брата!..

Станисловас высоко занес свой громадный, страшный, как дубовая палица, кулак и так треснул им по балке, что задрожали стены, а с потолка посыпалась мелкая костра. И сразу обмяк. Рухнул на скамью, привалился к стене, опустил голову. Молчал и Лауринас, все еще бледный, взбудораженный.

— Вот и хорошо — все за столом, — застрекотала Казите и улыбнулась так, что лицо ее стало совсем безгубым. — Как раз время перекусить, я было хотела позвать, а вы сами собрались. Одного Антанелиса не хватает.

Повернулась к печи, отодвинула горячую заслонку, вынула горшок. Тут и Антанелис зашел в избу.

— Что за чудеса творятся? — спросил. — Унтулис у ворот стоит, плюется, а вы все — будто беленой сбъелись. Что тут было?

— Чему тут быть? — отозвалась Казите. — Закусить сели. Ты вовремя пришел, бери ложку.

— Какие закуски на страстной? Обьестся можно.

— Болтай больше. Кабы салом, сыром, маслом, можно и обьестся, а у нас что? Кулага да нелупленная картошка.

— Может, и так, — согласился Антанелис, садясь за стол, а когда сел рядом с Казите, тут же положил руку ей на плечо.

Лауринас и Станисловас лупили картошку, сердито косясь друг на друга, черпали деревянными ложками темную, густую и липкую кулагу.

— Все же что-тостряслось? — встревожился Антанелис. — Какие-то вы не такие...

Никто не ответил, и он обратился ко мне:

— Что тут было, пастушок?

Теперь Лауринас, Станисловас и Казите усталились на меня. Все ждали, как я отвечу. Ждал и Антанелис.

— Что было, — соврал я. — Хозяйка позвала нас есть, налсжила кулаги, стало быть, сидим, лупим картошку.

— Деточка не соврет, — похвалила меня Казите. — Детские слова — ангельские слова.

Антанелис стал разглядывать меня, правда ли я такой уж ангел, покачал головой, но больше ни о чем не спросил. Молчали и остальные, черпали кулагу, а ее еще многовато было в чашке.

— Вот и пасха, — зачастила Казите. — Праздник-то,

радость какая и для малых и для старых. Пасха...— вздохнула она.— Бывало, когда была маленькая, как я ждала пасху! Дни считала, а день — что год, конца-краю ему нет... Теперь уж постарела, замуж вышла, а как раньше ждала, так и теперь жду. Пасха...

— Какая ты старуха,— Антанелис опять положил ей на плечо руку, которую было стяхнула Казите.

— Да уж старуха. Раз вышла замуж, ни руту не сорвешь, ни косу заплетешь. Крышка. А все одно жду,— сетовала Казите.— Вот и за святым огнем надо пойти... А кто у нас пойдет? — спросила она и поглядела на Лауринаса и Станисловаса.

— После папаша Станисловасу нести,— сказал Лауринас.— Он старший. И что ты спрашиваешь, как маленькая.

Станисловас поглядел на него и сказал:

— Антанелису нести.

— Самому младшему?

— А почему не ему? — ввязалась Казите.— Раз Станисловас сказал, так и понесет.

— Младший?

— Когда женишься, тогда ты понесешь,— сказал Станисловас.— А пока холостой гуляешь, помолчи.

— Чего ты всем домом командуешь? Твоя доля одинаковая с моей, я и сам могу покомандовать.

— Опять схватились? — Казите вскочила и сбросила с плеча руку Антанелиса.— Пускай понесет Лауринас, коль ему хочется, или Станисловас, только сделайте милость, не грызитесь, страстная пятница ведь!

— Понесет Антанелис,— сказал Станисловас.

— Нет, не понесет,— твердил свое Лауринас.

Антанелис положил ложку, на глазах у него навернулись слезы:

— Братцы, миленькие, что это вы? Спасибо тебе, Станисловас, только не надо. Неси ты сам, пусть понесет Лауринас, или оба вместе пойдите, можно и всем троим... Только чтобы по-доброму, как мамаша приказала.

И расплакался. Лауринас плюнул, встал из-за стола.

— Как хотите...— буркнул на ходу.— Только что люди скажут? Младший огонь несет.

— Не твоя забота,— сказал Станисловас.

— Как хотите...

— Вот ты мужик, Станисловас,— благодарно сказа-

ла Казите.— Мой сразу раскис, а ты сказал слово и всем угодил. Будто светлее стало...

— Болтай больше.

— За таким мужем жена будет как за стеной. Все ты знаешь, никого ты не боишься, Станисловелис.

Антанелис потерся боком о жену, спросил:

— А я разве хуже? Я Станисловаса обскакал. И Лауринаса. На тебе женился. А? Хуже разве?

— Обскакал, обскакал, — пробормотала Казите.

— С двадцатью десятинами это легкое дело, — уронил Лауринас. — А будь ты голоштанником, она бы другое запела.

Антанелис опять положил руку на плечо Казите, подумал немного и обнял ее.

— У Казите не десятины были на уме, когда она за меня пошла. Не десятины!

— Это еще неизвестно, — съязвил опять Лауринас.

— Как так неизвестно? Ты, братец, говори, да не заговаривайся.

— Лауринас правду говорит, — отозвалась и Казите. — Золотые его слова. Муж без земли — какой это муж? Какому дураку помешают двадцать десятин? По моему разумению, кто чего стоит, то и получает.

Говорила, а сама глядела на Лауринаса, и опять губы у нее пропали с лица, остались лишь две черточки. Лауринас тоже глядел на нее, но не улыбался, и левая щека у него дергалась.

— А, черт тебя разберет, — пробормотал он и отвернулся.

— Что опять? — сказал Станисловас. — Что не так? Чего недостает?

— И правда, Станисловелис, чего нам недостает? Все молодые, здоровые, красивые, едим досыта, не голые, не босые... Пасха вот подошла, гостей позовем.

— Каких гостей? — обернулся Лауринас.

— Хороших людей. Шваль всякую пускать в дом не будем. Мы не нищие, не голь какая, с кем попало знаться не станем.

— И правда, отчего бы не позвать? — поддакнул Антанелис. — Это ты хорошо придумала, Казите. Полон дом молодежи. Какая это пасха без гостей?

— Вот только позволит ли Станисловас? — засомневалась Казите.

— Мое позволение требуется? — ответил тот. — Сказала — пригласишь, и приглашай. И незачем десять раз заговаривать.

Лауринас подошел к окну. Поглядел на Казите, прищурился:

— Смотри, невестынька.

— Чего это мне смотреть?

— Больно ты мягка со всеми.

— А по-твоему, все бы грызться, воевать со всеми, доброго слова никому не сказать?

Лауринас помолчал

— Смотри, невестынька.

Рассеялась весенняя хмурь, осела муть. В страстную субботу вечером затянуло лужи тонким ледком, звонко трещала подмерзшая грязь. Под утро побелела вся земля вокруг, опушило инеем изгороди, нижние венцы строений. Занималось пасхальное утро, и хотя еще и краешек солнца не показался, можно было сказать: день будет ведренный.

Утром Станисловас попросил Антанелиса:

— Поезжай. С Казите поезжай. Чтобы оба были. Как хозяйева.

Антанелис только что выбрался из теплой постели, где спал вместе с Казите, и не поддавался уговорам.

— Поезжай сам, братец. Ты старший, тебе и править. Или вдвоем с Лауринасом. Поезжайте, братцы.

Лауринас ушел в костел еще с вечера и смешно было слышать эти слова Антанелиса. Но Станисловас не смеялся, а поторапливал:

— Не задерживайтесь, поезжайте, долго еще я буду просить?

Из залы вышла Казите, застегивая на ощупь юбку, прикрывая рукой широкий вырез сорочки. Во сне волосы у нее сбились на правую сторону и мотались, как нечесаная льняная кудель; на красной щеке белым отпечталось кружево подушки. Остановилась перед деверем и стала упрашивать:

— Поезжай ты, Станисловелис, поезжай. Мы с пастушком останемся. Я печку истоплю, скотину обряжу и буду поджидать вас...

— Кто же это топит печь в пасхальное утро?

— Все равно поезжай, ты здесь старший, а не мы с Антанелисом.

Видя, что ее не уговоришь, Станисловас махнул мне рукой.

— Пошли.

Возле хлебов закинул за спину плетушку для сена, швырнул мне сетку. Опять поторопил:

— Пошли.

Антанелис пошел запрягать.

Небо еще было все в звездах; пахло остывшим вчерашним дымом, в полях стояла тишина, какая бывает лишь в пасхальное утро. И далеко было видно в бледном свете зари.

Не дойдя до сарая, Станисловас остановился, плетушку поставил наземь. Поглядел вверх, потом сказал:

— Да, месяца нет.

— Нет,— подтвердил и я, потому что это была истинная правда: в небе одни звезды.

— А почему в пасхальную ночь нет месяца — знаешь?

— Наверно, на ущербе. Так люди говорят.

Станисловас опять взглянул на небо. На дворе загремели колеса — это выехали Антанелис с Казите. Завели свою песню петухи. Восточный край неба занялся — краснел все ярче и ярче.

Станисловас вдруг нагнулся ко мне и спросил:

— Помереть боишься?

Я и рот разинул.

— Помереть? А зачем мне помирать?

— Боишься?

Навис надо мной,— меня аж мороз по коже подрал. Стоит, молчит. А я не знаю, как ему ответить, и тоже стою. И молчу, как он.

Станисловас вскинул плетушку на спину.

— А я боюсь,— признался.

И пошел к сараю. Натаскал сена, соломы, поправил в хлевах подстилку, напоил лошадей и коров — все молча. Когда покончил со скотиной, стал черпать лопатой из кучи песку, который сам же навозил накануне, и посыпал все дорожки от избы к хлевам, к колодцу и к клетям, к риге, к сараю и к овину, и даже возле собачьей конуры.

— Пускай и пес знает: нынче пасха,— сказал он не очень весело.

Пропали звезды в вышине, багровый восточный край неба так разгорелся, что запылала и обиндевешние изгороди, а набросанный Станисловасом песок казался россыпью ягод рябины. Из конуры вылез Маргис, сел, осмотрелся и, уразумев, что наступила пасха, стал глядеть на поля. И все окна избы весело раздумянились, даже труба на крыше помолодела. А раз все так ждали, то со стороны местечка послышалось:

— Дан-далан... Дан-далан...

Зазвонили колокола. А поля еще больше притихли под этот звон. Прислушивались. И кустики ольхи на меже прислушивались, привстав на скованных заморозком ногах. И возле них заяц высоко поставил длинные уши. И Маргис на цепи у своей конуры.

— Дан-дан... Дан-далан!..

Станисловас снял шапку. Далеко, над верхушками леса, показалось солнышко, красное, яркое. Все выше поднималось оно, достигло башен костела, и, казалось, это не наш белый костел, а громадный белый лебедь плывет звонкими утренними полями, словно по широкому озеру, словно по морю, какое видишь во сне. Ближе, ближе...

— Дан-дан!.. Дан-далан!..

Станисловас стоял без шапки, слушал, глядел, потом вздохнул.

— Пасха,— сказал тихо.

Обернулся ко мне, позвал:

— Стол пора накрывать, гостей ждать!

В избе снял с перекладины белую хрустящую скатерть, еще накануне выстиранную и приготовленную Казите. Расстелил на столе, поставил против переднего угла две глиняные чашки, возле каждой положил по деревянной ложке, тогда уж принялся накрывать по-настоящему: принес из зала остуженный вареный окорок, чуть надрезанный с краю, бело-розовый, от сладости со слезой, поставил на самую середину стола; открыл печь, тоже истопленную накануне, и стал доставать одну за другой миски — и с жаркими, как огонь, колбасами, сладким творогом, клецками, пирожками с мясом и пирожками без мяса, с капустой, со шпиком, а то и с горячим паром, такие вкусные, что отдашь за них любую

начинку. Добавил и посудинку с едучим, как порох, натертым хреном, заправленным красным свекольным квасом. Выставив все это на стол, Станисловас пошел в залу и принес оттуда решето пасхальных яиц — красных и зеленых, желтых и крапчатых, синих и коричневых, и даже черных, крашенных мохом, луковой шелухой, а также с разными узорами, процарапанными кончиком ножа. Глаза разбегались, глядя на эти яйца, а уж чем только не пахло на столе! В нос били и запахи можжевельного дымка от копчений, поджаренного сала, топленого масла, укропа, горькой полыни, пахучей руты, положенной на дно большого графина с водкой. Станисловас оглядел стол и спросил:

— Хорошо получилось?

— Лучше некуда.

— Теперь будем ждать.

Долго ждать и не пришлось. Отзвонили, отзвучали колокола, и еще доносилось от костела пение «Аллилуйи», а за воротами прогремела бричка с Лауринасом, Антанелисом и Казите. Эта даже выскочила до того, как лошади стали, и радостно закричала:

— Первыми, первыми домой вернулись! Теперь весь год будем первыми! С божьей помощью во всем, во всем! — и в доме, и в поле, и в деньгах, и в делах первые. Со святой пасхой, Станисловас.

Казите подпрыгнула, чмокнула, потом еще раз подпрыгнула и чмокнула Станисловаса в другую щеку. Тут подошли Лауринас и Антанелис, все поздравили друг друга и расцеловались. Антанелис прослезился и положил руку на плечо Казите:

— Давайте всегда будем так жить, дорогие братцы, всегда. Как при папаше с мамашей... Чтобы всегда такая пасха, чтобы все мы...

Поперхнулся слезами, не кончил. За него сказала Казите, тоже чуть не прослезившись:

— К столу теперь. Пожалуйте! И ты, пастушок, садись за стол. Нынче пасха, так и ты с хозяевами. Нынче все, все равны.

За столом она перво-наперво взялась за решето с яйцами.

— Начнем с божьей помощью. Ну, чье будет крепче всех? Выбирайте, стучайтесь, бейтесь... Владыко господи, ведь, и правда, пасха! — воскликнула она.

И замолчала. Братья не только не стали брать яйца, но и не сели, и не глядели на Казите, а глядели в передний угол, где на краю стола стояли две глиняные чашки.

— Первая пасха без родителей,— сказал Станисловас.

Братья стояли молча. Долго стояли. Казите заметила свою оплошность, вздохнула и тихонько проговорила:

— Вечный покой им, родителям дорогим. Как бы они теперь порадовались...

Лауринас скосил глаза на Казите, хrapнул носом, но слова не сказал. Антанелис сейчас же положил руку на плечо жены и спросил Лауринаса:

— А что она дурного?..

Лауринас молчал. Ответил Станисловас:

— Не привязывайся... Давайте усаживаться.

— А все-таки чем не угодила? — кипятился Антанелис.— Или она не хозяйка? Не ей раздавать пасхальные яйца?

— Не привязывайся! — оборвал его Станисловас.

— Сама мамаша благословила, возложила свою белую рученьку, а Лауринасу не нравится? Все не нравится?

Станисловас не ответил, он протянул свою широкую ладонь Казите:

— Подай пасхальное яичко, невестынька. Пора разговляться.

— От чистого сердца, Станисловелис,— оживилась она, смигнула слезы и схватила решето. Поднесла каждому брату. Взял Станисловас, сперва взглядевшись в грудку яиц, взял Антанелис, сняв руку с плеча Казите, взял и Лауринас, фыркнув в усы.

— Некоторые стучат по зубам, пока не выберут покрепче,— сказал Станисловас.— А я без стучания. На глаз. Присмотрю и беру: попробуй вот, пробей,— протянул яйцо Лауринасу.

Тот брал из решета яйцо за яйцом и на самом деле стучал по зубам, пока не выбрал самого крепкого, и тогда тюкнул по яйцу Станисловаса. И надбил... только свое же, чуть не до половины.

— Глаз надо иметь,— улыбнулся Станисловас.— Бери другое.

— погоди, я еще пушкой ударю.

— Ударь пушкой,— и Станисловас повернул свое яйцо вниз носком.

Лауринас тоже повернул и... опять надбил свое.

— Говорил же, бери другое.

Лауринас взял. Подсел к ним и Антанелис. Оба младшие брата били яйцо за яйцом, а Станисловас держал все одно и то же, словно его яйцо было железное или засахаренное.

— Глаз надо иметь,— улыбался и улыбался Станисловас.

— Мужики, не сходите с ума,— бранилась Казите, улыбаясь, как и Станисловас.— Перебьете все яйца, а что есть будут?

Она то и дело двигала с места на место миски, чтобы удобнее было достать, особенно Станисловасу. Его край стола был уставлен самой лакомой снедью. Взяла графин, налила зеленоватую стопку, выпила, опять налила, обратилась к Станисловасу:

— Чем яйца бить, лучше так — с праздничком, Станисловелис.

Тот молча взял, опрокинул, крякнул от удовольствия, в свою очередь поднес Лауринасу и сказал:

— Надо бы открыть бочку с пивом. Поститься так поститься, разговляться так разговляться.

— Не обождать ли,— заметила Казите,— вечером гости соберутся, тогда подадим свежего, с пеной.

— Дело говоришь.

— А по-моему, и вечером незачем открывать, — отозвался и Лауринас; глаза у него слезились от хрена, густо наложенного на кусок ветчины.— Выдуют, и ни нам ни вам. А там подойдет навозница, сенокос, уборка ржи или завернет в дом добрый человек, что ему подашь? Не простоит разве бочка в холодной кладовой до первой надобности?

— Пустяки,— сказал Станисловас.

— А по-твоему, все пустить по ветру?

— Гостей позвали, надо открыть.

Лауринас замолчал и стал уминать ветчину, потянулся за пирожком с таким — с вкусным паром.

Станисловас вышел и вскоре вернулся с глиняным кувшином пива; белая пена падала через край. Теперь уж никто ничего не говорил, только потягивали стакан за стаканом.

Солнышко уже заглядывало в окно, а на столе все не убывало пасхальной снеди.

— А теперь — на боковую, — Станисловас отвалился от стола, распустил пояс и со вкусом рыгнул. — Нет лучше, чем соснуть после еды.

— Сбегаю еще на скотину взглянуть и тоже завалюсь, — согласилась и Казите, сбрасывая с плеча руку Антанелиса. — И собаку угощу с пасхального стола, — добавила она.

Братья постояли еще, пососали сигарки, поковыряли в зубах и разошлись по своим углам.

Казите заботливо прибрала на столе, проверила, все ли в лучшем виде, не осталось ли яичной скорлупы и обгрызенных костей. Проснутся мужчины, куда же им, как не опять за стол. Пасха ведь! Вынесла поесть собаке, обежала хлева, посмотрела, подложено ли в кормушки ради пасхи что получше, и, вернувшись в избу, опустила подоткнутый подол праздничной юбки и шариком покатила в залу, где жалобно похрапывал Антанелис.

А на дворе сошел уж иней с изгородей, деревья стоят в испарине, расплылись лужи и набухла черными слезами оттаивающая земля. И тихо так кругом, спят все хутора. Нигде ни дымка над трубой, нигде не тявкнет собака. Солнце все выше и выше, близится к полудню, глядит, что это за пасха на земле, и под его лучами млеет в саду яблоня, вспучиваются красные капли клея на пригревшейся вишне, из-под кольев изгороди лезет крапивка — еще зеленая, не побуревшая и не жгучая; разнежилась береза от счастья, не в силах сдержать под белой берестой сока, вся в сахарных подтеках, выбивающихся из каждой трещины. Топорщит прошлогоднюю щетину колючий крыжовник, упивается солнышком смородина... И мне приходят на память стихи, что читала нам учительница Насте в Тяконисовой избе:

Кто не ждал тебя, пасха...

— Ты чего не лег?

Я даже вздрогнул от оклика Станисловаса. Он стоял на пороге избы.

— Девочек высматриваешь? С утра не годится. Да еще в твои годы...

— Больно нужны мне девки!

— Дело говоришь.

Помолчав, Станисловас похвалил меня:

— Ты умный.

— Чем я умный?

— Умный. Раз не спится, не ложишься. Умный... Раз не спится, ничего хорошего в лежанье нет. Ничего хорошего.— И тут же спросил: — Почему без дела слоняешься? Яйца не катаешь?

— А с кем? У меня и яиц нет.

И на самом деле Казите не дала мне яиц, как давали хозяйки во всех домах, где я пастушил.

— Погоди,— сказал Станисловас.— Погоди-ка.

Ушел в сени. Слышно было, как взбирался он по лестнице на подволоку, а потом слезал оттуда. Во двор вернулся с серым от пыли и паутины желобом для катания яиц, вырезанным из дубовой коры. Протянул его мне.

— Подопри камешком.

Я прислонил желоб не к камешку, а к чурбачку, а нижний конец упер на песчаную тропинку. Станисловас пошел в избу и вскоре вернулся с полными пригоршнями яиц.

— Псполам,— протянул мне.— Бери свою долю и начнем.

— Как же начнем? Ты же взрослый, не стыдно тебе?

— Стыдно? — удивился Станисловас.— Стыдно воровать, пьяным на дворе валяться, а тут чего? Начинай.

— Засмеют тебя, Станисловас.

— Пусть засмеют.

Начали. Некрупное, ярко-красное мое яичко птицей пролетело по желобу, вильнуло вправо и умчалось так далеко, что теперь Станисловас мог катить яйцо за яйцом и ничего бы не выиграл. А он взял зеленое и как парочно пустил его не по середине желоба, а с краю. Яйцо забуксовало, ударилось о другой край, отскочило, выбралось на песок, кувырнулось через пушку и остановилось прямо под носом: бери хоть голыми руками. Тогда я пустил свой красный биток не с верхнего конца желоба и не с середины, а у самого низа, чтобы оно не кокнуло зеленого. Яйцо скатилось наземь, чуть-чуть крутнулось и тихонько тому в бок — тюк!

— Чтсб тебя...— Станисловас прикусил губу.— Давай снова!

На этот раз он пустил желтое — вытянутое, с суженым носком. Будто маленький, не знал, что такое яйцо и брать не думай для катания. Еще и обозлился, когда мой красный биток унес и его.

— Жулишь? Ты, пастушок, наверняка жулишь!

— И без жульничества дело идет.

— Начнем снова?

Снова так снова. Пустили по первому разу. По второму разу мое опять унесло яйцо Станисловаса, теперь синее. Снял я шапку, положил на желтый песок и стал укладывать выигрыш. За синим взял у Станисловаса зеленое, потом коричневое, потом... Ни разу мой биток не скатился впустую. Станисловас кусал губы, сдерживался-сдерживался, а все же не выдержал:

— Да это не яйцо, это — большевик!

Сердитый, пошел в избу, вынес оттуда темно-бурое, чуть ли не с кулак, яйцо, долго примеривался и пустил с самого верха да еще подтолкнул рукой. Яйцо ухнуло как молотильный каток, зажужжало и прямо, прямо к моему красному... У меня дыхание сперло: пропало, думаю! А бурое — р-раз! — и мимо. На волосок от него. Станисловас отер пот и стал ждать, что будет дальше. А я взял свой красный биток, но не толкнул его, не примеривался, и он побежал и стукнул прямо в бок бурое. Оно даже перевернулось на месте, но и мое не выдержало — надбилось, пошло белыми трещинками, охнуло и остановилось.

— Та-ак! — обрадовался Станисловас. — Сказал же я, что проучу твоего большевичка!

Он взмок от пота и бросил пиджак на изгородь. Заграбастал мое красненькое, положил себе в шапку, выпрямился.

— Еще! Давай еще! — с сияющим лицом кричал он. — Говорю же — давай! Проучу твоего большевичка!

— Какой большевичок? — чуть не плача, сказал я. — Сам же принес, из твоего решета я взял...

— Знаю, знаю, из какого решета большевички берутся! Все знаю!

Отдал я почти все выигранные и свои яйца. На песке валялась моя скомканная шапчонка. А Станисловас все смеялся и не отирал пот, а сдувал его, когда он стекал с носа и лба.

И вдруг остановился. Не говоря ни слова, отошел, сел на лавочку, прислонился затылком к стене, подста-

вил лицо солнцу. Долго сидел так, не шевелясь, с закрытыми глазами и только блаженно улыбался. А меня разбирала злость. Жалко было проигранных яиц, хотелось как-нибудь вернуть их. Спрашиваю его.

— Надоело? Больше не хочется катать?

— Как мне хорошо,—сказал Станисловас.— Знал бы ты, как мне сейчас хорошо...

Глаз не открывает. И не шевельнется. Сидит и улыбается:

— Так мне хорошо, так хорошо...

В зале стоял крик и шум. Соврала-таки Казите, когда сказала: гостей будет раз-два и обчелся. Столько привалило парней, девушек и совсем зеленых подростков — ребят и девчонок! Пришел и разбитной, с раскосыми глазами Адомелис. Он первый год работал как взрослый батрак у нашего соседа Черашки. Явилась и Эльзе — статная, как липа, с белым, почти не тронутым солнцем и ветром лицом и так туго стянутая в поясе, что пониже его, казалось, была вдвое пышнее других девушек. Глаза большие, не голубые и не карие, а серые. А уж косы, косы! Каждая по пуду, спадает по спине до колен и еще ниже колен. Были здесь и другие девушки: поглядишь — глаза разбегаются. И статные, и тонкие в поясе, и с косами, в руку толщиной. Только ни одна не сравнится с Эльзе. Пришла позже других, когда не осталось и места за столом и гости не первый стакан пива опрокинули, а явилась — тут же и место нашлось и вновь закипели пеной кувшины и голоса за столом зазвучали веселее.

— Гостюшки дорогие, закусывайте, пива пригубьте,—угощала Казите.— Только вот петь не годится. Бесценную матушку недавно на кладбище снесли, в доме еще свячеными травами пахнет...

Говор было притих, но надолго ли за таким столом? Крепко ударяет в голову ячменное пиво, раздумывает лица кудрявый хмель. Глоток-другой, и вот уж чей-то голос в конце стола заводит:

Пива, пива нам подай,
Чтобы пена — через край.
Эй, живей, живей, живей,
Да стакана не пролей!

Песню подхватывало все больше голосов, и вот грянуло в полную силу:

Что Лауринас наш не пьет,
Капли в рот он не возьмет?
Эй, живей, живей, живей!..

Казите опустила голову.

— Не надо бы этого...

Она тоже покраснелась и вьюном вилась вокруг гостей, вовремя замечала, кому надо подложить на тарелку, подлить в стакан, кого погладить по плечу, а кого и поцеловать в щеку, кому шепнуть на ухо ласковое словечко. Гости таяли от такого обхождения, похваливали новую хозяйку, тянулись к ней со своими стаканами чокнуться, шлепали ее по спине, а то и пониже спины. Антанелис жмурился от удовольствия, ходил за Казите по пятам, поддакивал ей и норовил положить руку на плечо. Лауринас сперва все брюзжал и на всех косился, но, когда помянули его в песне, сразу повеселел, повесил себе на шею полотенце и стал подносить из кладовой кувшины пива, всем подливал, всех потчевал. За делом и сам разогрелся не хуже гостей. Лишь один Станисловас был молчалив, сидел за столом потупившись, а если и поднимал глаза, то прямо на Эльзе и тут же опускал, потому что она пронизывала его взглядом — как будто и ласковым, но и насмешливым.

Пиво лилось рекой, закуски было вдоволь, и песня приумолкла. Но ненадолго. Сначала вполголоса, потом все громче, покуда не вошла в силу.

Солнце еще не село, не наступили сумерки, а в зале оказались и гармошка и музыкант — долговязый и сухолядый Йокимас. Пробежал пальцами по ладам и поглядел на всех: начинать или обождать?

— Может, не надо... — не то попросила, не то поддержала его Казите.

— Позволь, Казите, — стал упрашивать ее Антанелис. — Мамаша и сама веселая была, сколько песен перепела, как отплясывала с папашей кадрили. Она бы не осудила и нас. Позволь.

— Еще и плясать вздумал?

— Я и без пляски обойдусь. И без гармошки могу. Ты гостей... гостей не отваживай, Казите. Пасха ведь, пусть побудут.

Казите отвернулась, ничего не сказала. Сухолядый Йокимас рванул мехи, аж гости вздрогнули. И первым вылетел из-за стола Адомелис. Стал перед Эльзе, щелкнул каблуками и бухнулся на одно колено, как перед алтарем. Развел руками, потом правую — к сердцу.

— Прекраснейшая, славнейшая, несравненнойшая! Снизойди, так сказать... на одну полечку!

Весело выкрикнул это Адомелис, и такой он был красавец, так плутовато сверкал своими раскосыми глазами, что Эльзе улыбнулась:

— Вот глупый!

Потом встала с лавки, подобрала подол и, будто ненароком взглянув на Станисловаса, сказала Адомелису:

— Дай пройти!

— Умру, а не дам! — Адомелис ударил обоими кулаками себе в грудь. — Растопчи своими серебряными подковками, прикрой зеленым дерном, зато польку... хоть одну полечку со мной станцуй.

Эльзе снова улыбнулась. Не вымолвила ни слова и не взглянула в сторону Станисловаса, только плотнее присобрала рукой подол. Адомелис пристукнул подбитыми железом каблуками и так закружил Эльзе по зале, что ветер шелестел за ними.

Лицо у Станисловаса стало серым. Неподвижным взглядом глядел он вслед танцующей паре.

— Ну их, — подошел к нему Антанелис, — еще наймиту завидовать? Пойдем выпьем. Идем, идем, — торопил он, хотя идти было некуда, только взять и налить пива.

Пошли танцевать и другие. Закружились пары, застучали каблуки. Но Станисловас видел только Эльзе с Адомелисом. И все больше менялся в лице.

— Кто позвал этого пастуха? — спросил, не разжимая губ.

Я так и обмер: Адомелиса никто, кроме меня, не звал. Известно, Казите приказала. Забился я в угол, чтобы Станисловас, чего доброго, не догадался. Но он никого и не видел, ни меня, ни остальных: уставился на Эльзе и Адомелиса — и не моргнет.

— Не знаю, братец, — ответил Антанелис. — Ничего я не знаю, вот только выпил и повеселел, хочу, чтобы и ты, милый, повеселел... Пойдем позовем Лауринаса, чокнемся так, чтобы искры из глаз посыпались! Пасха нынче

или нет? Все должны по-доброму... Хочешь, и я свою Казите отпущу с тобой потанцевать?

— Кто позвал Черашкина пастуха?

— Перестань! — дернул его за рукав Антанелис.— Братец, милый, тебе говорю!..

Станисловас встал, отстранил Антанелиса. И тут к братьям подлетели Адомелис и Эльзе.

— У-уф! — весело крикнул Адомелис.— Не удержу, не справлюсь! На подмогу, Станисловас, на подмогу!

И, повернув Эльзе, поставил ее лицом к лицу со Станисловасом и пристукнул каблуками.

— Управляйся сам с этой молотилкой! Мне не под силу!

Эльзе стояла раздумяившаяся и красивая, почти доставая лицом до щеки Станисловаса. Глаза полузакрыты, одна коса на груди, другая — за спиной. Видно, ждала, что Станисловас пригласит ее, вихрем завертит среди развевающихся со свистом девичьих юбок, под стук подкованных каблуков парней. И Станисловас не выдержал, поднял обе руки, чтобы обхватить ее стан... И вдруг опустил руки и бросил Эльзе в лицо:

— Наймитских объедков не трону!

Эльзе отпрянула. Румянца на щеках как не бывало. Перебросила косу через плечо, крикнула:

— Адомелис!

Адомелис уже вертелся с другой девушкой — все такой же веселый, смешливый,— но сразу услышал голос Эльзе, пулей ринулся к ней.

— Есть!

— Не побрезгуешь мной? — прищурилась Эльзе.

Адомелис широко улыбнулся, обнял Эльзе за стянутый стан, крикнул Йокимасу:

— Польку с пистонами!

И щелкнул подковками сапог, будто выстрелил настоящим пистолетом, сверкнул начищенными голенищами и запел на всю залу:

Шла я мимо алтаря,
Встретила золотаря...

Эльзе откинула голову, закрыла глаза, и уж не пляска это была, а словно ветер разметал на пути остальные пары. Ни разочка не глянула Эльзе в сторону Станисловаса, будто не было его в зале, и не только в зале,



а нигде и никогда его не было. А он постоял-постоял, вдруг вздрогнул всем телом и шагнул вперед. Антанелис схватил его за локоть:

— Куда ты?

— Сотру в порошок!



— Сам виноват, дурачина, — чуть не плакал Антанелис, удерживая брата. — Такое ляпнуть... Да Эльзе вовек тебе не простит этих наймитских объедков.

Станисловас взглянул на брата, двинул в грудь локтем, так что тот отлетел.

— Так-то ты, братец, так-то? — тарашил глаза Антанелис, ударившись спиной об стену.

— Отстань!

Танцы расстроились. Все видели — добра не жди. Только Эльзе с Адомелисом по-прежнему откалывали польку. Станисловас опять шагнул вперед.

— Что такое, что тут такое? — как из-под земли выросла перед ним Казите.— Да плюнь ты, Станисловелис, плюнь через левое плечо, на что это тебе, такому молодцу! С пастухом будешь связываться? Хочешь, чтобы тебя люди на смех подняли?

Подбежал и Лауринас. Придерживая брата с другого бока, говорил на ухо:

— И тут с ней, не над тобой люди смеются. Какая она тебе пара — топчется со всяким отребьем. Не девка, а коза на льду! И ты... из-за такой?

Станисловас стоял сбывчившись: он как будто ничего не видел и ничего не слышал. Казите подпрыгнула, закинула руки ему на плечи.

— А с невесткой и не потанцуешь, Станисловелис?

И так сладко улыбнулась ему, так заглянула в глаза, что он, помедлив, обхватил ее, тяжело шагнул одной ногой, потом другой... Йокимас заиграл вальс и даже стал подпевать, хоть и надтреснутым голосом:

Уйду, уйду я,
Здесь не останусь..

Задвигались, заговорили гости. И опять все закружились в танце, будто и ничего не случилось. А особенно усердствовала Казите. Она и кружилась со Станисловасом и, отойдя, обегала вокруг него, потом опять забрасывала руки ему на плечи.

Лауринас подошел к Антанелису, подтолкнул плечом:

— Приглядывай за Казите.

— Что так?

— Приглядывай.

Антанелис поглядел на танцующих, улыбнулся.

— Померещилось тебе что-то.

— Это ты спишь и видишь сны. И всю жизнь так. Казите не хватало воздуха. Остановившись перед Станисловасом, обмахивала себе лицо.

— Больше не могу. Давай посидим, отдышимся.

Он выпустил ее и стоял с вытянутыми руками, будто все еще обнимал Казите. Потом поплелся к столу, ближе к кувшину с пивом. Пил его, как воду, стакан за стаканом, снова и снова.

Казите оставила Станисловаса — и ко мне. Веселая, быстрая, пахнущая крепким потом и мятой.

— Идем на двор!

На дворе она кинула быстрый взгляд в темноту — направо, налево — и припала к моему уху:

— Почему Клеменсаса нет? Позвал ты его?

— Как же не позвал, раз ты велела.

— Как же позвал, раз его нет?

На дворе была уж ночь, только светились окна залы. Опять похолодало, как прошедшей ночью, иней снова осыпал, как из-под терки, изгороди.

— Как же звал? — все так же на ухо спросила Казите.

А я как следует звал Клеменсаса. Как и всех, ничуть не хуже. Как только в доме решили позвать гостей, Казите немедля послала меня. Везде был, куда она велела пойти, был и у Пашкасов. Клеменсаса я дома не застал. В этом году он батрачил далеко, аж в Скодиняй, и домой еще не пришел. Зато застал его мать, Пошкене, она обрадовалась и сказала, что ее Клеменселис непременно придет, как только явится домой. Как же еще звать?

— Ты опять сходи, — сказала Казите. — Сейчас же поди, скажи, молодежь танцует. Скажи, ждем его.

И еще посулила:

— Позовешь как следует — кусок пирога тебе вынесу.

И опять глазами зырк — направо, зырк — налево.

— Иди!

— Да я уж был, — отбивался я.

— А я говорю: сходи. Ноги не отвалятся!

Избенка Пошкасов — в самом конце бывшего села. Все многоземельные перебрались отсюда на хутора, ничего стоящего не оставили на насиженном месте. Виднелись кое-где дряхлые яблони с ободранными сучьями, с измочаленной неживой корой на стволах, высохшие вишни не ждали больше ни цвета с первыми

теплыми днями, ни спелых ягод в летний зной. Там, где стояли избы и жили люди, лишь расплывались между обрушившихся камней комья размокшей под дождями глины.

Среди этого запустения только и осталась избушка Пошкасов — приземистая, черная, точно упавшая на землю ворона с подбитыми крыльями. Но и здесь праздновали пасху. Светились все окна избушки, из-за них доносились веселые голоса. Сама Пошкене сидела в переднем углу, а вокруг стола — четверо ее сыновей и дочь, совсем еще девочка-подросток, которая наравне с братьями выпорхнула из дому и так же, как они, вернулась теперь отпраздновать дома пасху. Сыновья не из рослых, но широкоплечие, рукастые. Один Клеменсас был повыше ростом, волосы он причесывал на прямой ряд, и русые кудри спадали по обе стороны высокого светлого лба.

Увидев меня, Клеменсас встал из-за стола.

— Что скажешь, кавалер? Сватать нашу Аделе пришел?

Сказал и рассмеялся. Рассмеялись и братья за столом. И сама Аделе.

— Хорошо это, Клеменсас? — журила его старушка. — Вы тоже... Батайтисов пастух это, чего ржете? Подходи к столу, — позвала она меня, — парочку яиц дам.

— Ну, раз пастух, за стол его! — весело сказал Клеменсас, — крашенных яиц ему, матушка, и не парочку, а по-людски дай. Водку пьешь? — спросил он меня.

Не успел я ответить, как старушка опять строго сказала:

— Сходи-ка ты, Клеменсас, не мели вздор.

— Чего я там не видал? — все так же весело спросил Клеменсас, а сам усаживал меня за стол рядом с Аделе.

— Садись, бери, что тут есть, авось еще породнимся. Понравилась тебе Аделе?

— Клеменсас! Мелешь и мелешь языком, лучше бы взял да сходил. Пастушка и раньше присылали, и теперь вот. Что ты чванишься, что ты спесивишься? Нам ли спесивиться перед Батайтисами? Зовут, так иди.

Клеменсас перестал улыбаться, поглядел на мать.

— Куда ты меня гонишь, мама?

— Не гоню я, советую только. Худа тебе не желаю.

— Я к тебе пришел пасху праздновать, а ты куда меня гонишь?

— Что бывало — миновало, назад не вернешь, сынок. Живем ведь под одним небом, лучше уж по-доброму с людьми. И отчего не пойти, когда просят?

— Ничего не миновало, мама, — сказал Клеменсас. — Пусть они все повесятся со своим пивом!

Достал из кармана пачку фабричного курева, нагнулся над коптилкой, прикурил, и сразу на всех пахнуло душистым дымом.

— Деньги на ветер бросаешь, сынок. Фабричный табак не про нас. Нарезал бы самосада, у меня там на подволоке. И крепкий, и карман целее будет.

— Это я ради пасхи, мама.

Пошкене только головой покачала. Потом придвинула мне два крупных, пестрых яйца.

— Спрячь их в карман, не задаром же тебе туда-сюда бегать. А эти сейчас съешь, — подложила мне еще два яйца. — Как придешь, скажи Казите от нас спасибо. За то, что пригласила, не зазналась. В большие хозяйки вышла, а нос не воротит, вспомнила в праздник. Вот так... И пусть не примет в обиду, что наш остолоп никак в толк это не возьмет...

— Мама, а тебе не совестно? — спросил Клеменсас.

— А ты чем меня, старуху, стыдить, проводил бы гостя. Темнота, полно пьяных... Так скажешь Казите? — обратилась она ко мне.

— Скажу, тетенька, — пообещал я, уминая яйцо с куском пирога, который подложила мне Пошкене. — Спасибо за пасхальные яички.

— Ну и с богом. Клеменсас, проводи.

Вышли мы во двор и как в трубе очутились. Темно на небе, и на земле, и всюду.

— погоди, — остановил меня Клеменсас. — Возьму батарейку, посвечу тебе.

Вернулся в избу и вышел, светя голубым глазком фонарика. Осветил тропинку, калитку, поле за калиткой.

— А ты еще не обзавелся батарейкой? — спросил он.

Мне стало смешно. Кто это видел у пастухов батарейки? И даже у батрачков. И не всякий батрак мог купить, разве лишь самые дюжие, которые запрашивали хорошую плату, заказывали себе сапоги, носили суконные тройки и кожаные фуражки с ремешком на

кожаном же козырьке. А пастух? Откуда у него такие вещи?

Клеменсас посветил между яблонями и вдруг схватил меня за плечо.

— Обожди-ка.

Еще посветил. Там, между яблонями, что-то было. Оно не шевелилось, но было живое. Клеменсас погасил фонарик, в темноте подошел к нему.

— Ты зачем здесь? — грубо спросил он.

— Клеменсас, смилуйся...— услышал я голос Казите.

— Свой девичий венок принесла?

— Клеменсас...

— Какой выкуп потребуешь?

Казите не ответила, только зашмыгала носом.

— За сколько отдашь? — не отставал Клеменсас.

Казите громко расплакалась:

— Ты сперва выслушай... Выслушай, Клеменсас, а потом бей с плеча... Может, я добра желала... И тебе добра, не себе одной... Много ты знаешь? Ты мне в душу влезал? Заглянул?

— Сама-то куда влезла,— сказал Клеменсас.— Своему лапше в ширинку.

Видать, лихо пришлось от этих слов Казите. Расплакалась так, что долго не могла вымолвить ни слова. Наконец заговорила:

— Ты выслушай меня... Может, вовсе и не себе, а тебе я добра желала... тебе!..

— Так мне добра желала, что теперь плачешь? Получила такое хозяйство, а на придачу недоноска, так теперь журавлиного молока не хватает?

— Клеменсас, богом прошу тебя, выслушай...

— Ничего хорошего ты мне не скажешь. Был у нас осенью разговор, и что я услышал? Заладила одно — не могу да не могу.захотелось быть большой хозяйкой, ну и будь, и нечего тебе ночью искать под заборами.

— Клеменсас, а кабы мы осенью сговорились, что бы нас ждало? Батрачили бы оба, как проклятые, и ты и я... Весело бы тебе было?

— Ты обо мне не заботься, я сам о себе позабочусь.

— Сердца у тебя нет, Клеменсас! Верно, и не было никогда. И не нужна я тебе... Вижу теперь, как я нужна...

Клеменсас не ответил, только посветил в ее сторону. Казите стояла, прижавшись лицом к корявому стволу яблони. Стояла и тихо плакала. Клеменсас шагнул было к ней, но сразу остановился, постоял немного и пошел прочь, светя фонариком во все стороны. Казите погналась за ним, но тоже остановилась и все плакала — теперь не у яблони, а на краю поля. Я понял — надо бежать домой.

Почти у самого дома вдруг прямо из-под земли появилась Казите, как умела появляться одна она, где ей надо было и где ее меньше всего ждали. Вцепилась мне в рукав.

— Ты, пастушок, нигде не был,— зашипела мне на ухо.— Ничего ты не видел, ничего не слышал... Слышишь? А — нет, так знаешь, что я с тобой?.. Голову тебе раскрою тяткой, да не просто, а пополам! Слышишь?

— Пусти! — Я вырвал рукав из ее лап.

А за воротами, на дворе стоял встревоженный Антанелис с фонарем в руке.

— Это ты, Казите? Где ты пропадала столько времени? С кем ты была? Почему глаза у тебя красные?

Казите фыркнула.

— Отстань, глупый. Пристал, как чирей к заднице. И бегом побежала через двор.

Антанелис поглядел ей вслед, все еще держа в руке фонарь.

— Ополоумела она, что ли? — спросил меня:— Где она была? С кем была? Ты с ней был? Где вы были? — сыпал он вопросами.— Или вы все ополоумели? — крикнул он, вконец рассердившись.— Наконец, муж я Казите или не муж?

В зале светло как днем. Горели две лампы: под потолком, украшенная бумажной бахромой, и без бахромы, в углу на полочке, где раньше стояла чашка со святой водой. Гости расходились вовсю. Одни еще угощались пивом, целовались мужчина с женщиной и мужчина с женщиной, и как попало, а у кого душа не принимала уж ни ветчины, ни пива, тот пучил глаза и косоротился, сам не зная с чего. Молодые парни тискали по углам девушек, девушки визжали, но больше хихикали, отбивались кулаками и ногами, а которая и не отбивалась, падала

парню на руки, и они целовались, да с причмоком. Будто не оплакивали в этом доме старую Батайтене, будто не пасха настала, а разгульная масленица.

Казите вбежала в самую сутолоку, обмахнула рукавом красные от слез глаза, хлопнула в ладоши.

— Танцевать! Девицы приглашают кавалеров!

Йокимас взялся за гармошку и запиликал вальс.

Девушки ловили танцоров, которые еще держались на ногах, если же те были пьяны в лоск, то старались отбить для себя пару у другой.

А Казите так и застыла посреди залы, между скачущих пар, как сломанное дерево во взбудораженной ветром болотной осоке.

Не танцевал и Станисловас. Сидел на лавке, упершись взглядом в пол, будто и не пил пива, не праздновал пасху. И Эльзе не танцевала — стояла, улыбалась кружась парам, а иногда переводила взгляд на Станисловаса. Может быть, ждала, что пригласит танцевать, может быть, сама надумала пригласить. А тут Казите вильнула между танцующими парами к столу, присела рядом со Станисловасом и чуть не впиалась ему в ухо:

— Не зевай, Станисловелис.

— А что? — не оборачиваясь, спросил он.

— Переспела девка, пальцы себе кусает. Проморгаешь ты ее.

— Больно мне надо. С наймитами связывается...

— То-то и есть, что принялась уж за наймитов. Смотри, проморгаешь ее.

Станисловас исподлобья поглядел на Эльзе. Она все стояла, явно ждала.

— Хоть раз я тебе дала плохой совет? — не отрывалась Казите от уха Станисловаса.

И он не выдержал. Шел мимо танцующих, будто по воде шагал, а куда ступал, там, казалось, гнулись половицы — так трудно было ему подойти к Эльзе. Но он шел, и с каждым его шагом стихали танцующие, расступались, чтобы пропустить Станисловаса. И вот уж он остановился перед Эльзе. Она побледнела, перестала улыбаться, но не стронулась с места и даже не взглянула на Станисловаса. Стояла, ждала. Явно ждала. Теперь не то что танцевать, слова никто не смел вымолвить. Одна гармошка пиликала, пиликала, пиликала. Стани-

словас кивнул Эльзе, постоял, опять кивнул, а потом уж — ничего, и головы не поднимал, все стоял перед нею. Кругом все ждали, что будет дальше, а больше всех Казите. Нашелся один Лауринас, хоть и налил глаза — подбежал к брату, ткнул в бок локтем.

— Не срамись перед людьми!

Теперь Эльзе очнулась. Высокая, стройная — улыбнулась Станисловасу, как солнцем осветила, а потом обернулась к Адомелису, хлопнула в ладоши.

Адомелис побледнел, но мигом подскочил, обнял стан Эльзе. И она одну руку ему на плечо, другую вокруг шеи, как полагается, когда танцуют вальс. Как увидел это Станисловас — сорвал с себя пиджак, бросил наземь.

— Собака! Собачье отродье!

И к Адомелису, приподнял его за ворот, повернул в воздухе. Адомелис заболтал ногами, крикнул и, один бог ведает как, выскользнул из рук Станисловаса. Сунул руку в карман штанов, тут же — обратно, со складным ножом в кулаке!

— Только тронь меня, только тронь!..

Лауринас снова кинулся к Станисловасу, загородил ему дорогу и крикнул гостям:

— Помогите, убьет он пастуха!

Гости растерялись, никто не решался первым подбежать на помощь Лауринасу.

— Наше пиво пили, а теперь морды воротите? — сбозлился Лауринас. — Помогите же!

Люди зашевелились, окружили Станисловаса. Адомелис взмахнул раскрытым ножом и снова крикнул:

— Только тронь! Ты только тронь!

По сравнению со Станисловасом он казался сущим воробьем. И его махонький ножичек годился бы вырезать ивовую свистульку либо ободрать лягушку на наживку для раков, а тут просвистел в воздухе так, что Станисловас не вынес. Двинул локтями, встряхнулся, разметав во все стороны окруживших его мужчин, сбывил голову и шагнул к Адомелису.

— Убьет! — не своим голосом крикнула Казите. — Люди, убьет он Адомелиса!

— Только тронь! — взвизгнул Адомелис. — Тронь только!..

И — в дверь, через сени ринулся к оставленному Антанелисом фонарю, схватил его и швырнул под ноги

подбегавшему Станисловасу. Хлобыстнуло пламя. Поднялся такой тарарам, будто в людей нечистый вселился или кто им дубинкой по головам прошелся. Одни, крича наперебой, гасили огонь, другие ловили Адомелиса, третьи старались удержать Станисловаса, четвертые ладились выбраться из сеней и удрать домой. Полыхал разлитый по полу керосин, вспыхивали лучи карманных фонариков. Шум, крики, вопли, девичий визг... Все смешалось, никто не знал, где Адомелис, где Станисловас, кто виноват и что делать дальше. Один Лауринас успел сбить пламя мокрыми тряпками, пока подоспела на помощь Казите, за ней Антанелис, почерневший от дыма и от горя.

Когда погасили пожар, кинулись искать Адомелиса и Станисловаса. Они как сквозь землю провалились.

Побежал и я за другими, только не кричал, а стал искать в непролазной чаще крыжовника и сливовых кустов, весь ободрался, раскровенил руки и щеки. Когда уж решил, что ничего здесь не найду, вдруг послышалось мне, что кто-то стонет, зовет кого-то в темноте.

— Ох-о-о... Ой-ой-ой!..

Голос доносился с самого края сада, где оставались несожженные огребки листвы. И стонал не кто иной, как Станисловас. Он лежал навзничь, придерживая обеими руками низ живота, и был такой бледный, что и в темноте видно было.

— Станисловас, что с тобой? — нагнулся я к нему.

— Зарезал... — выдохнул Станисловас. — Черашкин пастух... Позови Лауринаса...

Нет, не помог я ему встать, не позвал Лауринаса, а только заорал что было мочи и орал до тех пор, покуда не сбежались люди с фонарями. Тут мы все увидели: плохо дело! Лежит Станисловас в луже крови, рубаха поперек живота распорота ножом, внутренности вываливаются наружу, а Станисловас хватается их, запикивает обратно, а они все вываливаются...

— До-октора!.. — стонал Станисловас. — Привезите доктора...

Лауринас побежал запрягать. Антанелис упал возле него на колени, подложил под голову руку и с плачем стал приподнимать.

— Ты привстань... привстань, Станисловас, может, полегчает... Когда стоншь, всегда легче бывает... — уп-

рашивал он брата.— Люди, помогите! Перенесем домой, на кровать уложим, на кровати тебе будет лучше... на кровати всегда лучше... Да помогите же! И кровь перестанет идти, и кишки... Братец, Станисловелис! Люди, помогите!

— Не трогай, дурень!..— скрипнул зубами Станисловас.— Кишки выпустишь... О-ох!..— застонал он и закрыл глаза, так ему было больно.

Все столпились вокруг, светили фонариками, не зная, что делать. Лишь когда послышалось громыхание Лауриной тележки по двору и треск задетой веревки, люди облегченно вздохнули — теперь стало ясно, что делать дальше. Все заговорили наперебой:

— Где этот дьявол Адомелис?

— Изловить его! Убить!..

— Впустили в дом нищего, вонючку эту!..

— На месте разорвать его в клочья!

— И бросить собакам, пусть глодают его кости!

Кинулись искать в разные стороны. Все обрыскали, перерыли, обыскали все углы и закоулки, влезали даже на деревья, не оставили в саду без осмотра ни одного кустика и, не отыскав Адомелиса, еще пуще обозлились и ожесточились, сталкивались уж между собой, ругали и обвиняли друг друга.

Адомелиса — ни следа. Испарился батрачок со складным ножичком, которым он распорол живот Станисловасу.

— Мужики, а может, черт этот давно за семью лесами, сидит, дрожит где-нибудь под елью,— сказал один.— А мы, дураки, ищем, потом обливаемся.

Другие поддержали, погасили фонарики. А так как все знали, что в зале осталось хорошее пиво, то и повалили туда — освежиться, излить досаду и злобу за стаканом. Маловато осталось там гостей: не один сбегал из нашего дома, как грянула беда. Не было здесь и Эльзе — статной, что липа, девушки, с толстыми косами за спиной.

С плачем и пением проводили Станисловаса в Борок, куда совсем недавно отвезли старую Батайтене. Не помог ему доктор, из-за весенней распутицы добравшийся лишь на другой день пасхи к вечеру, когда Станисловас

уж весь почернел. Не помогли и молитвы Антанелиса, и причитания Казите, и брань Лауринаса: ездил-де за доктором в такую даль, столько денег ухлопал, а пользы — ни шиша. Так и угас Станисловас. И когда проводили его в Борок, когда окружили могилу, опять мы увидели зарытые прежде гробы: один уже потемневший, другой — новый, нарядный, лишь запачканный песком. И Антанелис упал на колени, как тогда на погребении старой Батайтене.

— Батюшка, матушка,— рыдал он перед провожающими,— привезли мы на вечный покой вашего сыночка Станисловелиса. Спите теперь все трое, ожидаючи и нас... спи, дорогой братец Станисловелис, возле батюшки и дорогой нашей матушки... Не один ты будешь под высоким холмом, в холодной могиле, а с дражайшими родителями!.. Невмоготу мне больше жить без родителей, без братца горе горевать. Ой, не мил мне и наш дом, где жил наш батюшка, где ходила матушка, где ступала нога драгоценного братца...

— Баба,— заметил один из провожающих.— Разве подобает мужику так хлюпать?

Но никто его не поддержал. Многие прослезились и шепотом говорили, что не напрасно плачет Антанелис, ох не напрасно. Во всей волости не было такого золотого человека, как Станисловас. Непьющий, богобоязненный, работающий да щедровитый, и не гордец, не завистник... И теперь, мол, когда Станисловаса засыпают землей, теперь все увидели, какой это был человек. Не человек, а сущий ангел, посланный на нашу грешную землю в утешение людям. Господь и призвал его раньше всех, чтобы он не жил среди недостойных, а возвеселился в царствии небесном, откуда и пришел, чтобы воссел одесную господя, купно с ангелами и архангелами пел священные песнопения и молился о божьем благословении оставшимся на земле...

Так говорили люди у могилы, а плачущий Антанелис так свесился над ней, что свалился бы, если бы Казите не подхватила и не оттащила его назад.

— Тянет к могилке, — заговорили, увидев это люди.— Нового гроба она ждет. Ой, будут еще литься слезы в доме Батайтисов, спаси и сохрани их, господи.

У всех были печальные и унылые лица, на глазах — слезы. Заговорили о том, что, конечно, десница божья

сурова, и так карает иную семью, что и не знаешь, за что. Однако и справедлива она, не поражает человека, а лишь согнет его, дабы обрел он путь истинный. Так вот и с Батайтисами. А теперь смягчится десница божья и благодать сойдет на их дом.

Говорили так, будто успокаивали, и Антанелис стал утихать. Поднялся на ноги, потер кулаками глаза, огляделся, словно только что проснулся. Зато расплакалась теперь Казите. Плакала-то она и раньше, с того самого вечера, когда увидела Станисловаса лежащим на палой листве, и плакала как полагается. Но теперь уж так, что рядом люди опять зашмыгали носами.

А Лауринас стоял у могилы молча. На глазах ни слезинки. Так в начале, так и в конце похорон, когда над могилой вырос желтый песчаный холмик, прикрывший тронх Батайтисов, и когда надо было звать людей на поминки. И после поминок не заплакал Лауринас, а взял топор и пошел к своим бревнам.

С этого дня Лауринас все с топором и с топором. Тесал, вырубал пазы, венец за венцом клал стены новой избы. Уход за скотиной, домашняя уборка, тканье, пряденье, забота о семенах для огорода — все свалилось на плечи Казите, и она звала на подмогу Антанелиса. У того свои беды: весна на носу, надо проверить плуги, бороны, починить постромки, вальки, хомуты, готовиться к севу. И в лес надо съездить — за дровами, за хворостом. Казите из себя выходила:

— Раз такое дело, нанял бы ты мне работницу. Хоть девчонку какую... Не могу больше, с ног валюсь.

— Как Лауринас скажет,— увивал от ответа Антанелис.

Лауринас слышал эти крики, но ничего не говорил, смотрел лишь исподлобья на Казите. Он часто на нее так смотрел. И всегда стиснув зубы, с недобрим лицом. За завтраком или за обедом долго мешал деревянной ложкой похлебку, крошил хлеб, нюхал его, а в блины тыкал вилкой и так и этак, осматривал их со всех сторон.

— Лауринас,— заговорила однажды Казите,— или скажи по-человечески, или перестань. Что случилось? Чего тебе надо от меня?

— То-то и есть, что случилось.

— Что же такое? — развела руками Казите.— Чем я не угодила? Может, невкусно стряпаю? Кажется, уж и

сала не жалею, и муку на блины прямо из-под жернова беру. А что тогда?

— Стряпаешь вкусно.

— Зачем же ты со мной так?

Лауринас не ответил. Казите подозвала мужа:

— Ты бы хоть словечко сказал. Или я не работаю, здоровье свое берегу? Дом запустила? А может, сама нажиться стараюсь? Где она, моя нажива?

Антанелис положил ей руку на плечо.

— На самом деле, Лауринас... Не годится так...

— Дурак,— ответил ему Лауринас и встал из-за стола.

Казите ударилась в слезы, а Антанелис молчал и только крепче сжимал женино плечо.

Чуть не каждый день такие разговоры. И за завтраком и за обедом.

Так наступила и красная горка. Небо затянуло тучами, хлынул дождь и лил несколько дней как из ксендзовского рукава — теплый, как говорится, раздолье для лягушек. Набухли от сырости изгороди, разопрела земля в канавах, почернели пашни, развезло дороги. Когда разошлись тучи и выглянуло солнце, светлой зеленью подернулись скаты ложбин, межи, прогалины в садах, окидало красной ольхи на краю поля, по берегам речки зашептала черемуха и крушина у болота. Люди скинули пропахшие потом сермяги, холщовые рубахи забелели на дворах, гумнах и возле куч хвороста: пора было готовиться к пахоте, встречать рабочую страду, встречать и лето.

Так подошел первый день выгона стада.

Везде светло, хорошо, а у нас никто не стал окуривать меня и коров свячеными травами, не пролил воды, не вручил узелка с завтраком. Антанелис прошел по хлевам, спустил с привязи коров, вытолкал, пиная ногами, овец с варка.

— Выгоняй!

Я и погнал — полем, поближе к лесу, в затишье. Застоявшиеся за зиму коровы и овцы скоро порезвели и, когда насытились, все чаще поднимали головы от травы. Так мы добрались до леса, и тут из чащи вышел Лауринас, точно он заранее ждал и подкарауливал меня. Присел рядом на камень, свернул сигарку, хорошенько раскурил ее и тогда спросил:

— Адомелиса на пасху ты позвал?

Он долго курил, будто забыв про свой вопрос. Когда сигарка подошла к концу, спросил опять:

— Ты?

Я сидел ни жив ни мертв.

— Не-ет...— еле выдавил из себя.

— Ты меня не бойся, я ведь не побить тебя пришел, а спросить только. Мне надо знать. Не сам же вздумал звать, а кто-то велел тебе? Ну, так как? Звал ты или не звал?

Глядит мне прямо в глаза, а меня мороз по коже подирает. Незаметно поднялся я с камня. «Махну в кусты,— думаю,— лови меня тогда». А Лауринас и сам поднялся, раньше моего зашел в кусты и манит меня:

— Иди сюда.

А там сразу меня за грудки. Не очень сильно, но и не так, чтобы можно было выскользнуть. Опять глядит в глаза и ласково так:

— Кто велел позвать? Казите велела?

Подождал и еще ласковее:

— Кого ты, дурачок, боишься? Адомелис уж гниет в тюрьме, ничего он тебе не сделает. Казите не узнает, я ей не скажу. Знать будем мы с тобой, больше никто. Слышишь?

Я и сам знал, что Адомелис сидит в тюрьме. Полиция прискакала раньше врача. Адомелиса нашли у его хозяина Черашки на повети, в льняной костре. Может, и не нашли бы, да сам Черашка доказал на него... Избили тогда Адомелиса, скрутили и долго искали ножичек в нашем саду, потом опять побежали к Черашке. Так и не нашли, а Адомелису еще добавили, чтобы сказал, где этот проклятый ножик... Адомелис как сжал разбитые губы, так больше и не раскрывал рта. Полицейские повалили его на телегу и укатили. А Казите подбежала ко мне:

— Ты у меня только проговорись, только проговорись... сгниешь в тюрьме вместе с Адомелисом...

Я и молчал. И не то, чтобы от страха перед Казите, а чтобы никто меня не допрашивал. А тут на — пристал ко мне Лауринас.

— Ты скажи, скажи,— дергал он меня за ворот рубахи.— Казите? Может, часом, Станисловас? А? Или этот дурень Антанелис?

Я весь извивался, стараясь вывернуться из его лап. Тогда Лауринас занес кулак и ударил под подбородок. И сам не знаю, как я очутился под ольхами.

Кое-как поднялся. В голове шумело, по губам текло что-то теплое, солоноватое. Провел рукой, смотрю — кровь.

— Чего дерешься?.. — глотая слезы, проговорил я. — Раз большой, сильный, значит, надо драться?

— Кто велел позвать Адомелиса?

Сейчас, думаю, даст в зубы и, чтобы не дожидаться этого, пустился бежать, а он погнался за мной. Выбежал я в поле и вижу, что не вырваться мне. Обернулся и давай хлестать его кнутом, который, к счастью, успел прихватить. По лицу его, по глазам, по шее, по чему попало, а сам кричу, как кричал Адомелис:

— Только тронь! Только тронь меня!..

Недолго удалось мне обороняться. Лауринас прикрыл лицо ладонью, подставил под кнут локоть, подскочил ближе, сбил меня с ног, вырвал кнут и так исполосовал, что я провалялся чуть ли не полдня, а когда поднялся, чуть живой ковылял за скотиной, нога за ногу.

Вечером, за столом, Казите долго присматривалась ко мне, потом пододвинула миску с похлебкой:

— Ешь хорошенько.

— Чего ради этак — «ешь»? — тихонько сказал Лауринас.

Сидел он, повернувшись боком к Казите, потому что лицо у него было все в полосах и порядком вспухло. Весь вечер он старался стать или сесть так, чтобы свет падал не на лицо ему, а сбоку, или, еще лучше, сзади.

— Готова все скормить пастуху? — спросил, не обращившись и на этот раз.

Казите промолчала, а когда я улегся за печкой, зашла и нагнулась надо мной в темноте.

— Стало быть, расспрашивал Лауринас?

— Ну тебя, — отрезал я.

Казите повозилась в темноте, и вдруг запахло копченым в можжевелевом дыму сычугом, свежим, печеным на аировой подстилке хлебом.

— Закуси, — суя мне в руки лакомые куски, сказала Казите.

— Ну тебя.

— Не дури,— все так же нагнувшись ко мне.— Вижу, ты уж не мальчишка. Так знай же: я здесь такая же чужая, как и ты. Мы оба... Если я не пропаду, и тебе не придется плакать. Уж ты мне поверь.

Выпрямилась, прошелестела босыми ногами по полу. Она шла в темноте, ничего не задевая и не роняя. И это не впервые так. Она все видела в темноте, словно сова или кошка. Осторожно скрипнула дверью кладовой, пошла спать к своему Антанелису, который, как видно, нисколько не понимал, что творится у него под самым носом.

Шли дни за днями, на дворе потеплело, коровы щипали траву, спокойнее стали овцы. Все реже набегали на небо облака. На полях загомосились пахари. Лушили прошлогоднее жнивье, готовили суглинистые пригорки под ячмень и пшеницу; кое-кто вспахивал пары, чтобы пашни не заросли бодяком, чтобы в будущем году меньше было васильков. Не выдержал и наш Лауринас: воткнул топор в бревно сруба, запряг в плуг пару лошадей и вышел в поле. Вышел и Антанелис с другой парой. Братья пахали, Казите хлопотала по дому. По вечерам собирались за столом до того уставшие, что языки не поворачивались ругаться. Все только жевали да тянулись ложками к миске.

— Вот и слава богу,— заговорила однажды Казите.— Нароботались, намучились, зато на душе спокойно. Живем по-королевски...

Лауринас промолчал, Антанелис тотчас положил руку на плечо жене, поддакнул:

— Чем мы не короли? Сыты, не голые, не босые, не воры, у лошадей наших ноги не разбиты...

— В других домах, глядишь, живут в несогласии, вздорят, делятся и никак не разделяются, а мы, благодарение богу и его святым, живем покойно, друг друга почитаем. Вот уж поистине мамаша молится за нас на небесах и папаша ей помогает. Уж это так.

— И Станисловас, Казите, и Станисловелис,— добавил Антанелис.— Святой человек был, все так говорят, и его молитва раньше всех до бога доходит. Доходит, Казите, доходит...

— Как не доходить, доходит,— покачала головой Казите.— Только мамаша как-никак женщина. И бога она попросит, и непорочную деву Марию. Вот мы и живем,

слава богу, хлеб зря не переводим. Не так разве, Лауринас?

Лауринас опять ничего не сказал, а Антанелис захлопал носом и смахнул тыльной стороной ладони слезу со щеки.

— Ну, что ты, Антанелис? — стала утешать его Казите. — Радоваться надо, а ты что?

— Тяжко ему...

Антанелис так растрогался, что положил ложку и смахнул еще одну слезу.

— Снится и снится мне наш Станисловелис. Всякую ночь... всякую!..

— Тебе? — уставилась на него Казите. — И как же снится?

— Тяжко ему. Такой невеселый, а позавчера и одет был кое-как. Подошел к дому, дождь идет и на него капает, а он стоит, глядит в окно. Проснулся я, и так мне нехорошо стало. Гляжу за окно, а Станисловаса нет... нет уж... И не капает... Думаю, живем мы, как сыр в масле катаемся, а Станисловас кое-как одет, стоит под дождем... Нет, Казите, нехорошо. Просит Станисловас, просит!

— Чего это он просит? — спросил Лауринас.

— Во сне и не разберешь, братец. Только тяжко ему там, на том свете. Просит!..

Казите побледнела и тоже отложила ложку.

— Ведь я тоже, я тоже... — призналась она, почему-то шепотом. — И чуть не всякую ночь, и все такой невеселый.

Не было слез у нее на глазах, она лишь бледнела и бледнела. Видать, страшно ей стало от снов, которые видел Антанелис, а может, и она сама. Встала из-за стола, подошла к печи, перекрестилась и вернулась еще больше побледневшая. Опять села и долго молчала.

— Лауринас, — сказала она тихо, — может, и правда заказать обедню? И людей бы позвали. Попели бы, успокоили его душеньку...

— Какое теперь пение? Не годовщина и не родительская. Соседям на смех?

— Надо, Лауринелис, — сказала Казите. — Ведь, может, наш Станисловас в чистилище, зовет нас, как же не услышать, не выслушать его?

— Чего только не скажешь! Только что отпели его и обедню заказывали, теперь опять?

— Всего одну и заказали, и то без органа, без певчих. Не помнишь? — не сдавалась Казите.— Когда, скажем, живой человек чего попросит, можно дать, а можно и не дать. Живой не пропадет. А ну как он и правда в чистилище? Братья вы Станисловасу или чужие? Думаете, легко ему там, в чистилище? Без родных, среди чужих душ?

— На самом деле, Лауринас,— разволновался Антанелис.— Мы ведь братья. Братья!

— И велики ли расходы? — гнула свое Казите.— Один ты, что ли, потратишься, Лауринелис? Сложимся все поровну, ни хозяйству убыток, ни твоему карману, ты не бойся.

— Не боюсь я,— сказал Лауринас и встал из-за стола.

На том и кончился разговор про Станисловаса в тот вечер.

А на другой вечер опять начался, потому что Антанелис опять увидел во сне Станисловаса. И опять на него капало. В этот раз он был еще печальнее, такой печальный, что Антанелис проснулся весь мокрый от слез. Как же тут не говорить? И пошло, и пошло. Как сядем за стол, тотчас и разговор о Станисловасе, о мамаше, о папаше, о снах и как толковать эти сны. Всю неделю об этом, и еще неделю.

А потом Станисловас приснился и мне. Только не под дождем он стоял, а косил клевер — богатый красный клевер, влажный от чистого меда. Луг широкий, клевер густой, полег даже, а Станисловас в одной рубахе: махает косой и ряды, что валы, откладывает, и вокруг него роет пчелы, всякие мотыльки, пестрые божьи коровки. А Станисловас все размахивает косой. Высокий, в одной рубахе... Казите прямо подскочила, когда я рассказал свой сон.

— И папаша, вечный ему покой, клевер на воз навивал! — всплеснула она руками.— Красный клевер навивал, обедню просил. Помните? А когда обедню заказали, он и успокоился, ни разу потом, ни единого разочка не являлся!

— На самом деле, Лауринас,— стал увещевать и Антанелис.

Лауринас и на сей раз молчал, черпал похлебку, жевал хлеб.

— Что ты скажешь? — не унималась Казите. — Что ты теперь скажешь, Лауринелис?

— А тебе чего надо?

— Давайте закажем обедню! И пива сварим. Не теперь, то есть не нынче, не завтра или послезавтра, а когда отсеемся, навоз вывезем. Ведь красный клевер косит Станисловелис.

— А пиво-то зачем?

— Неужто родню не позовем? Я так рассчитываю, — зачастила Казите: — В пятницу — обедня, в воскресенье попоем дома.

— Какая еще родня? Поминки, что ли, затеваешь?

— Не родню, так хоть соседей, Лауринелис. Устраивать, так устраивать по-людски.

— Ну и наговорила. Пастушку сон приснился, так, видишь...

— Да не одному же пастушку, Лауринелис. Позабыл ты, как папаша клевер навивал? Я сама видела!

— Придет осень, на родительскую и соберем. И пива наварим. Как все люди. А теперь с какой стати? — не уступал Лауринас. — Мне не копейки жалко, а как на это посмотрят?

— Лауринелис... — чуть не плача начала Казите.

— На самом деле, Лауринас, — поддержал ее Антанелис.

Лауринас перестал есть, исподлобья вперил взгляд в Казите.

— Сладко поешь, невестынька, — сказал. — Только ради обедни ли стараешься?

— Перекрестись, Лауринелис! — крикнула Казите. — Что у тебя в помыслах?

— Гляжу вот, что у тебя теперь в помыслах.

Казите взглянула на Лауринаса, на Антанелиса, потом закрыла лицо передником. Сидела в конце стола, дергала плечами, плакала.

— Ну что ты, Казите, душенька? — положил ей на плечо руку Антанелис. — Никак ты плачешь? На самом деле плачешь?

Как только он ее спросил, Казите заплакала в голос:

— Чужая! Уж как я работаю, на части разрываюсь, всю душу отдаю, а все чужая... Всякое мое доброе дело навыворот видят, всякое мое словечко в другую сторону перетолкуют... Господи боже! Да кабы мамаша не благо-

слова, разве бы я осталась, пошла с тобой к алтарю? Чужая! Была я здесь наймиткой... сколько лет пробыла! И теперь я такая же наймитка. Наймитка!..

— Казите, ну можно ли так? Какая ты наймитка? — сам чуть не плача, пожимал ей плечо Антанелис. — Ты моя жена. Хозяйка в этом доме. Разве не так, братец?

— Дурак, — сказал Лауринас. — И еще раз дурак. Встал из-за стола, вышел.

На дворе его ждали лошади, уже напоенные и привязанные возле клетки. Лауринас набросил на одну из них попону, прихватил с приклетки путы. Он собирался в ночное, но прежде чем выехать, подозвал меня.

— Говоришь, клевер косил Станисловас?

— Во сне видел...

— И говоришь, красный клевер?

— Ну да, косил...

Лауринас нагнулся ко мне, пригрозил:

— Пусть он хоть раз еще приснится, и я тебе накошу такого красного клевера, что ты всю жизнь будешь ходить с красной мотней.

Вскочил на лошадь, не дав мне и рот раскрыть. Выехал за ворота.

В избе Казите, отняв от лица передник, плакала и смеялась в то же время. Антанелис сидел рядом, такой растерянный, что убрал с ее плеча руку.

— Я скажу Лауринасу... — бубнил он.

— Скажешь?

— Вот увидишь, скажу. Почему бы не сказать?

— Больно тебя слушают в этом доме! Ты наймит, последний человек, как и я. Обедню заказать не имеешь права, ни на что не имеешь права. Как скажет Лауринас, так и будет. Он хозяин, а ты кто? Ты — никто.

— Я скажу. Какой он хозяин?

— Ха-ха-ха! Ты будешь перечить Лауринасу? Ты? Как было, так и есть, так и будет. Всю жизнь, всю-то жизнь! Ох, мамаша, мамаша, — зарыдала она. — Не скажи ты своего слова на смертном одре, не узнала бы я горя-злосчастья. Лучше в чужом доме батрацкий хлеб есть, лишь бы быть счастливой, лишь бы не бранили тебя на каждом шагу!..

— Мамаши ты не касайся, — сказал Антанелис, отпрянув от жены.

— Я мамаши и не касаюсь, я себя ругаю, — рыдала



Казите, вовсе ненароком прислоняясь к отодвинувшемуся Антанелису.— И чего я тут не видела? Чего мне понадобилось в вашем доме? Мало я горя натерпелась, ругани? За какие грехи отнял господь у меня разум, что я послушалась тебя? Будто не то же горе меня ждало,



не та же непроглядная ночь? Раньше я хоть плату себе выговаривала, какую-никакую, а за всякий год. А теперь что? Что у меня есть? Еще хозяйкой меня называешь, госпожой надо всем домом!..

— Ты и есть хозяйка...

— Хозяйка? А где моя власть, кто меня слушает? Без дозволения твоего предоброго братца я хромого петушка не могу отвезти на базар. Всегда, во всех делах последнее слово скажет один он.

— И не он один...

— Не он один? — сверкнула глазами Казите, позабыв слезы.— Не он один, говоришь? Ну, посмотрю я, как ты закажешь обедню, посмотрю, как ты будешь говорить с Лауриномасом.

Сказала это и встала. С грохотом пнула ногой скамейку, показала рукой на стол.

— Ложки, миски вымой сам. Авось, хоть с тряпкой справишься.

— Казите... при пастушке...— растерянно сказал Антанелис.

Но Казите не слушала. Прошла в сени, оттуда в залу, захлопнула дверь, заперлась на крючок.

Антанелис вымыл ложки и миски, убрал в судницу возле печи, потом лег тут же, в избе, на кровать, но долго не мог заснуть. Совсем стемнело, все стихло, успокоилось, только бил в нос резкий запах плохо выдубленных кож. Как повесил их на перекладину Лауриномас в конце зимы, так они и висели до сих пор. Еще невыносимее несло застарелым потом от постели Лауриномаса, которую давно не трогали, не проветривали, а теперь разворошил Антанелис. Должно быть, от этого смрада, а может, еще от чего, сам Антанелис ворочался и ворочался на кровати, часто вздыхая и постанывая. Наконец он не выдержал — заговорил со мной:

— Ты не спишь?

— Не сплю.

Антанелис перевернулся на другой бок, опять спросил:

— Так не спишь?

— Тебе чего надо-то?

— Ты мне вот что скажи: плохо быть наймитом?

— Да не больно хорошо.

— Стало быть, не больно?

— Возьми да наймись, тогда узнаешь.

Больше он со мной не заговаривал. И не ворочался с боку на бок, только вздыхал, тихонько постанывал. И я уснул у себя за печью, так и не дождавшись конца его вздохов.

Земля в саду побелела от яблоневого снега, толстым слоем прикрывшего подножия стволов. Отцвели вишни. Палевым отсвечивал грушевый цвет. Теплый дождь выманил траву, поднимал яровые, заговорил с зеленью во всех ольшаниках. Когда же небо прояснилось и проглянуло солнышко, заговорили, застрекотали все твари и на земле, и на деревьях, и в небесах. Все сверкало росой, рожь топорщила завязывающийся колос, низкорослая гречиха набирала цвет, загодя приманивала пчелу темным медком.

А как вечер, выходит на небо месяц, глядит, склонив набок голову, и тогда все яблони в саду, все вязы у изгороди и придорожные тополя накрывают землю тенями — такими светлыми, что и не назовешь их тенями, разве что снами деревьев. Изо всех палисадников доносится запах резеды, от мяты даже во рту холодит и пощипывает в носу от зеленой руты, а уж от львиного зева и маргариток, от борца и мирты, от ломкой настурции и анютиных глазок, от шиповника и флоксов тянет такой сладостью, что и земля качается, как сваха на третий день свадьбы. В лозняке щелкает соловей, оглашает берега речушки, что кудрявятся кустами дикой смородины, гибкой ракиты, глубоко впившимися своими корнями в илистые обрывы. Жужжат майские жуки, кружат рои ночных мотыльков, воздух звенит от мошкары, не стихает и когда заходит месяц, темень укрывает землю. Лишь изредка все мгновенно замирает, и тогда слышно, как пролетает, шелестя крыльями, враг ночного веселья — черный, ушастый нетопырь. Пролетел, прошелестел — и опять все звенит и гудит — еще громче, еще радостней...

В одну из таких ночей вбежал в избу Лауринас. Прямо из ночного: на плечах кожух, в руках недоуздок. И сразу к Антанелису:

— Какого черта разлегся на моей кровати? Здесь твое место?

Антанелис обеими руками разминнал лицо, чтобы согнать сон и, не согнав, спросил:

— Кровать тебе жалко?

— Вставай скорее, — гаркнул Лауринас. — Слышишь, засоня?

-- Где горит? — потянулся Антанелис.

— У тебя в заднице, — опять гаркнул Лауринас. —

Беги к Ночюсу, скажи — Савраска жеребится на выгоне. Никак не разжеребится. Я его буду там ждать. Слышишь?

Антанелис окончательно проснулся, накинул на плечи пиджак.

— Сейчас скажу Казите...

— Ты к Ночюсу беги, нечего за бабью юбку хвататься! Вот бабий апостол!

— Чтобы она знала... Хозяйка.

— Зато ты не хозяин,— прямо кипел Лауринас.— К Ночюсу, тебе говорят!

Пошел к двери, но на пороге остановился.

— Я на Чубаром с выгона прискакал, садись на него,— скорее обернешься. Буду ждать возле Савраски. В случае чего... прикончу. Вот нож возьму.

Он вернулся от двери и достал из-под столешницы хлебный нож.

— Нет, все же за каким чертом ты лег на мою кровать?

Антанелис молчал. Оба будто позабыли и про Савраску и про Чубарого. А Савраска, может, издыхает, и никто ей не поможет.

— Казите его прогнала,— сказал я.— Не пускает к себе спать.

— Чего? — обернулся Лауринас.

Антанелис, как ужаленный, ринулся за печь, схватил меня за рубаху и приподнял как мешок с мякиной.

— Расшибу! Как бог свят, расшибу об стену!..

Он бы и расшиб, но вмешался Лауринас, схватил брата за руки и зло ухмыльнулся:

— Вот ты какой хозяин?

— Расшибу! — вырывался Антанелис.

— Не ту голову расшибить вздумал. Кого расшибить падо, в зале. И, может, не одна. Может, рядом еще кто лежит. Баба не отделается зря от мужа.

Антанелис сразу выпустил меня и вцепился обеими руками в Лауринаса.

— Ты что сказал? Ты это про мою Казите сказал? — кричал он.— Сейчас же идем оба в залу, поглядим, увидим!..

Лауринас не стал спорить:

— Ну что же, пойдем посмотрим.

А я опять не утерпел:

— Савраска подохнет.

Братья остановились, как вкопанные.

— Верно он говорит. Покуда будем шарить под юбкой, сатана кобылу унесет. Садись на Чубарого, шпарь к Ночюсу, а я на выгон побегу...

Братья выбежали. И тогда дверь отворилась, вошла Казите, постояла и — ко мне. Села на постель, отодвинула мои ноги.

— Кто тут был?

— Лауринас.

— Так ты враг мне? — спросила опять Казите.

— Какой еще враг?

— Мужа выгоняю, не пускаю спать... Так ты мне?

— Да я ничего... — стал я отказываться, а сам удивлялся: откуда она все знает?

— Не отказывайся, слышала, — беззлобно сказала Казите. — С первого до последнего словечка. Выходит, враг ты мне?

Я сел даже, так мне стало нехорошо. Черт меня дернул за язык.

— Ложись, ложись, — успокоила меня Казите. — Я не ругать тебя пришла, а хочу посидеть возле тебя.

Помолчала, пошмыгала носом.

— С кем мне еще посидеть, как не с тобой? Одни мы с тобой — наймиты бездельные. Всяк, кто захочет — обидит, всяк пихнет... И тебя и меня. Вот и хочу посидеть с тобой. Не прогонишь? Заранее скажу тебе: когда наймиты не ладят между собой — плохо это, а когда они заодно — кто их тронет?

— Да ты и не наймитка. Ты хозяйка.

Казите горько усмехнулась.

— Думаешь, я хозяйка? Как раньше мной помыкали, так и теперь помыкают. Работаю не покладая рук с утра до темной ноченьки, на части разрываюсь, а какая моя власть? Взяли меня без приданого, какая уж я хозяйка?

Разжалобила себя Казите, смахнула слезу.

— Не надо было выходить, — сказал я. — Раз нет приданого, зачем пошла за хозяина?

Не знаю почему, и хорошо ли это, но мне не жалко было Казите. А она не понимала, что мне не жалко, и все плакалась:

— Правду говоришь. Истинную правду. Только ког-

да бог наказывает человека, то отнимает у него разум. И ты мне поздно сказал. Сделанного не исправишь, назад ходу нет.

— Антанелис не даст тебя в обиду.

— Лапша он, и мамаша его лапшой называла,— жалобилась Казите.— Живет людям на посмешище. От него дождешься заступы, как от козла молока.

Она чуть не плакала.

— А тут еще ты... Мужа, вишь, к себе спать не допускает. Когда тебя привез Станисловас, вечный ему покой, я подумала, другом мне будешь, оба мы наймиты. А теперь что? Что теперь получается?

— Да ты не наймитка... Раз тебе так плохо, я могу... Я больше не...

— Не плачь,— стала она утешать меня, хотя я и не думал плакать.— Тебе плакать не стоит. И мне тоже. Раз ты так говоришь, у меня от сердца отлегло, ты все же парень добрый... Подлинно наймит.

Повеселела Казите, утерла слезы, улыбнулась даже, блеснув белыми зубами. Зубы у нее были на самом деле на редкость белые. Все ровные, мелкие, острые.

— Чего глядишь? —спросила она.

— Зубы красивые.

— Красивые? — удивилась она.— А их еще никто не похвалил. Нет, ты все же предобрый парень. Предобрый! Так, говоришь, красивые? — снова спросила она, еще не веря, но радуясь, что у нее красивые зубы.— А знаешь, и у тебя могли бы такие быть...

— Кто мне даст?

— Зачем ждать, кто даст? Ты захоти — и будут. Надо только крепко захотеть.

— Зубы? — удивился я.— Другие вырастут, что ли?

— Зачем другие? Возьми шерстяную тряпочку, обмакни в толченый уголь, потри зубы и увидишь, что получится. Утром потри, вечером, как ложиться, каждый день так, и тогда увидишь: не зубы будут, а картинка.

Казите весело рассмеялась.

— Мал ты еще, всего не поймешь. Надо только захотеть, тогда все тебе удастся.

— Не больно-то,— усомнился я.

— Не больно? Ты сперва попытайся, потом говори. Когда человек захочет, по правде захочет, все так и будет, как он хочет.

— Прямо все?

— Все до капельки. Чего смеешься?

Мне и правда стало смешно. Мало ли чего захочет человек. Я ли не хочу гармошку? А где она, гармошка? Или золото. Как нам с Ализасом хотелось, как мы у Дирды в гробу шарили, а где это золото?

— Ты хотела обедню заказать по Станисловасу,— съязвил я,— а обедню не заказали. Может, не очень хотела?

Казите замолчала, задумалась.

— Так и не заказали,— наподдал я.

— Закажут.

— Лауринас не даст. А может, тебе не очень хотелось?

Казите фыркнула, опрокинула меня на подушку, стала подтыкать одеяло.

— Спи, завтра не праздник.

В дверях уже добавила:

— Обедню закажут, вот увидишь. Спи!

Легко сказать: спи. А как уснешь после таких ее речей? Давно вышла Казите, все заметнее занималась заря, и в деннике пропел петух, а я и не сомкнул глаз. Ничуть не жалко мне было Казите. И Антанелиса не жалко. А Лауринаса и подавно. Только тревожно на душе. Нехорошо в этом доме. Не быть здесь ничему хорошему...

В полусне плелся я за коровами, почти ничего не видя и не соображая. И как журавль ждет дождя, так и я ждал конца утренней пастьбы. Пригоню стадо и завалюсь спать где-нибудь в половне или под изгородью. Завтракать не буду, ничего я не хочу, только спать, спать, спать.

Когда вернулся со стадом, братья сидели за завтраком чернее тучи, не разговаривали и не глядели друг на друга.

— Надо было меня позвать,— сердилась Казите.— Ночюса я не виню, а позвали бы меня, хоть бы жеребенок жив остался. Скрытничаете от меня, как от чужой...

— Не женское это дело,— не поднимая глаз, проворчал Лауринас.

— Оно и видно, что мужичье. Такую кобылу потерять! Еще и с жеребенком. Две головы погубили. Мужики! Из таких мужиков только студень варить.

Лауринас молчал. Молчал и Антанелис. Сворачивали блины в трубку, обмакивали в картофельную подливку со шкварками и совали в рот, как в обросшую кустами нору. Оба потупили глаза, точь-в-точь грешники, не получившие от ксендза отпущения. Казите поглядела на них, поглядела и вдруг рассмеялась. Братья даже отпрянули, услышав этот смех.

— Тронулась, что ли, невестка?

— И что вы носы повесили? Подумайте, люди добрые, кобыла у них пала! Конец света пришел! Да что мы, больные, калеки горемычные? Да захотим — десять таких саврасок заржут в стойлах!

— Откуда? — уставился на нее Лауринас. — Какой дядя пригонит тебе этих саврасок?

— Дядя? А мы сами себе дяди. Все молодые, крепкие, нам сама земля урожаем растит, мы что хочешь раздобудем, из-за одной савраски слезы лить не станем. Не десять, а сто саврасок заржут в стойлах.

— Такой уж не будет, — буркнул Лауринас, хотя лицо у него прояснилось.

— Такой и не надо. Какая это кобыла, когда и по первому разу не ожеребилась. Как возьмемся все, помолясь богу, такую резвую заведем, всякий год по жеребенку будет приносить. Знай, расти жеребцов да красуйся перед всем народом.

— А что, может, и так? — отозвался Антанелис.

— Так и будет. Все у нас будет. Если конечно, Лауринелис... Без нашего Лауринаса, сам знаешь, далеко не уедем.

Лауринас перестал есть, уставился на Казите.

— Пой, пой, невестынька... — бормотнул он, прижимаясь за новый блин.

— Что — пой? Не слепая я, а чего не вижу — добрые люди скажут. Кабы ты не бросил рубить избу, где бы нам с Антанелисом поспеть со всеми работами? Шутка сказать. Так бы и осталась земля не вспаханной, не заскоруженной, не засеянной.

— Пой, пой... И Антанас крутится. Я разве один? Оба мы. Что ты все про меня?

— И Антанас крутится, Лауринелис, — согласилась Казите. — Вся беда в том, в какую сторону он крутится. Помолчи Лауринелис, не спорь со мной. Хоть и сердит ты, глядеть на меня не хочешь — знаю, все

знаю! — а я тебе прямо скажу: справедливо ты сердисься. Разбередила я сердце с этой обедней, ох, как разбередила! И все-таки вижу: такого работника, как ты, днем с огнем поищи — не сыщешь.

Лауринас ничего не ответил, а Антанелис положил руку на плечо Казите и тонким голосом спросил:

— А я что, хуже?

— Кто свой товар хулит, того с рынка метлой, — ответила Казите, сбрасывая его руку. — Хорош и ты, однако до Лауринаса тебе не дотянуться — кишек не хватит.

И снова к Лауринасу:

— С работами обернулись, навоз вывезли, пока руки свободные — косы отбить надо, зубья сменить на граблях. Это, если ты, Лауринас, руки приложишь. Если только руки приложишь.

— Сладко ты поешь, — ответил Лауринас. — А теперь я тебе попою. Антанас мне брат, и я ему брат. Кто с одним братом хорош, тот и с другим не будет нехорош.

Сказал это, тогда свернул новый блин, повозил его в подливке и смачно причмокнул, отправив в рот. Разжевал его и не то добавил, не то растолковал загадочные свои слова:

— Не любишь ты моего брата — вот что!

— Еще чего! — изумилась Казите. — Вот ты как запел! Из какого это молитвенника взял?

— Спроси у пастушка.

— У пастушка? Ну уж, это прямо... — растерялась Казите, но тут же попыталась усмехнуться. — А что ты, Лауринелис, взъелся на пастушка? Пастушок разве не человек?

— Раз вы с пастушком одним лыком шиты, ну и подпевайте друг другу, а мы как-нибудь обойдемся... — сказал Лауринас, утирая губы. — Так я говорю?

Антанас хмыкнул, отворотил глаза в сторону. Казите вся раскраснелась, у нее даже потемнела грудь в разрезе рубахи. И вдруг она хлопнула в ладоши и весело рассмеялась.

— Эх вы, мужики, эх вы, соколы ясные! По-вашему, коль любить, так надо из мужа все соки вытягивать? А много их у него? Сам погляди, Лауринелис. Весь скрючился от работы, на чем только штаны держатся, — ткнула она пальцем в Антанелиса.

Лауринас покосился на него, Антанелис еще больше потупился. Вид у него и правда был неказистый. По чернел, глаза ввалились, плечи стали острые.

— Еле ноги волочит, а еще лезет,— смеялась Казите.— Все показать хочется, что он мужик! Только впустишь его в залу, возьмешь за руку, чтобы посидеть с ним, поговорить по-человечески, а ему только одного надо... об одном только думает. Одна копотня с таким... А на другой день сам же глядеть на меня не хочет, кричит, орет, как на лютого врага... Больно ладно мне с таким!

— Запела, сношенька,— опять зыркнул глазами на Антанелиса Лауринас.— И не пастушку бы слушать такие речи.

— С работами развяжемся, сама отворю залу,— гнула свое Казите.— Еще и пальчиком поманю: заходи, милуйся. Сам спасибо скажет, что здоровье его берегу. А ты, Лауринелис... ты, Лауринелис, бог знает что подумал!..

Слезы брызнули из глаз Казите. Выскочила она из-за стола, выбежала на двор, прикрыв глаза передником.

Братья ели молча. Ели долго, не глядя друг на друга.

— Дурак,— сказал Лауринас.— Опять-таки дурак.

После завтрака я шмыгнул в возовню поспать, и тут-то меня настигла Казите. Снова веселая, лицо — в каплях пота.

— Никак спать собрался?

— Спать...

— И шутник же ты,— улыбнулась она.— Кто же спит в такой ясный день? Видал меня когда? Вот что: покуда скотина дожидается прохлады, ты мне в огороде травы нарви.

— Какой травы?

— Свиным траву. Мокрицы, лебеды... Там всякой полно. Нарвешь две кошелки — принесешь. Потом еще две... Слышишь, как визжат свиньи?

Свиньи-то визжали, но я и сам чуть не верещал — так мне хотелось спать. Я и говорю:

— Как так рвать траву? Уговор был — после утренней пастьбы посылать меня спать.

— С кем такой уговор был?— удивилась Казите.

— Со Станисловасом. Он сказал, как пригоню утром стадо, всякий раз заставит меня поспать, чтобы после на выгоне не валялся, не пускал коров травить посевы.

— Что же это он мне ничего не сказал? — подивилась опять Казите. Заглянула мне в лицо:— Правда был такой уговор?

— Так и уговорились,— сердито ответил я.— Сперва отец попросил, а Станисловас сказал: будем укладывать. Всякое утро.

— Ну, так я прошу тебя, — сказала она. — Не приказываю, а прошу. Что ты орешь? Ты не нарвешь травы — мне самой придется, а когда мне рвать, если у меня масло не спахтано, и по горло стирки, штопки, починки?

Я промолчал.

— Ты мне обещал быть хорошим, нынче ночью обещал. Забыл? Мы с тобой наймиты. Сейчас ты мне можешь, а другой раз, может, я тебе помогу. Ты погляди... — Она показала мне свои руки.

Руки были натруженные, жесткие, точно продубленные, красные, опухшие пальцы торчали в разные стороны.

Ну и взял я корзины.

Огород был разбит за садом, на глинистом склоне, почти у самой речушки. Темнолистая капуста собиралась уж завиваться в вилки. Целой рощей узорчатой листвы разрослась морковная ботва. Бураки топорщили пестрые, в кровавых жилках, листья. И огуречные плети выкинулись между грядок, кое-где золотились на них голенастые цветочки, а местами выщелкнулись зеленые огурчики с беловатым пупырчатым брюшком. Был тут и едучий хрен, вылезала из грядки редька, а желтая брюква плотно, будто на несколько лет, усеялась в земле, хоть и веку ей отпущено лишь до осени, как и всей овощи. И все затянуто волосатой мокрицей, а где не мокрица, там бодяк, чуть не с меня вышиной, далеко раскинул шиповатые побеги. Из конца в конец огорода густо разрослась сочная зелень, а кругом жарница, а с низины то вахтой пахнет, то багульником, а от клейкого запаха молодых березок слипаются глаза, неудержимо тянет прилечь.

Наторкал я одну плетушку, другую. Ташусь с ними в гору, а дома точно все вымерло, только земля будто дышит от зноя да куры, разинув клювы, жмутся в тени. Свињи и те устали визжать. Вывалил я траву и опять — в огород. Пот с меня ручьями, от шипов бодяка вспухли руки. А когда я навалил целую гору травы и только хлопал слезившимися глазами, в избе проснулась Казите. Спала она, эта наймитка, как спали все хозяева. А теперь прошмыгнула в прохладную клеть, налила сметаны в высокую пахталку, зажала ее между ног и, шлепая поршнем, стала пахтать масло.

Лауринас тоже проснулся, услышал Казите и подошел к клетки.

— Невестка, — тихо окликнул ее.

— Что, Лауринелис? Холодного молока дать?

— Молоко никуда не денется. Я насчет обедни, невестка. Думаю, если Станисловас во сне является...

— Довольно про это, Лауринелис, покамест обойдемся... Наступит осень, родительская, тогда и закажем.

Лауринас помолчал, видать, обдумывая ее слова, потом сказал:

— Не то говоришь. А если он во сне является? Звери мы, что ли?

— Добрый ты, Лауринелис. Только надо ли сейчас? Осенью, думаю, как у всех...

— А мы, может, не как все. Мы, может, иные. Станисловас свою часть не унес с собой, так неужто поскупимся на обедню?

— Ой, какой ты добрый, Лауринелис.

— Заодно, может, и по мамаше отслужат.

— И по мамаше? — перестала пахтать Казите. — И по мамаше, говоришь?

— Не звери же, говорю. Почему бы по мамаше не заказать? Не обнищаем из-за этой обедни. Раз во сне является, — оправдывался Лауринас.

Казите выпорхнула на приклеть.

— Золотой ты человек, Лауринас!

Лауринас застыдился своей великой доброты и отвел глаза. И тут увидел меня.

— Тебе чего тут? — крикнул он, окончательно удивившись.

И опять я побрел рвать траву.

Все воскресное утро звонили колокола местечка Видугиряй. Звон отдавался над полями и холмами, в березовых рощах и темных ельниках, стряхивая росу с травы. Утих в поднебесье жаворонок, опустился на землю, побегал во ржи, подняв хохлатую головку, и стал прислушиваться к звону. И ветер унялся, перебежал нивами в ложки и там вздохнул, утих. А колокола гудели, гудели, гудели; наконец и мои коровы перестали есть и повернули головы в сторону Видугиряй.

Потом все стихло. Стало уж пригревать солнышко, трава поникла от зноя, тишина объяла поля и рощи. Но жаворонок не поднялся в поднебесье, оставался во ржи, не веря, что можно снова запеть. И ветер приутих в ложках, будто наказанный ребенок, не смея шевельнуть и былинкой.

В Видугиряй служили обедню за упокой души Станисловаса.

Потом зазвонили к поздней обедне. Заиграл орган. Прихожане пели в костеле и во время шествия вокруг костела.

Все утро, всю полуденную пору молились люди.

Лишь под вечер двинулись они по дороге к нашему хутору. Не так много было этих людей, зато самая знать. Привольно сидели они в своих бричках и линейках, натягивая намотанные на здоровенные кулаки вожжи; а вожжи у всех ременные, у некоторых еще перевитые выкрашенной в красный цвет поскониной, толстой и жесткой, как свиная кожа. Выездные кони рыли копытами дорожную пыль, а когда попадался камешек — выбивали искры и все пофыркивали, роня с удил клубы пены. А когда гости сошлись в избу, тотчас из окон раздалось пение молитв. Спели одну, помолчали, завели другую, опять помолчали. И так до вечера. До самого заката. И после заката, когда я привел домой, загнал в хлева, привязал скотину и вошел в избу.

На столах полным-полно всего. Тут и окорок, и копченые и не копченые колбасы, сушеный сыр и белый сыр с жирной сметаной, груды творога, густо уснащенного комочками масла. И столы заставлены огромными, величиной со ступу, кувшинами, с льющимся через край пенистым пивом. Казите мечется от стола к столу — потная, веселая, то к одному гостю подойдет, то к друго-

му, заговаривает, потчует, корит даже печальным голоском:

— Так и не отведаете, дорогие гостюшки? Гнушаетесь нашим угощением, долгожданные сроднички?

А рассолодевшие в своих суконных тройках гости затягивают новое песнопение, не разговаривают, не спешат приняться за яства.

Но неразговорчивее всех — Лауринас. Забился в самый дальний угол, чуть ли не на место бобылей и наймитов, положил на край стола указательный палец и глядит на этот палец, слова не скажет. Казите не раз и так и этак заговаривала с ним. А он только глядит на палец.

— Пригнал? — заметила меня Казите.— Вот и хорошо, что пригнал. Проголодался? Садись, уписывай за обе щеки, вот сюда сядь.

Подтолкнула меня за стол, поближе к печи, где угощений было не густо, придвинула хлеб, соль, тарелку с мясом, нарезанный лук.

— Лопай!— И придвинувшись поближе:— Как набьешь брюхо, сбегай к Унтулису. Скажи: просят пожаловать.

— К Унтулису?

— Просят, скажи. Пусть не возгордится, не обессудит, что поздно зовем. Скажи: ждем его.

— А как же... Лауринас? Убьет он Унтулиса.

— И Лауринас просит. Или ты, глупенький, не понимаешь? Забыл, какой нынче день? Все мы должны с людьми по-хорошему... Так и скажи: пусть выкинет из головы ясенек, и я прошу, и Лауринас просит, и Антанелис, все наше семейство. Не забудешь, как надо сказать?

Я сказал, что не забуду, только как бы Лауринас не треснул его по затылку. Лауринас сердитый.

— Дурачок! Ничего ты не понимаешь, дурачок. Как это ты не веришь, когда я тебе говорю? Поди спроси самого Лауринаса, зовет он или не зовет.

Спрашивать Лауринаса я, понятно, не пошел, и Казите опять убежала к гостям. Подсаживалась к одному, к другому, для каждого находила ласковое словцо, каждому доставала из блюда прямо пальцами лакомый кусочек, наполняла стакан пивом. И не только угощала, а успевала расспросить о болезнях детей, о шестиряд-

ном ячмене, который в прошлом году никак не хотел расти, и о мало кому известном еще суперфосфате, и о том, что рожь наливаются, а пшеница клонит уж колос, и о саженцах для сада, и о племенных быках... С каждым о чем-нибудь другом. А наговорившись, чуть ли не подталкивала локоть гостя:

— Теперь вот этого! Сама пекла, с корицей, не знаю, как удался, не с закалом ли, а то и в рот не возьмешь, как глина... Уж не побрезгуйте моей стряпней, я ведь от чистого сердца... Ай-ай, пиво как осело! Антанелис, сделай милость, открой бочонок свеженького. У гостей горло пересохло...

Антанас со счастливым лицом плелся с ведром и фонарем из избы, вышибал втулку из нового бочонка, и при каждом его ударе за столом вздрагивал Лауринас.

Гости улыбались, когда с ними заговаривала Казите, а сами брезгали: только бы не подошла, не дотронулась сальными пальцами. Будто она была больна тифом или оспой, будто и не хозяйка была, а так, проходящая или занесенная ветром соломинка. Казите все замечала, но одним глазом смотрела, другим улыбалась гостям, к каждому подлетала и все щебетливее и щебетливее сыпала ласковыми словечками. А пуще всего старалась угодить Рамошке, который с самого начала уселся в передний угол и поставил на стол оба локтя. Если возле других Казите щебетала, то возле Рамошки разливалась соловьем, подкладывала ему самые лакомые кусочки, наливала в стакан самое крепкое пиво с пышным облаком пены. Рамошка словно бы ничего не замечал, ни на кого не глядел, только первый затягивал песнопение, а после него первый начинал читать молитву, а ел понемногу и пиво лишь пригубливал. И все гости знали, что здесь сидит он, Рамошка, и что все должны сидеть, как сидит Рамошка, закусывать понемногу, пить еще меньше. Казите краснела и бледнела, вся покрывалась каплями пота, как крапива — росой, а все равно улыбалась дорогим сродникам. Только заметив меня, покрутила носом, пробралась между гостями:

— Все еще здесь торчишь? Долго еще будешь жрать? Сказано тебе: позови Унтулиса.

Отправился я в Лаужине к болоту. Отворил не запертую на засов дверь, вошел в сенцы, потом в избу.

В нос шибануло застарелым запахом дыма. В темноте кто-то спросил сонным голосом:

— Чего надо?

Сказал, кто я такой. Хотел было сказать, зачем пришел, но голос перебил меня:

— Вижу, вижу, кто ты такой. Тебя спрашивают: чего надо?

В темноте я подумал, что это Унтулис, — такой грубый был голос. Оказалось, это Унтулене.

Услышав, чего мне надо, она слезла с кровати и потом долго рылась в печной золе, покуда не нашла горячего уголька, разожгла лучину и воткнула между зубьями светца. У стен везде спали ребятишки, а больше всего вповалку, поперек кровати — под старой попоной, под какой-то одежкой, под холстиной — по правде, и не разберешь, под чем. Некоторые разметались от жары, открыв места, по которым разгуливает березовый прут, когда дети не слушаются. Унтулене принялась укрывать их, заодно шлепая ладонью то одного, то другого, то третьего. За то, что неладно лежит, а когда кончила, крикнула мужу, которого мне не было видно:

— Слышь? Чертов сын этот пришел тебя звать.

— Раз пришел звать, тогда, может, и не чертов сын...

В самом дальнем углу зашевелилось тряпье, из-под него вылез Унтулис, словно привидение из болота. Лицо — в саже, волосы торчат во все стороны, глаза красные. Встретишь такого в лесу — заорешь. Долго почесывал он то одну подмышку, то другую, потом спросил:

— Зовут, говоришь?

— Прислали меня...

— А ты и рад бежать? — крикнула Унтулене, и даже ребятишки повздрагивали во сне. — Чуть свистнет кто, покличет, как собачонку, ты и радехонек?

— Помолчи, баба. Говоришь, зовут? — снова спросил меня Унтулис.

— Велели сказать, что ждут.

— Родня они тебе? Приятели? Пес ты для них — не человек, а чуть свистнули, ты и рад бежать.

— Баба, замолчи. Значит, велели? — еще раз переспросил Унтулис.

— Сказали, чтобы не загордился, не осерчал, что поздно зовут. И ясенек чтобы выкинул из головы.

— Известное дело,— кричала Унтулене.— Слетелись туда все толстозадые, пивом налили, мяса нажрались, а теперь из милости на объедки зовут... А ты и рад бежать?

— Баба, тебе сказано?

— Беги, беги, высуня язык!— кричала Унтулене.— Свистнул хозяин собаке, так беги, лети. Ясенек выкинуть из головы... Смотри, как бы твою голову не выкинули!

На кровати попросыпались дети. Сидя, поглядели с недоумением, ничего не понимая, и опять улеглись. Унтулис будто не слышал жены, ближе подошел ко мне.

— Говоришь, просят не гордиться?

— Велели так сказать. И еще сказали, что надо со всеми по-хорошему, что Лауринас просит, ждет...

— Слышь, баба? Сам Лауринас.

— Только пойдя у меня, только попрись!— еще громче крикнула Унтулене.— Я следом за тобой побегу, окна кровопийцам проклятым выбью!

— Молчать, баба,— безо всякой злобы сказал Унтулис.— А ты беги, не жди меня,— сказал мне.— Я долго не промешкаю, вот только портки поцелее надену. Так и скажи: портки поцелее наденет.

— Я тебе так надену!— заверещала Унтулене.

— Молчи, баба. И как ты не поймешь! Раз Лауринас со мной, как со скотиной, и я с ним, как зверь, а раз он меня человеком считает, что же я с ним скотиной буду? Замолчи уж, если бог разумом не наделил.

Унтулене опять кричала, только я не расслышал что, бегом побежал домой.

А дома дядюшка Рамошка не устоял против щебетания Казите. Опрокидывал стакан густого пива, так что шея краснела, клал на тарелку ломоть ветчины либо полкруга колбасы и проворно уплетал, а затем снова тянулся за стаканом. И вскоре все гости взяли с него пример. Казите расцвела, как алый пион, и только успевала поворачиваться, от одного дорогого гостя подскакивала к другому, всем подливала густого пива, а угощала-то, упрашивала-то, будто читала молитву в костеле:

— Спасибо, милые гостюшки, за то, что кушаете, не брезгуете угощением, косо не глядите, нас не обижают. Уж и не знаю, право, от радости — не знаю... Просим всего отведать, все, что есть на столе, скушать,

все пиво выпить. Вот ведь поленились наши мужики, пруд не вырыли, некуда теперь и пиво вылить... Поэтому и просим вас все до капельки... до капельки...

И милые гостюшки, глядя на Рамошку, зашевелились, набивали за обе щеки, забывали стереть пену с усов и не о песнопениях, не о Станисловасе, вечный ему покой, шла беседа, а о том, что не все наймиты — черти рогатые, скоты, грубияны и расточители чужого добра, что и в их сословии встречается иной раз истинное сокровище. Нет, не зря говорится, что перед смертью человек глубже видит: высмотрела старая Батайтене, вечная ей память, выбрала хозяйку младшему сыну!..

— Выпьем, Антанюкас! — не один гость тянулся к нему чокнуться. — Хорош ты, хорош, только стоишь ли еще Казите? За ее здоровье, Антанюкас!..

Казите, тая от счастья, утирала слезы.

И тут Рамошка как стукнет кулаком по столу:

— Я, как староста при святом нашем костеле, так скажу. Напрямик скажу, потому как люди мы прямые, что на сердце, то и на языке, а не наоборот. Во всем приходе первый человек после настоятеля Балайшиса — я!

Сказав это, он ухватил двумя пальцами свой нос, громогласно высморкался, затем вынул из кармана носовой платок и стал утирать нос, а сам следил взглядом — все ли видят, какой богатый у него платок и как он аккуратно утирается. Все видели и все разом заговорили:

— Кто же не знает?

— Как господь бог на небесах, так и Рамошка среди нашей родни!

— Дайте сказать! — опять зарокотал Рамошка, покончив с носом. — В пасхальную заутреню либо в храмовый праздник кто носит балдахин вокруг костела или в самом костеле? И за какое древко держит? За какое, я спрашиваю?

— За переднее, за переднее! — кричали гости.

— За переднее! Впереди самого настоятеля выступаю! — гремел Рамошка. — А после вечерни настоятель всегда приглашает меня к себе и мы с ним беседуем.

— Ну да, раньше, чем каноника приглашает, — чиркнула Казите, утирая все набегающие на глаза слезы.

— Неужто раньше, чем каноника? — недоверчиво спросил сам Рамошка.

— Раньше, раньше! Своими глазами видела. В храмовый праздник, в день девы Марии Ладанницы... После службы каноник стоит в стихаре, ждет в ризнице настоятеля, а наш настоятель как раз с дядюшкой Рамошкой разговаривает. Разговаривают, а каноник ждет. В белом стихаре стоит! А настоятель взял нашего дядюшку под руку, пригласил к себе... Каноник все стоит, ждет... Потом только пригласил его настоятель. Не я одна видела, все прихожане видели.

Раскраснелся Рамошка от этих слов, так раскраснелся, что на шее жилы напряглись. А когда краска схлынула, он оглянулся на Казите — раз, и другой, и третий, а потом покрутил острые, как шило, кончики усов.

— Дай сказать,— прохрипел он, выпятив нижнюю губу.

— Дайте сказать, дайте сказать!— загомонили гости. — Шуточное ли дело! Был наш Рамошка над всеми Рамошками Рамошка, и будет наш Рамошка! Покуда земля стоит, будет Рамошка!

— Так что я говорю?— перебил их Рамошка.— Я как староста при нашем святом костеле говорю напрямик, чистую правду. Я первый поднял голос против Казите. Первый, Казите?

— Что про это поминать, милый дядюшка!

— Нет, ты погоди. Мы люди прямые, говорим без обиняков. Раз сказал — как топором отрубил. Мы вилять не любим. Вот и ты мне — напрямик, без обиняков: поднял голос против тебя или нет? Скажи, чтобы все слышали!

— Ну поднял, дядюшка, что поделаешь...

— А почему поднял? Знаешь, почему?

— Не знаю, дядюшка, миленький... И хватит, и довольно... Отведайте пива, закусите...— принялась угощать Казите.

— Не знаешь? Так я тебе скажу. Меня ксендз настоятель сажает за стол,— а скатерть, как снег,— достаёт он из шкапа темную бутылочку, на столе две стопки... Две! Наливает мне ксендз настоятель столько же, сколько и себе, и говорит: «Будь здоров, выпьем, костельный староста!» Выпиваем вдвоём с настоятелем и беседуем вдвоём! Как было дело с каноником — не припомню, может, и ждал он в белом стихаре,

может, и не ждал, чего не помню, того не помню, зато с настоятелем... мы всегда вдвоем. Выпиваем и беседуем. Вот так!

— Мало ли кому хочется с нами породниться!— загудели гости.— А ты сперва погляди. Можешь ли, годишься ли?

— Вот!— поднял палец Рамошка.— Наймит разве болеет душой за хозяйское добро? Ему бы только горячей колбаски с холодным хлебцем пожрать, разорить хозяйский дом, лишит пахаря последнего достоинства. Вот кто такой наймит! Своего нет ничего, он и зарится на чужое, норовит не дать, а взять! Как же я, честный человек, впущу в дом к Батайтисам первую встречную собаку?

Гости притихли и все смотрели на побледневшую Казите, а она, как взяла стакан с пивом, так и остановилась посреди избы. Ждала. И все гости ждали, что будет дальше.

— Мы честные пахари,— не останавливаясь, гремел Рамошка.— Мы свой хлеб едим, на чужое не заримся. Чего нам не хватает?.. Что нажито мозолистыми руками, с собой не возьмешь, в гроб не положишь... Но ты будь человеком, неси копейку в дом, а не из дому, к живым — с поклоном, к усопшим — с обедней, к сродникам — с пивом после обедни. Вот! Так мы понимаем жизнь!

Гости не могли раскумекать его слова. В головах шумело, а тут еще подогревало бока добротное сукно. Все осоловели и только хлопали глазами. Один Рамошка не поддавался, никакое пиво не свалило бы его с ног.

— Стало быть, я как староста при святом нашем костеле говорю: я первый поднял голос. Против Казите! Потому как не можем мы всякую собаку... А нынче я так скажу:— Рамошка обвел взглядом гостей — все ли смотрят на него,— и гаркнул, будто гром прогремел над избой:— Давай поцелуемся, Казите.

Он привстал с лавки, перегнулся через весь стол и протянул руки в ожидании.

Казите ничего не видела из-за слез и дрожала так, что стакан прыгал в ее руке. Поставила его на стол, опять взяла, побледнела, и тут же ее бросило в краску... А рядом уже очутился Антанелис, положил руку ей на плечо.

— Это я выбрал ее. Знал, кого беру... А ведь против всей родни...

Тут только пришли в себя милые сродники, подбежали один за другим. Антанелиса оттеснили в сторону, Казите — к Рамошке. Он обнял ее через стол, звонко поцеловал в губы.

— Вот как!

Теперь все сродники спешили чокнуться, поцеловаться с Казите. И, конечно, расхвалить. Кричали один другого громче, что кушанья так и тают во рту, что гостей рассадили по достоинству, что в этом доме мужики и правда лентяи — не вырыли пруда, теперь и пиво некуда вылить, только кто же станет выливать такое пиво? Будет выпито все до капли... до последней втулки в последнем бочонке, потому как... потому как...

— А, чего языком молоть, поцелуемся, Казите!

— И со мной, Казите!

— А со мной, Казите?

Казите переходила из рук в руки, из объятий в объятия. Начался сущий базар: все развеселились, все угощали друг друга, у всех были полные стаканы, на столе — и пышный хлеб, и горы пирогов, ломти сычуга — ешь, не наешься, а колбасы! — один запах чего стоит!..

И только Лауринас по-прежнему сидел в дальнем углу, ни к кому не тянулся чокнуться, и к нему никто не тянулся. Люди будто и не видели его, но Казите увидела. Долгла свой стакан и, виляя между гостей, пробралась к нему. Как подошла — слова не могла сказать, утирала лишь слезы.

— Чего опять? — не поднимая головы, спросил Лауринас.

— Прости ты меня, братец милый... Слезно тебя прошу... Сердце кровью обливается...

— Чего тебе?

— Такой день, Лауринелис! Сам дядюшка Рамошка... Коль я когда была с тобой нехороша либо не так слово сказала, нынче уж прости меня, Лауринелис, братец милый...

Лауринас еще ниже понурил голову. Сидел, стиснув зубы, не глядя на Казите.

— Выпей ты со мной, — упрашивала Казите, протягивая свой стакан, — такой нынче день, все так по-

хорошему, и дядюшка Рамошка вот... Чокнись со мной, не порти нам праздник...

Все гости уставились на них. Антанелис пробрался между ними, стал рядом с Казите, а Казите припала к Лауринасу, лицом в грудь уткнулась и расплакалась, да так, что кругом женщины задержали носами.

— Уж и не знаю, право...— причитала Казите,— готова в ногах у тебя валяться, только не держи на меня злобы, Лауринелис, не носи камень за пазухой. Обедню заказать позволил, пиво сварить позволил, а теперь сидишь сам не свой. И что ты такой неласковый? Коль что не так, скажи, я все от тебя приму, только не будь таким неласковым, господом богом прошу!

Но Лауринас и на сей раз не поднял головы, лишь крепче стиснул зубы. И все кругом замолчали, ждали, что будет дальше.

И тут скрипнула дверь. Вошел Унтулис. Веселый, умытый, в белехонькой холщовой рубаше. Вошел, снял шапку, поклонился в пояс.

— Слава Иисусу... Вечною вам благополучия, чтобы достаток в дом, а не из дому... Благодарствую на том, что вспомнили. Тебе, Лауринас, спасибо, и тебе, Казите.

— Тебе чего?— Лауринас, переменявшись в лице, привстал со скамейки.

— Как чего?— улыбнулся Унтулис.— Люди добрые, поглядите, каков шутник: сам позвал, сам спрашивает.

— Кто тебя звал, собака?

— Лауринелис!— вскрикнула Казите.— В такой день, Лауринелис!

Казите хотела остеречь Лауринаса, а от ее окрика Лауринас выскочил из-за стола, словно его ожгли кнутом. Сгреб Унтулиса за ворот и как принялся трясти — у того только голова моталась во все стороны.

— Тебя звали... звали... звали! Где мой ясенек... ясенек... ясенек, где, ворюга?— выкрикивал он.

— Лаурина-аас!— завизжала Казите. И как только завизжала, Лауринас размахнулся правой рукой и ударил Унтулиса, потом еще раз и еще. По голове, по лицу, по носу. Левою рукой держал, правой молотил. Унтулис обливался кровью. И не отбивался мужичишка, лишь помахивал руками, стараясь прикрыться от

ударов, а Лауринас все пуще зверел и не бил уже, а котом катал.

— Владыка небесный, убьет!— не своим голосом завопила Казите. — Топор, топор не трогай, Лауринас!— взвизгнула вдруг.— Люди добрые, родненькие, не давайте ему топора!

Топор был рядом, заткнут за лавку. И как только взвизгнула Казите, Лауринас выхватил его. Теперь закричал и Унтулис, рванулся, вывернулся и — в дверь. Лауринас с топором в руках — следом.

— А-а-а!— вопила Казите.

Все случилось так быстро, что люди только пилили пьяные глаза, не зная, верить или не верить виденному.

— Зару-убит!— вопила Казите.— Владыка милостивый, пресвятая мать божья!.. Зарубит! Спасите, люди добрые, спасите Лауринелиса! Унтулиса спасите!

Теперь только люди кинулись к дверям, толкаясь, сгрудилась у порога, поднялся крик, ругань. Казите верещала:

— Не выходите, не выходите в темные сени, всех зарубит! Огонь зажгите!..

А фонарь, как назло, пропал. Висел же в сенях, с вечера был зажжен, а тут как провалился, как и не было его.

Гости метались у порога, кое-кто сунулся было за дверь и — обратно, некоторые и вовсе отошли в сторону. А время шло, шло, шло.

Гости еще толпились у двери, Казите визжала, когда в темноте хлопнула наружная дверь. Показался Лауринас. Без топора, белый, как мел.

— Зарубил,— сказала Казите.— Заруби-ил!— что было мочи выкрикнула она.

Лауринас вздрогнул. Поднял голову, а как поглядел на Казите, то больше не спускал с нее глаз. Казите стала медленно пятиться и скрылась за спинами гостей.

Рамошка разогнал дорогих сродников. Всех разогнал. Оставил лишь Пельджюсов, мужа и жену,— самых смирных из всей родни. За весь вечер они и рта не открывали.

— Поможете тут,— сказал он.— Со столов убрать, коров подоить...

Пельджюсы, не говоря ни слова, взялись за дело. Оба уж седые, у обоих немало десятков лет за горбом, а проворные: вскоре на столах ничего не осталось, ска-терти были замочены в корыте, пол выметен, черепки битой посуды собраны. Тихо, без разговора, без возни. Будто никто ничего и не делал, а в избе на глазах все стало по-другому.

Стало светать. Рамошка велел Антанелису запрягать лошадей.

— Повезешь Лауринаса. В полиции скажешь: несчастный случай.

— В полицию? Брата? — замахал руками Антанелис.

— Скажешь — несчастный случай. Разгорячился брат Лауринас, кровь в голову ударила.

— Не могу...

— Кошка тоже не могла себя под хвостом лизнуть, а намазал хозяин горчицей — мигом вылизала. Не понимаешь, дурья голова? Мы не душегубы, не преступники. В доме случилось несчастье. Сами явились, сами признались и склоняем голову перед законом. Судите, но только по справедливости. Тогда и полиция другими глазами посмотрит. Понял?

Антанелис не стал спорить. На сей раз он не заплакал, как, бывало, плакал из-за всякого пустяка, только дрожал и никак не мог унять дрожь. Рамошка намешал водки с пивом, всыпал щепоть молотого перца и велел ему выпить. От этого лекарства у Антанелиса глаза на лоб полезли.

— Ничего, ничего,— успокаивал его Рамошка.— С этого не пронесет, а трястись перестанешь. Ступай запрягай. А где пастушок?— спросил он, хотя я был тут же, в избе.— Где ты нынче спал?

— Я не ложился,— отвечаю.

— Ты спал в сарае. Были гости, в избе не осталось места, ты и пошел в сарай.

— Не был я в сарае.

— Не был? — удивился Рамошка.— Тебя, может, плохо укладывают?

— Никто меня не укладывает.

— Тогда я тебя уложу, что ты задом наперед пойдешь — найдешь сарай! Так где ты нынче спал?

— В сарае...— промямлил я, чувствуя, что и у меня начинают дрожать поджилки, как у Антанелиса.

— Правильно,— похвалил Рамошка.— Стало быть, ты спал, ничего не слышал, ничего не видал, ничего не знаешь. Пастушки всегда спят в сарае,— добавил он.

И тут же позабыл про меня. Обернулся к Лауринасу. Тот как опустился на лавку после убийства Унтулиса, так и сидел, поставив локти на колени и обхватив ладонями лицо. Рамошка потряс его за плечи.

— Пора.

Лауринас с трудом приподнял голову.

— Приказываешь?— пошевелил побелевшими губами.

— Надо.

— Унтулис...— опять зашевелил губами Лауринас.— Не хотел я. Видит бог — не хотел...

— Хотел не хотел, а теперь надо подумать, что у нас получается. Унтулисову семью не обидим. Отсыпем ржи, дадим мешка два картошки на зиму, ну там кое-что из старой обуви, ребятишкам что-нибудь из тряпья. Много ли Унтулис зарабатывал? Мы — по-божески.

Лауринас поглядел на Рамошку и опять опустил голову.

— Тебе пора,— сказал ему Рамошка.— Я тоже с тобой, вместе поедем и вместе пойдем туда. Ты посидишь, а я поговорю с ними. Вот так!

Антанелис запряг лошадей, вошел в избу. Вместе с Рамошкой они взяли под мышки Лауринаса, оторвали от лавки. Он приостановился, не спеша огляделся по сторонам, будто это была чужая изба или будто он что-то искал, но не нашел и тогда пошел, куда его вели. Рамошка усадил его в бричку, а сам побежал в залу и вывел оттуда Казите. Глаза у нее распухли, покраснели. Как случилась беда с Лауринасом, она шмыгнула в залу и сидела там все время, глаз не казала.

— Лауринелис, миленький,— протянула обе руки, а глядела куда-то в сторону, не на миленького Лауринелиса.— Помоги тебе господь бог и пречистая дева...

Лауринас впился в нее взглядом. Долго смотрел, а потом отвернулся и сказал Рамошке:

— Едем.

Так и уехали.

Казите все стояла посреди двора. И Пельджюсы стояли в дверях. Потом, будто сговорившись, повернулись и вошли в избу. Казите осталась одна. Она уже не плакала — смотрела в ворота. Ворота были отворены.

Совсем рассвело, и я выгнал стадо.

Гоню и вижу — идет через поле Казите. Напрямик в Лаужине, к болоту, где я был накануне, и откуда вызвал к нам в дом Унтулиса. Сейчас Унтулис лежал у садовой изгороди, с головой, укрытой белой простыней. Рамошка приставил к нему какого-то родственника, чтобы посторожил до приезда полиции и доктора.

А немного спустя со стороны Лаужине показалась Унтулене. Простоволосая, бежала и размахивала руками. Следом за ней бежали дети. И мальчики и девочки. Один другого меньше. И все ревели. Позади всех полем шагала Казите.

Потом с нашего двора донеслись крики. Рыдала Унтулене, заливались плачем ребятишки, и со всех хуторов высыпали люди. Молодые, старые, женщины, дети...

В обед на дороге показалась упряжка. Пара лошадей, рессорная тележка. Седоков было трое. Как подъехали к саду, все голоса стихли. Приезжие пробыли там недолго. На дорогу снова выехала их упряжка. Но на этот раз в тележке сидела пригнувшись Унтулене, будто придерживала что-то. Трое мужчин и Унтулисы ребятишки шли позади. Шли молча. Потом все скрылись за бугром на дороге в Лаужине.

Пригнав вечером стадо, я не застал Пельджюсов. Одна Казите убиралась на дворе. От давешних слез не осталось и следа. Сняла с изгороди подойник, пошла к коровам, спросила:

— Хорошо паслось?

И, не дождавшись ответа, присела перед коровьим выменем, и струйки молока полились в подойник.

Изрядно стемнело, когда вернулся Антанелис. Без Лауринаса, без Рамошки. Молча выпряг лошадей, дал поваляться, а потом уехал выпустить их на выгон.

Как будто и прежний Антанелис, а все не тот. За ужином не проронил ни слова, руку на плечо Казите

не положил. И она встревожилась, взглянула на мужа раз, взглянула другой, села на лавку, пересела на скамеечку, сказала:

— Бричку ты зря на дворе оставил, ночью как бы не было дождя, политуру попортит.

— Проживем и без политуры.

— Кто же держит брички посреди двора?

— Завтра утром запрягать придется.

— Опять уезжаешь?

— Ты поедешь.

Сказал — и опять за ложку. Казите помолчала.

— Доказал на меня?

— Вызывают. Кто был у нас, всех вызывают. В полиции так сказали.

Кончил есть Антанелис, обошел двор, затворил ворота. Увидел, что я собрался уходить, взял за плечо:

— Куда еще?

— В Лаужине,— ответил я.

— Чего там не видел?

— Поминают там. Петь собрались...

Антанелис подтолкнул меня к печке.

— Спать ложись.

Подошел к Лауриной кровати, сдернул одеяло.

— Лягу и я. Здесь и лягу.

Погасил свет. Долго скрипела под ним кровать.

Из Лаужине доносилось пение поминальщиков. Пели тихо, но в открытые на ночь окна было слышно. Антанелис не выдержал, встал, затворил все окна.

— Задохнемся,— сказал я.

— Незачем тебе в Лаужине,— ответил он.

Недолго он спал. В темноте отворилась дверь, вплыла Казите в длинной, до полу, полотняной рубахе.

— Антанелис,— окликнула.

— Чего тебе?

— Зачем здесь лег? Своего места нет?

— Сам знаю, где мое место.

— Не дури...

Антанелис не ответил. Казите стояла посреди избы, заметная в светлой рубахе. Потом шагнула раз, другой — к кровати.

— Антанелис,— окликнула снова.

Теперь другим голосом: не ругала, а просила,

— Как же ты оставил меня одну, Антанелис, миленький? Как ты не подумал, не пожалел меня, муженек?

— Ложись и спи,— сказал Антанелис.— Или я тебе спать не даю? И ты мне дай поспать. Завтра не праздник, отдохнуть надо.

Казите, шурша отпахнувшейся рубахой, кинулась к кровати.

— Куда ты меня гонишь? Как я могу теперь?.. Что ты задумал?

— Отстань... Куда лезешь?

У Антанелиса голос был сердитый, у Казите, как у побитой собачонки.

— Антанелис, миленький ты мой... Не могу я одна в зале...

— Пастушка разбудишь,— заругался Антанелис.— Егоза! Верно, проснулся, все слышит.

— Да боюсь я, Антанелис...— стонала Казите, забравшись уж в постель.— Господи боже, как страшно одной в зале!.. Антанелис ты мой!..

— Какого черта пристала, спать не даешь?— рассвирепел Антанелис.— Зачем влезла ко мне?

— Беда за бедой валится на наш дом, кругом покойники, а ты меня гонишь?

— Не лезь. Вот как пихну!

— Не остыла еще мамашенькина могилка, как похоронили мы Станисловелиса, теперь вот наш Лауринелис... Не могу я в зале, не могу в темноте. Иисусе, пречистая дева Мария... С ума я сойду!— крикнула Казите.

— Сошла уж,— сказал Антанелис.— Пастушка наверняка разбудила, кикимора. Убирайся к себе в залу!

— Да боюсь я... Антанелис, миленький, боюсь... Везде мне мерещится Унтулис, в углу стоит... Не могу!— громко закричала Казите.

Антанелис долго молчал. Казите стучала зубами, не успокоилась она и под одеялом.

— Ну, иди, иди!— сказал Антанелис.— Раз боишься, я приду, посижу, покуда не заснешь.

— И хорошо, Антанелис, мой милый... Одна я и через сени идти боюсь. Упаду — помру... Раз я тебе не нужна, раз не мила, ты хоть посиди со мной, хоть покуда дрожь не уймется.

— Сказал, посижу, и посижу. Слезай с кровати!

— Раз ты будешь сидеть, и я тоже. Вместе посидим. Господи, за что это? Вместе не так страшно, Антанелис, ты только не оставляй меня одну...

Выбрались оба из постели, пошли к двери, а Казите прямо-таки прилипла к Антанелисову боку — не оторвать.

— Посижу и выйду,— ворчал он.— Больно мне тут надо... Раз боишься — посижу.

Вышли.

Пусто стало в избе. Окна лишь белелись, а во всех углах черным-черно и словно бы стоит кто-то. Унтулис, может, или еще кто, стоит и глядит из темноты.

Натянул я попону на голову, скукожился.

Лежу — дрожу, стучу зубами, а дверь вдруг — скрип-скрип. У меня язык отнялся. А в темноте кто-то вошел, туп-туп — по полу, остановился. Плюх — что-то в ведро с водой опустил. Пьет. Пьет, пьет... Напился, вздохнул. Опять плюхнул в воду. Пьет. Вот опять — туп-туп по полу и стук — о кочережки. Они с грохотом попадали на пол.

— А, черт бы их взял!.. — голос Антанелиса.

— Это... ты? — спрашиваю, щелкая зубами.

— Ты что не спишь?

— Уйду я от вас.

— Что так?

— Как рассветет, и уйду, не стану пасти...— говорю, а сам все дрожу от страха.— Хоть бы рассвело поскорей.

Антанелис подошел, присел у меня в ногах.

— Тебе здесь плохо?

— Не останусь, уйду.

— Как знаешь. Наймит — вольная птица: куда захотел, туда полетел.

И потом спросил:

— Тебе, значит, в полицию захотелось?

— В какую полицию? Ничего я не хочу... Хоть бы уж рассвело!

— А Унтулиса разве не ты позвал? Не ты подставил под топор?

— Я? Унтулиса? Казите велела, я и позвал.

— А кто слышал, что велела?

— Чего слышать-то, Казите сказала.

— Казите? А ты представишь свидетелей, что это Казите?— спросил Антанелис, и голос его не предвещал ничего хорошего.

Встал, зажег лампу, приспустил фитиль, осталась лишь розовая полоска огня.

— Пускай горит,— сказал.— Раз боишься темноты, пускай горит.

Подошел к ведру, зачерпнул полный всклень ковш, запрокинул голову и выпил все до дна. Зачерпнул еще ковш. Будто не из залы вернулся, а косил рожь, либо возил навоз и внутри у него все пересохло.

— Значит, в полицию захотелось?— спросил, утирая рукавом мокрые губы.

И, не дожидаясь ответа, вышел.

Ну, и времечко настало в нашем доме!

Каждое утро, задолго до зари, Казите хватала меня за ноги, вытаскивала из-под попоны и кричала:

— Свиньи визжат.

И я торопился встать, вывести из хлева коров и, куда Казите доила их, рвал свиньям траву. Так каждое утро. И после утренней пастьбы. И вечером, как пригоню стадо. Забота о траве для свиней свалилась на меня одного. А свиньи эти сущие прорвы. Жрут — не нажрут, готовы меня самого слопать. Сколько ни натащишь, ни навалишь — они знай одно: уи-и-и! Казите ругается: мало травы, даром хлеб ем, а другой раз и не ругает, добром просит.

«Чтобы ты подавилась своими свиньями!»— думаю, стиснув зубы.

А тут подошло и лето. В Юодимском лесу поспела черника и голубика. Утром Казите совала мне в руки плетеную из сосновых корней корзину, величиной чуть ли не с ведро.

— Наберешь до завтрака. Все равно бездельничаешь.

А после обеда опять эту корзину подает:

— Чем сидеть сложа руки, набери-ка...

Когда же я не выказывал большой радости и пытался сказать, что в Юодимском лесу надо не чернику с голубикой искать, а присматривать за коровами и овцами, Казите говорила:

— Рассуждаешь, как маленький. Вот подойдет осень, что мне подавать на стол, чем угощать гостей или сродников?

Всегда она была права.

Когда она варила эти ягоды, куда девала варенье — не знали ни я, ни Антанелис. Однажды он и спросил жену:

— И куда, к свиньям, ты деваешь столько ягод?

— В пустом доме ветер гуляет.

— Загоняла ты мне пастушка, почернел весь, еле ноги волочит...

— А, пожалей, пожалей пастушка. Меня ты когда пожалеешь? Когда я дождусь такого праздника?

И опять она была права. Как похоронили Станислова, увезли Лауринаса, все хозяйство легло на плечи Антанелиса и Казите. И больше всего, понятно, доставалось Казите. Мало того, что скотина и работы по дому без конца и края, а тут еще в поле: то навоз трясти, то косить, то разметать борозды, когда Антанелис сеял лен. А тут после гибели Савраски захромала другая кобыла, там балованную чернопеструю корову в лесу змея ужалила; еще и хряк в загородке ни с того ни с сего захворал: за ушами пошли красные пятна, перестал он и уголь грызть, явно собирался околеть. Пришлось покрутиться Казите; подоткнув подол, она от одного дела кидалась к другому, не успевала ни умыться, ни волосы прибрать под косынку.

— Пожалей, пожалей пастушка! — нападала она на мужа.

— Ты и на жену не похожа, ни с какого боку к тебе не подъедешь...

— Вот как ты заговорил? Теперь я и жена плохая? Тебе другой захотелось? Я уж не гожусь тебе?

— Не то говоришь... Жалко мне тебя, вот что. Извелась ты.

— Когда ты такой жалостливый, взял бы да нанял мне работницу. Да где тебе, жмоту. Ты раньше сдохнешь, чем наймешь работницу.

— Это я жмот?

— А то скажешь — нет? Со всеми работами на мне одной выезжаешь.

— Это я жмот?

Казите только рукой махнула. Поторопила нас с едой, ее ждала еще тысяча дел. Антанелис перестал есть, положил ложку.

— Где же в эту пору найти работницу? Все давно наняты, остался самый нестоящий сброд.

— Не будь ты таким пнем, давно бы наняли. В нашей нужде пригодится и дрянцо, из сил я выбилась...

— Мне дерьма не нужно, мне хорошая работница нужна.

— Рад будешь и куче дерьма, хоть какую-никакую работу свалишь, плечам полегче будет.

— Опять не то говоришь.

— Ты побудь в моей шкуре — волком завоешь.

— Я и сам не покладая рук работаю.

— Какая у мужика работа! — зло усмехнулась Казите. — Попахал до завтрака, в полдень — побороновал, блинов напоролся и на боковую. Отдохнуть ему надо. А ты тут что хочешь, то и делай, а ты тут изворачивайся, ты тут весь дом опекай и его самого, работягу-мученика. Вот и говорю: побыл бы ты в моей шкуре, отмотал бы руки, живо перестал бы скалдырничать.

Говорила Казите гневно, не давала Антанелису и рот раскрыть. Он, правда, пытался и так и сяк и наконец стукнул кулаком по столу.

— Постучи, постучи! — крикнула Казите. — Поработал бы на моем месте, не больно бы колотил по столу, рад был бы блин до рта донести!..

Антанелис, видать, понял, что ничего у него не выйдет, жену ему не перекричать. Встал из-за стола и пошел на двор, отмахиваясь на ходу, будто от роя слепней или шершней.

А в воскресенье утром запряг лошадь и умчался, никому не сказавшись.

Вернулся он лишь днем, когда время было выгонять стадо, и Казите доила коров. Вернулся не один. В тележке сидела рыжая, присадистая, краснолицая девка и щерилась, глядя на коров. Вылезала из тележки она медленно, до того медленно, что, покуда вылезала, Антанелис успел выпрячь лошадь. А когда вылезла — зялась за красный сундучок из необструганных досок, запертый на висячий замок. Я заметил, что у нее не только лицо красное, но и руки и голяшки. Красные и



толстые, как налитые. Вся она была, как налитая. Вытащила из тележки сундучок, ощерилась:

— Куда поставить?

— Неси в избу,— сказал Антанелис.

Девка подняла сундучок, пошла нога за ногу.

— Ты кого мне привез? — тоненьким голоском спросила Казите.— Ты кого это привез?

— Работницу.

— Так это, стало быть, работница?

— Сама же просила.

— Стало быть, работница?

— Работница...— подтвердил Антанелис, уже не так уверенно.— Морта.

— Сам ты Морта! Откуда ты выкопал это пугало? Хуже нигде не сыскал?

— Опять нехорошо?

— Скоро увидишь, хорошо или нехорошо, — повернулась Казите к подойнику. — Сам увидишь.

И верно, увидел. Не один Антанелис, а мы все. И очень скоро. Морта двигалась и в доме и в поле так, что нельзя было понять — двигается она или не двигается, а если двигается, то в какую сторону. Словно яйцо на голове носит. Утром, пока она возьмет подойник да пока плеснет в него воды у колодца, Казите присядет уж к третьей корове, а когда та подоит первую, Казите по дому половину дел сделает. И все она портит, роняет из рук. Снимет кувшин с изгороди — ручку отобьет, протирает окно — глядь, серебряное распятие под столом валяется, печет блины — они пригорят; все горшки у нее убегают, все вилы ломаются, из грабель выпадают зубья. Про платье лучше не говорить; где идет, за все задевает, в лоскуты рвет. И сама удивляется, что все вещи такие непрочные, что всюду набиты гвозди, везде ее подстерегают разные занозы.

Вечером, улегшись на Лауриласову кровать, она принималась расспрашивать меня:

— А хватит хозяевам сала до новой свежатины?

— Хватит,— отвечал я.— Полна подволока, всего и не съешь.

— Кхи-хи-и!— смеялась она от удовольствия.— А сычуга?

— И сычуга. Не видала, сколько их там висит, лучинками перетянуты.

— Кхи-хи-и! А колбас?

— Тебе бы только жрать!— злился я.— Больше не о чем и разговаривать?

Морта удивлялась:

— О чем же еще? Есть-то надо. Живешь у хозяев, так хоть поешь.

Она никогда не наедалась досыта. За завтраком ли, за обедом раньше всех уминала свою долю, а потом, щерясь, глядела на нас, ждала, авось, кто-нибудь поделится с ней, а ничего не дождавшись, пихала в рот, как в худой мешок, сухой хлеб. В саду она собирала опавшие червивые яблоки, а если не находила, трясла деревья, натрясет зеленых и жует. Обеими руками обрывала не покрасневшую еще смородину и жорма жрала, морщась и поеживаясь от кислоты. А когда ходила со мной в огород, то не столько рвала траву, сколько дергала молодую брюкву, счищала с нее пальцами землю и опять в рот, опять в рот.

— Завели в доме прорву!—охала Казите.—При троих мужиках хлеба на два месяца выпекала, а теперь два раза в месяц.

Она, конечно, привирала. Раньше хлеб пекли не на два, а на один месяц. Морта столько не поедала. Однако же... Когда Морте удавалось поесть вволю, по ночам ей было жарко спать. Сбрасывала с себя одеяло, а если все еще было жарко, задирала рубаху чуть не до подмышек и так спала. Я каждый раз отворачивался, проходя мимо к себе за печку, а она щерилась.

— Чего тебе?—сердился я.

— Подрастешь, будешь обращаться. Мимо не пройдешь!

Так и лежала. И не только при мне, но и при Антанелисе, когда тот прошмыгивал в избу напиться воды. Почему-то Антанелиса стала мучать каждую ночь нестерпимая жажда. Он немало пил по ночам и раньше, когда еще не было Морты. Но теперь прямо задыхался без воды. Как стемнеет, весь дом стихнет, глядь, он уж пробирается через сени. Зачерпнет ковшом и тянет, а глазами зыркает на кровать. Морта лежит себе, и пышет от нее жаром, как из протопленной бани. И щерится во сне, и никак не поймешь, по правде спит или прикидывается спящей.

— Куда запропастился, ногу, что ли, сломал?—кричит из залы Казите, не дождавшись своего Антанелиса.

Он брякает ковшом о ведро, бежит к двери. А Морта глубоко вздыхает и поворачивается на другой бок. Видать, она и правда спала.

Неизвестно, долго ли еще мучила бы Антанелиса жажда, только однажды за завтраком Қазите, ни на кого не глядя, сказала:

— Вот навозим свежего сена, и ты, красавица, перейдешь спать в сарай.

— Здорово живете. Я, что ли?

Қазите не ответила, а Морта поглядела на Антанелиса. Он тоже ничего не сказал, хотя Морта долгонько глядела на него.

— Здорово живете, а может, мне неохота,— равнодушно бросила она.

— Тебя, красавица, никто не спрашивает,— объявила Қазите.— Тебе приказано — в сарай, ты и пойдешь в сарай, а прикажут идти в другое место, ты туда и пойдешь. Понятно, красавица?

Морта ощерилась, опять взглянула на Антанелиса.

— Здорово живете. Заплатите сколько заработала, я и уйду.

Теперь Қазите уставилась на нее.

— Как это уйдешь? Уборка ржи на носу, а ты... уйдешь?

— Здорово живете. Уборка у вас на носу, а у меня не на носу. Заплатите, я и уйду.

— Понесла несуразицу,— рассердилась Қазите.— Куда ты сейчас пойдешь? Кто тебя возьмет? В такую-то пору?

— Здорово живете. Вы взяли, может, и другие возьмут.

Қазите раскраснелась, раскричалась на Морту и под конец сказала по-хорошему:

— Так и будешь бегать от одного двора к другому без жалованья, с голой задницей? Куда ты такая денешься?

— Куда-нибудь денусь.

Завтрак кончили молча. А после завтрака Қазите отвела в сторону Морту и, не глядя на нее, сказала:

— Коли так хочется, спи уж в избе.

Морта ощерилась, поплелась из избы. Қазите накинулась на Антанелиса:

— Ну, привез ты мне, вот уж привез, вот привез...

— Кто же знал...

— Здорово живете, ничего ты... Тьфу-тьфу,— плюнула Казите,— помилуй бог, и я уж заговорила, как эта коровица.

— Казите, ты послушай...

— Ну? Еще что запоешь?

— Батрака бы нам, говорю. Работы невпроворот, а при двух наймилах, может, и тебе легче будет?

— Здорово живете — тьфу-тьфу — одну уж привез. Никак не нарадуюсь. Теперь еще одного на мою шею? С ума сойдешь от радости.

— Может, на сей раз лучше получится...

— Когда у тебя что хорошо получалось?

— Может, говорю, получится...

Казите промолчала. Она уж не сердилась так, а что обдумывала про себя. Потом сказала:

— Когда так, не ты, дурень, поедешь искать.

В тот же вечер Казите вынесла из избы ведро с водой и ковшик и скамеечку из-под ведра. Поставила в сенях, недалеко от двери в залу. Ночью я слышал сквозь сон, как Антанелис пил там воду. Слышала, верно, и Морта, потому что сильно засопела, повернулась на другой бок и натянула на себя одеяло. Верно, теперь ей было не так жарко, как раньше.

На другой день было воскресенье. Хозяева поднялись рано. Антанелис запряг лошадь в бричку, а Казите вошла в клеть и вскоре выплыла оттуда пестро разодетая, в желтом шелковом платочке на голове, обутая в скрипучие и блестящие черные ботинки со шнурками и на высоких каблуках, какие здешние люди почему-то называли «бурлачками». Остановилась посреди двора, на самом видном месте, оглядела себя, повернулась кругом, потом села в бричку, взяла вожжи.

— Коров подоит Морта, но глаз с нее не спускай. Молоко сам процедишь, а бидон — в колодец. Но-о-о! — подняла она кнут. — Ждите с хорошими новостями.

Вернулась она, когда я собирался гнать стадо, как и Антанелис с Морттой. Но вернулась одна, никто не сидел с ней рядом. Шелковый платочек сбился набок, «бурлачки» расшнурованы. И вид у нее был какой-то общипанный — не то заплакала она, не то не в себе была. Антанелис молча стал распрягать, а Казите слезла наземь, разула «бурлачки», пошевелила пальцами ног.

— Весь день как в хомуте.

Взяла ботинки одной рукой, поднесла к глазам и долго разглядывала каблучки.

— Левый словно бы сбился немного. Или это мне кажется?— обернулась к мужу.

— Где же батрак? Обещала сама батрака привезти.

— Раз не был хозяином, лучше не искать батрака. Кто меня, женщину, слушать будет? Тут мужик нужен. Везде мужик нужен.

— Я было хотел, а ты меня пустила?

— Здорово живете, один раз съездил... Тьфу-тьфу, провалиться бы этой корове! Пристало к языку это «здорово живете»!

Казите вошла в избу. Антанелис повел лошадь к болоту. О батраке больше не заговаривали ни в тот, ни на другой день.

Зато начались в доме другие разговоры. Ни с того ни с сего Казите стала плакаться мужу:

— Несчастливая наша семья, и дом наш несчастливый... Мамашенька наша дорогая, вечный покой ей, померла, угасла бедняжечка, Станисловелис упокоился рядом с родителями, а с Лауринасом и не разберешь что... Сидит-сидит, а ни суда, ни вестей. Не хватает, чтобы ты еще помер!

— Пустое говоришь... С какой радости я помру? Дурак, что ли?— стал успокаивать жену Антанелис и даже руку ей на плечо положил.

— Против божьей десницы не пойдешь, векселя не напишешь.

— Все в его воле,— согласился Антанелис.— Только чего это я? Болтаешь и болтаешь...

— А ну как?..

— Опять ты...

— Куда мне тогда деться? Что меня ждет? Слетятся сродники, выгонят меня, вытолкают за ворота, как паршивую собаку, голую-босую...

— Так уж и выгонят. Пустое. Ты мне жена, не чужая.

— Жена? Раз перед алтарем рядом постояли, так и жена?

— А где еще надо постоять? Может, под кустом?

Ведь и в постели рядом. Везде рядом. Заболталась ты!

— В постели, в постели... А ребенка и нет. И не похоже, что будет.

Антанелис опустил голову, слегка покраснел, развел руками.

— Выходит, и тут я виноват? Может, скажешь, не стараюсь? Сама знаешь...

— Не в одном ребенке дело. Если все ладно будст, ребенок никуда не денется, еще успеем. Тут другие беды навалились. Сам знаешь: приданого я не принесла.

— Ну и что? По мне ты все равно хороша, мне ты сама нужна.

— А когда тебя, не дай бог, не станет? Поглядят твои сроднички мне в зубы? За ворота и иди куда глаза глядят.

Казите расплакалась, и Антанелис, не зная, что ей сказать, только нажимал на плечо.

— И жалованья мне не заплатят,— причитала Казите.— Пробыла бы столько годочков на другом месте, я бы как сыр в масле каталась, в тонком сукне ходила бы... Взять хоть Маслениса: уж как уговаривал, чего не обещал, да так по-хорошему! Не послушалась его, дурища, тебя, лапшу, пожалела. И что у меня есть? Кабы приданое еще накопила, все бы подвернулся какой-никакой бобыль с избенкой, с огородишком, и жила бы я так до конца дней своих, и муж бы любил, и дети бы почитали... А теперь что? Кто я теперь?

Антанас вскочил, заходил по избе. Покраснел, вот-вот заплачет.

— И болтаешь, и болтаешь... Боже милостивый, и что ты болтаешь?! — говорил он, хватаясь руками за голову.— Муж бы любил, муж бы любил... А я разве не муж, мне разве ты не нужна? Ты мне ой-ой как нужна. Мне ты... ну как... И дети... Будут и дети. Я поднатужусь! — выкрикнул он отчаянным голосом и остановился перед женой.

Она, будто не слыша обещаний Антанелиса, рыдала все громче. Хорошо еще, Морта, как позавтракала, поперлась в огород, а то бы щерилась тут. Антанелис, видя, что его обещания не помогают, только разводил руками.

— Прямо и не знаю... прямо и не пойму... Так чего

ты хочешь от меня? Чего тебе надо?— крикнул опять не своим голосом.

Казите вытерла слезы и сказала:

— А ничего.

— Говоришь, ничего? Ты сказала — ничего?

— Ничего мне от тебя не надо. И не хочу я ничего.

— Так чего же плачешь?

— Над собой, над собой плачу, муженек ты мой, миленький ты мой. Плачу, а некому мне и слезы утереть. Как же мне не плакать?

— Так ты... Нет, ты так не говори. Ты мне напрямик скажи: чего ты от меня добиваешься? Вижу, что добиваешься, по глазам вижу, вижу! Вот ты и скажи, чего тебе надо от меня?

— Ничего не надо, муженек ты мой ненаглядный. Ничегошеньки, богоданный ты мой, перед алтарем обрученный, ничего-то мне не надо...

Казите не только перестала плакать, а убрала со стола, задвинула в печь горшки и пошла в чулан, напевая про себя. Зато Антанелис и отдохнуть не лег. Поймал меня на дворе, когда я волок из сажалки камыш для свиней, и спросил:

— Тебе хозяйка ничего не говорила?

— Да нет.

Антанелис опасливо огляделся.

— Может, думаю, проговорила? Плачет и плачет. А чего плачет?

— Женщины всегда плачут,— растолковал я ему, вспомнив, как плакали Салямуте и старая Дирдене.

— Ты так считаешь?— обрадовался Антанелис.

— Все они,— подтвердил я.— Где женщины, там и слезы. Им все плохо.

Антанелис еще больше обрадовался.

— Ты так считаешь?

— Так оно и есть. Не веришь, сам погляди: все они плачут из-за любого пустяка; поплачут и перестанут. И хозяйка перестала. Поплакала, и хватит. Больше плакать не будет.

— Нет, ты на самом деле... на самом деле так считаешь? — все еще не мог поверить Антанелис.

Когда я повторил, что это истинная правда, он повеселел и пошел по своим делам, а я опять отправил-

ся дергать граблями из сажалки камыш и таскать его в загородку свиньям, свято веря, что сказал Антанелису правду. Напрасно я так думал. Как можно верить женщинам? Не прошло и двух дней, а Казите снова ударилась в слезы. Да и какие — хоть из дому беги. Точно помер кто опять и новые поминки затеяли. Антанелис, бледный от отчаяния, спрашивал и спрашивал:

— Ну так чего, чего ты от меня добиваешься? Что мне нужно сделать? Чего тебе надо?

— А ничего, — вытирая слезы, ответила Казите, как и в прошлый раз.

Долго повторялось это. Целую неделю, а потом и другую. Аж похудел Антанелис, по двору ходил разболтанной походкой. И лицом почернел бедняга, хотя куда бы уж больше почернеть, и солнце его иссушило и обветрило. Есть он стал мало, по ночам больше не выходил пить в темные сени. Будто тот же самый Антанелис, а на самом деле — половина, а то и треть лишь осталась от Антанелиса.

Когда дошло до этого, однажды Казите без слез, без плача, преспокойно сказала:

— Был бы ты человек, а не скот рогатый, тогда бы вспомнил меня, облегчил мне сердце.

— Помилуй, право, не скотина я, — оживился Антанелис, — ты только слово скажи, а я... а я... будто не знаешь?

— Когда ты слово скажешь, тогда, авось, и узнаю, — отрезала Казите.

— Скажу, Казите. Ты только сама скажи, что тебе нужно. Чего ты хочешь?

Казите вздохнула, долго молчала, хотя молчать было некогда, и на дворе и в поле ждала работа. Наконец сказала:

— Ксенженька-настоятель так поучал в проповеди: если хочешь спасенным быть, работай так, будто жить тебе целых сто лет, а поступай так, будто ты должен умереть нынче вечером либо завтра утром.

Замолчала, потом спросила мужа:

— Уразумел, что я сказала?

— Что-то не больно, — признался он.

— Видно, не больно хочешь понять.

— А ты еще скажи. Ты не как в проповеди, а по-

людски, как все говорят. Авось, я и пойму. Не такой уж я... бестолковый.

Казите снова вздохнула.

— Умные-то люди что делают: бумагу такую пишут. Чтобы, значит, знали, кому что полагается, кому что достанется. Чтобы все знали, не передрались потом... Многие так делают.

Антанелис как стоял, так и остолбенел. Лицо побледнело, покрылось каплями пота, глаза широко открылись.

— погоди, Казите... Ты не про завещание ли? Ты что же... Ты смерти моей дожидаясь?

— Люди-то пишут. И после живы-здоровы остаются. Ты видал, чтобы кто тут же помер, как напишет? Напишут и живут себе поживают. Много лет живут. Когда совесть спокойна, отчего бы и не пожить?

Антанелис так побелел, что Казите не могла не заметить этого. Она заметила и удивилась.

— Что так вспотел? Не захворал ли?

— Мне уж, значит... помереть? Помереть надо?

— Не дай боже,— перекрестилась Казите, а потом перекрестила и Антанелиса.— Белены ты объелся или черная кошка тебе на голову свалилась?

— Так ты... так ты...— Антанелис все не мог перевести дыхание.— Теперь мне остается помереть?

— Господи боже, дева Мария, святой Иосиф,— все пуще дивилась Казите.— Спаси и помилуй. Что ты смерть на себя накликаешь? Тебе, видать, не одна, а пять кошек на голову свалились, разум повредили!

— Да ты... да мне...

— Лапша ты, лапша, справедливо говорила мамаша, вечный ей покой,— перебила его Казите.— Поговорила, как с человеком, с разумным, про бумаги, а он на тебе... Смерти его я жду! И ты такое обо мне подумал? Так ты про меня?— раскричалась она.— Вот как ты про меня?

— погоди, Казите...

— Нет, теперь ты погоди! Ты что мне на ухо шептал по ночам? Ты мне сулил золотые горы и реки полные вина! А теперь... вот, стало быть, как ты про меня подумал? Твоей смерти я жду? Мне всю жизнь ты был нужен, был бы голый-босый, и то бы за тебя пошла, а ты вот как про меня?

Голос ее понемногу стихал, а под конец совсем

умолк. Она подняла угол фартука, громко высморкалась. Заговорил Антанелис.

— И мне ты нужна, Казите...

— А, нужна?— привскочила Казите, будто ужаленная пониже спины.— Теперь опять нужна? Поищи такую дурищу, чтобы тебе поверила! Ты... ты своей Морте на ухо нашептывай!

— Ну не могу я такую бумагу написать,— крикнул и Антанелис, не зная, как ему оправдаться.— Разве моя тут власть? Лауринас вернется, что он скажет?

— А-а, так ты говоришь, что я хочу твоего добра? Что требую все переписать на меня? Так ты говоришь?

— Чего же тебе надо?

Спросил Антанелис и поглядел на нее так, будто перед ним не Казите была, а черная туча или еще что пострашнее. Испуганный вид был у Антанелиса.

— Тебя, дурачка, мне надо!— отрезала Казите.— Тебя, волчьи твои глаза, тебя, колдун проклятый, мне надо, а на твое добро я и глядеть не хочу. Будь ты голый-босый, будь весь в язвах, как Иов из святого писания, и то бы я... я...— поперхнулась она слезами, а когда уняла их, крикнула:— Дурачок, дурачок, дурачок!..

— Да я ничего, Казите... Я право ничего... Кабы моя власть была, я бы тебе... я рад бы все до последней нитки!.. Как ты не поймешь? Или ты смеешься?

— Зашей себе ширинку своей последней ниткой!— кричала Казите.— Ничего твоего мне не нужно! Увела бы я тебя, на руках унесла бы подальше от этого распроклятого дома, от всего этого добра, чтоб оно всем глоткой повылазило!.. И чтобы между нами ничего, ничего... Чтобы тебе на ум ничего не пришло... Владыко боже, да будет воля твоя, только помоги мне горюшко мое избыть, с глупым мужем век свой домучиться!..— стала молиться Казите.— Просвети, милостивый господи, разум всем людям, покажи мое сердце всем друзьям и недругам моим, пусть увидят они, что не зверь я ненасытный, не зарюсь на чужое добро, только люблю мужа своего богоданного, только детям его крошку хлеба добыть хочу, только... я от слез света белого не вижу!..

И так горячо молилась Казите, так просила бога, что Антанелис не выдержал, стал на колени тут же

против лавки перед образом покровителя пахарей святого Исидора. Но глядел он не на Исидора, а на Казите, и не молитву читал, а повторял одно и то же имя:

— Казите... Казите... Казите...

Казите нагнулась, обняла голову мужа, поцеловала в маковку, потом помогла подняться и опять поцеловала.

— Прости меня, милый муженек. Как затмение какое на меня нашло, сама не знаю, что говорю... Ничего мне не надо, лишь бы ты был здоров, лишь бы тебе хорошо было... А я... я уж дотяну свой век, как бог даст, как велит глупое мое сердце... Прощаешь меня?

— Казите, я бы рад был...— плакал Антанелис.— Я же... сама знаешь... Да Лауринас вернется, что он скажет?

— Довольно, довольно, больше не будем говорить. Решили не говорить, и не будем говорить. Правду сказать, я Лауринасову долю и в помыслах не держала, вам обоим поровну приходится, по половине хозяйства, что Лауринасово — Лауринасу, что твое — тебе. А я Лауринасову долю и в помыслах не держала, что полагается Лауринасу, то и будет его... А теперь довольно, перестанем говорить об этом, перестанем уж! Был бы ты со мной, и хорошо, и мне больше ничего не надо. Что полагается Лауринасу, пусть и будет Лауринасово... Больше не будем говорить!

Казите выпустила из рук голову Антанелиса, отошла, взялась за дело и на самом деле перестала говорить о бумагах.

Но теперь заговорил о них Антанелис. Ходит заплаканный, работает заплаканный, а как застигнет где Казите одну, без Морты, тут же начинает:

— Ведь я бы рад, Казите. Ведь я от всей души...

— Довольно об этом,— обрывала его Казите.— Раз сказано, чего же еще?..

— Ты только пойми: я рад бы! А как быть с Лауринасом? Вернется, что еще скажет?

— Антанелис, миленький,— упрасивала его Казите.— Забот у меня полна голова, работы — невпроворот, хоть ты пожалей меня, перестань говорить... Какое мне дело до твоего Лауринаса! Его доля так его долей и останется... И не крути ты мне голову!

— Чтобы знала ты: я бы рад, но только как же без

Лауринаса? Без его ведома не могу. И свою долю не могу...

— Боже милостивый!— как в молитве сложила руки Қазите.— Заладил одно, муженек! Твоя доля — это твоя доля, причем тут Лауринас? Ты сам хозяин над своей долей! Только прошу тебя, молю, готова на колени перед тобой стать, не надо говорить об этом, не надо, не надо! Хочешь, сейчас перед тобой на колени стану?

— Да ведь я рад бы...

Қазите только руками отмахивалась, так ей тяжело было слушать мужа. А тут еще всякие беды обрушились на наш дом. Хряк весь покрылся красными пятнами и задрал ноги, не дождавшись ветеринара. Қоршуны утаскивали лучших несушек, вороны заклевали поздних гусят, скворцы тучами набрасывались на незрелые еще вишни, а в огороде стали гибнуть пчелы, да как — целыми ульями. Антанелис сметал их гусиным крылом в решето и со слезами хоронил под яблоней. Вдобавок эта разиня и растяпа Морта зашибла ногу и обрезала руку и теперь ходила вся в перевязках, припадая на одну ногу и охая на каждом шагу. Как ее угораздило обрезаться — никто не мог понять. Я тоже не мог, хоть и осмотрел нож со всех сторон. Нож был острый, крепко сидел в колодке, а колодка шершавая, как терка, — и как он мог выскользнуть, обрезать руку?

— Перед самой страдой, — охала Қазите. — Кто теперь будет снопы вязать? Прямо конец света настал.

— Я и рад бы, — утешал ее Антанелис. — Ты, Қазите, пойми: рад бы...

Вот так мы и жили. Дни шли за днями, теплые, полные запахов отрастающей отавы на покосах, с синими васильками в побелевшей ржи. Всюду щелкали клювами аисты, еще громче был звон отбиваемых кос на всех дворах, народ готовился косить рожь.

В один из таких дней хозяева с самого утра выехали из дому. Никому ни слова не сказали, запрягли лучшую бричку и сами разрядились. Морта щерилась:

— Обработала Қазите своего сухоялого! Қхи-и!

— Он не сухоялый!

— Много ты знаешь.

И такими глазами поглядела на меня, что я смсшался.

Хозяева вернулись под вечер. Ехали полевой дорогой, потом остановили лошадь и оба зашли в рожь. Надолго пропали с глаз и только завихрилась рожь в том месте, где они скрылись. А когда показались вновь, то пошли не к лошади, а к лесу, где я пас. Брели не по тропке, а напрямик, разводя руками колосья. Вышли на выгон, остановились, поглядели и заулыбались мне, и си и она.

— Гони домой,— будто и не хозяйка, поздоровалась со мной Казите.

— Еще не попас,— ответил я, как и полагается в таких случаях.

— Добрый у нас пастух,— сказал Антанелис.

— Добрый,— сказала Казите.

Антанелис отвернул полу пиджака, достал из кармана длинную конфетку, обвитую узкой блестящей бумажкой, протянул мне.

— Гостинец с ярмарки тебе.

— Нынче не ярмарка,— поблагодарил я.

— Бери, бери,— сказала Казите.— Будешь хорошо пасти, хозяин еще привезет.

Так сказала Казите, Антанелис ничего не сказал, и оба повернули обратно, опять напрямик, по ржи. Рожь белая, звенит каждой соломинкой, и васильки не такие уж лазоревые, а словно задымленные, как небо к вечеру. Поникли во ржи красные шапки клевера, и вика уж отцвела, созрели ее стручки, и дикий чеснок с вострешенными головками просится в копченый сычуг, в кадку с солеными огурцами... А Казите с Антанелисом все пробираются сквозь рожь. Подошли к бричке, сели, поехали.

Ненадолго уехали. Солнышко еще не закатилось, когда я увидел Антанелиса, отходившего от дома с длинной косой на плече. Коса с грабельками, крепко прикрученными льняной веревочкой к пятке. Рядом с Антанелисом шла Казите, повязанная белым платочком, но не шелковым, а из выбеленного росой полотна. И опять оба дошли до меня. Остановились. Антанелис снял шапку, перекрестился, поточил косу.

— Господи благослови!

Следом пошла, пятясь, Казите. Подгробала ложившуюся под косой рожь, вязала снопы. Кругом сразу запахло свежей соломой, травой и еще чем-то, будто эти

запах лежали во ржи и ждали, когда придет человек и выпустит их на волю, а теперь Антанелис отворил им ворота. Вот они и разлились, от них даже сгустился воздух над полем. Антанелис шел и шел, Казите за ним вязала снопы — толстые, с тяжелыми, бессильно свисающими колосьями и травянистыми комлями. Когда прокос дошел почти до середины поля, Антанелис остановился, вытер пот, поточил косу и вернулся назад начинать новый ряд. Вернулась и Казите. Опять пошла, проворно отирая мокрый от пота лоб. Отмахав второй ряд, Антанелис начал третий, а потом воткнул косу носком в землю и стал собирать снопы. Казите тоже. Поставили первую бабку, покрыли ее раздвинутым снопом вниз колосьями. Переглянулись и разом заулыбались. Хорошо у них это вышло.

— Благодарю тебя, боже,— сказал Антанелис.— Вот и началась страда!

— Благодарю-то, благодарю,— подхватила Казите,— только удастся ли кончить, как начали? Батрака не наняли, где тебе такое поле смахнуть?

— Раньше всегда папаша начинал,— сказал Антанелис, глядя поверх ржи вдаль.— И мамаша. Больная уж была, а выходила связать первый сноп.

— Прозевали с батраком, загодя надо было,— сказала Казите.

— Теперь я. Первый ряд мне пришлось. Если бы Станисловас был жив, он бы начал. И если бы Лауринас...

— А следом за рожью пшеница подопрет, за ней ячмень, овес. Как ты одной косой все смахнешь?

— Раз нет Станисловаса, мне приходится. И Лауринаса нет — значит, опять мне.

— Ладно, как соседи догадаются помочь. А если нет? Пропадем мы оба.

Антанелис теперь только обернулся к ней.

— Сама же не дала поехать.

— Одну привез, а что проку?

— А ты кого привезла?

— Не бабье дело за батраками ездить.

— Бабье дело — язык чесать.

Казите замолчала. Подобрала несколько колосьев со свежего жнивья, связала в пучок.

— Слушай-ка,— заговорила опять.— Вот что я ска-

жу. Как покончим с рожью, съезди-ка ты в Скодиняй, уговори.— И добавила, подняв с земли еще колосок:— Там Клеменсас.

— Клеменсас? Ты откуда знаешь?

— Батрак он хороший, а раз хороший, о нем далеко слава идет. Ляушка на него не нарадуется.

— А не нарадуется, так и уступит тебе? Пустое говоришь.

— Мне не уступит, авось, тебе уступит. Мужик с мужиком скорее сговорятся. Все тебе подсказывать? Антанелис взглянул на Казите.

— А что тебе так приспичило с Клеменсасом? Кроме него никого нет?

— Поищи — увидишь,— сурово уж отрезала Казите.— Поищи, а я погляжу, кого ты получишь. Привезешь Морту, только в штанах.

Антанелис, не ответив, положил косу на плечо и двинулся домой. За ним пошла и Казите. Я тоже погнался стадо, потому что солнце село и небо на закате багровело все гуще.

Дома, когда сели ужинать, Антанелис объявил Мorte:

— Завтра погонишь стадо в лес.

— Здорово живете, а пастушок?

— Пастушок будет в поле.

— Здорово живете...— ощерилась было опять Морта.

— Помолчи, тварь ты негодная! — напустилась на нее Казите.— Нарочно обрезала руку, лентяйка, сам черт тебя принес, посадил нам на шею!..

— Здорово живете, а ты не ругайся...

— Так сейчас же убирайся из моего дома, чтоб тебя чемер взял! Раз не слушаешься, вон отсюда, тебе сказано! Антанелис, возьми полено, дай ей между рогов, чтобы знала!

Морта перестала щериться.

— Здорово живете, могу и попасть ваших коров.

Казите выбежала на двор, хлопнув дверью. Вышел и Антанелис, не сказав ни слова Мorte.

— Свинья ты, — сказал я ей. — Ты и правда нарочно руку обрезала.

— Дурак ты, вот и говоришь,— ответила она.

— Сама очень умная! Теперь я должен за тебя снопы вязать. Больно мне надо.

— Глупый ты, вот и будешь вязать. Взял бы и сам обрезался.

Сказала, как колом оглоушила.

— Кулаков пожалел. Не был бы дураком, они бы сами вязали. Чего кулаков жалеть?

И пошла — завалилась спать.

Утром она выгнала стадо вместо меня, и Казите вручила ей краюху хлеба и ломтик сала, как настоящей пастушке. А эта пастушка ухмылялась мне в глаза.

Меня же хозяйева повели к скошенной накануне ржи. Здесь Антанелис разделся, остался в одной белой рубашке, а Казите туже стянула платком волосы на затылке. И начали... Антанелис шел с косой, а где он проходил, с хрустом ложились ряды. Высокие, один другого шире. Казите не успевала подгрести, бегом укладывала снопы, а все равно намного отставала от косца. А позади обоих я кидался от снопа к снопу, обхватывал его и переворачивал на другой бок, чтобы засунуть за опояску скрученные концы свясла. Отставал я от Казите, верно, раза в три больше, чем она от Антанелиса. И уж не видел, где она, где Антанелис, где солнце...

Так до раннего завтрака.

Когда подошло время завтракать, Казите развернула сырую тряпицу, разложила возле бабки белый сыр, и масло, и хлеб с солью, а из-под бабки достала большой кувшин воды с размоченными корками. Подозвала меня.

— Что у тебя глаза ошалелые?

— А я знаю?

— Не умеешь снопы вязать. Концы свясла скручивай только и заламывай. Зачем еще за опояску затыкаешь? Гляди, что у тебя с руками!

Руки и правда не походили уж на руки — вызеленные, опухшие, все в крови, под ногтями запеклась кровь. А уж горели-то, будто я не снопы вязал, а в пекле смолу размешивал.

— Как ты выдержишь всю страду?— ругалась Казите.

Я и сам не знал, как выдержу. Тут подошел Антанелис, долго пил, наклонив кувшин, потом сел закусывать и объявил:

— Не везет нам в этом году с наймитами.

— Вот тут твоя правда, — согласилась Казите, запуская в хлеб белые острые зубы.

Кругом, куда глаз хватил, лязгали косы, белели рубахи косцов и платочки вязальщиц. Ведь как будто люди сеяли и пшеницу, и ячмень, и овес, посадили узкие загоны картошки, а теперь казалось, что ничего больше и не было, одна рожь, рожь, рожь. И все во ржи. Ни души не осталось ни на нашем хуторе, ни на других.

— С этими наймитами далеко не уйдем, никуда они не годятся, — сказала Казите.

— Сам вижу, — ссылая в рот крошки хлеба и сыра, ответил Антанелис.

— Без Клеменсаса — дело дрянь.

Антанелис харкнул, чуть не подавившись крошками, но ничего не сказал. Казите торопила есть: время и за едой не стоит на месте, солнце все выше поднимается, много ли успеешь до завтрака? А после завтрака, глядь, и дня чуть-чуть осталось. Потом не выдержала — опять заговорила:

— Меня, бабу, слушать не станет, а тебя послушает.

— Не поеду, — со злостью сказал Антанелис. — Ляушка мне не кум, не приятель, а все равно не поеду отбивать у него батрака.

— Зачем ехать? Разве я сказала, чтобы поехал? Как скосим рожь, в воскресенье встретишь в местечке Клеменсаса. Во время обедни мужики у костельного двора стоят, вот и встретишь, и увидишь. Позовешь выпить пива, а там слово за словом...

— По корчмам с наймитами?

— Когда ты боишься корчмы, позови домой, к нам. Я стол скатертью накрою, того-сего подам... Вот так.

Антанелис молчал. Он кончил закусывать, встал, подтянул штаны.

— У меня голова кругом идет. Помогла бы ты лучше пастушку, чуть не на семь миль отстал.

И пошел. Начал новый ряд.

Вслед за ним вскочила Казите, за ней я.

Весь день косили, а вечером оглянулись вокруг — как стояла рожь море-море, клоня долу колосья, так и осталась, будто не тронутая косой. Покуда Антанелис и Казите стаскивали снопы и ставили бабки, я догнал их с вязкой, и в сумерки уж мы пошли домой. Даже Казите молчала от усталости.

Дома — ни горячего варева, ни блинка. Недоенные коровы беспокойно бегали по двору, свиньи, не получив за день ни былинки, визжали как бесноватые. А Морта стояла посреди двора, жевала ломоть хлеба.

— Убью...— процедил сквозь зубы Антанелис.

— А что проку?— спросила Казите.— Говорю же, без Клеменсаса — дело дрянь.

Схватила подойник, побежала к коровам. Антанелис в темноте достал с подволоки сычуг, полкуска сала и, нарезав прямо на столе, большими кусками совал себе в рот, бормоча:

— Это называется жизнь...

Лишь поздно вечером улеглись мы спать. Перед этим Казите налила из бидона сливок, холодных как лед, оттого что бидон весь день провисел в колоде, обмыла, обмазала мне руки, а потом обмотала их влажными тряпочками и обвязала. Руки горели, будто я обмакнул их в кипящее сало, зато к утру побелели и стали мягкие, как без костей.

Еще и не рассвело путем, а мы уже втроем опять — в рожь, от ночной росы еще ниже клонившую колос.

На весь день.

А на четвертый день перед завтраком, когда на спине уж и пота не осталось — одна соль, подошел к нашему полю соседский батрак Андриус в соломенной шляпе и с косою на плече. А вместе с ним — хозяйская дочь Уршуле, тонкая и стройная, какими бывают выросшие на хороших хлебах девушки. Оба улыбались.

— Бог помочь!

— Спасибо, спасибо,— защебетала Казите, хотя сама еле двигалась, как муха, только что выбравшаяся из горшка с сывороткой.— У себя кончили?

— С божьей помощью.

Андриус поточил косу, надвинул шляпу на глаза, стал вплотную позади Антанелиса.

— Держись, хозяин.

И Уршуле стала за ним. Она не только подгробала, а сама и вязала снопы, не отставая от своего косца ни на шаг. Казите покраснела, увидев это, и сама принялась вязать, хоть и не каждый, а второй либо третий сноп.

С другой стороны тоже подошли двое помогать, стали позади Андрюса и Уршуле. Шли и с третьей стороны. Не пара, а двое косцов и три вязальщицы. И с четвертой стороны заблестели косы над соломенными шляпами.

Дрогнуло ржаное поле, видя такую рать.

— Джяр-р — джяр-р — джик...

И ложилась рожь, как падает дубовая роща, не успевая застонать, с глубоким вздохом.

— Джяр-р — джик, джяр-р — джик...

Антанелис приостановился, окинул взглядом поле, поманил Казите.

— Беги домой. Угощение готовь...

— Смеешься, что ли? Нынче не скосим.

— Скосим, — опять окинув взглядом поле, сказал Антанелис. — Видишь, как валят? Может, только в сумерки, а все равно кончим. Чтобы стол ломился — слышишь?

— Смеешься...

— Делай, что муж велит, — рассердился Антанелис.

Казите помчалась по жнивью. На ее место стала другая вязальщица. Все поняли: угощение на самом деле будет на славу. Еще звучнее зазвенели косы, и с хрустом валилась белая стена ржи.

Однако дотянули до поздних сумерек. Когда поставили последнюю бабку, не так легко было различить, где тут бабка, где человек.

Зато когда добрались до нашего хутора, в избе ярко горела лампа, как тогда в пасхальный вечер. И стол был как на пасху, только яйца были белые, а не пестрые, крашенные луковой шелухой. И Антанелис открыл бочонок с пивом. Так уж водится у хуторян: кажется, гости выпили все до капли, до самого дна, а там, глядишь, стоит еще бочонок, дожидается нужного человека. Кроме пива, Антанелис внес в каждой руке по пузатой бутылке темного стекла с засмоленными пробками.

Хоть и давно требовали своего желудки, но помочане не спешили сесть за стол, а всей толпой повалили за сад, где родниковая речушка крутила холодные водовороты. За одной вербой бултыхались и гомонили мужчины, за другой — женщины. Все с буро-красными от загара шеями, с белыми как творог боками, и как

смолой пропитанные потом. Такой крик подняли, так брызгались, что старик-месяц в вышине наклонил голову и ухмылялся от уха до уха. Вдоволь наплавались косцы и в липнувших к мокрым спинам рубахах побежали в избу.

И тут началось...

Занялась заря, и солнышко встало, и раз сто собирались уходить косцы, но все не уходили, отпустили только вязальщиц, а сами опять за стол, к кувшину. Пили и пиво и из бутылок, которые тащил и тащил из кладовой Антанелис, словно их там была целая прорва,— целовались с хозяином, один за другим обнимали его. От счастья он даже прослезился и положил руку на плечо Казите.

— Хорошо, Казите, а? Хорошо?

Казите стяхнула его руку.

— Когда будет здесь Клеменсас, тогда скажем, что хорошо.

Антанелис снова прослезился и яригрозил жене:

— Закачу тебе оплеуху, баба... Ой, закачу!

Я выгнал стадо, так и не узнав, закатил он ей оплеуху или нет. Вряд ли. Когда со слезами грозятся, редко исполняют. Так и Алаушас говорил.

Настало воскресенье. И хотя после уборки ржи хозеява еле ноги таскали, как после тяжелой болезни, Антанелис собрался в костел. И работать надо, и отдыхать надо, однако надо и богу помолиться. А как же иначе?

Собралась ехать с Антанелисом и Морта. Как убрали рожь, она выздоровела и стала проситься:

— Дома побывать надо. Мама хворает, и тятя...

— Прямо-таки возьмет и помрет твой тятя!— разъярилась Казите.— Много ли тут прожила, а уж пошататься охота?

— Здорово живете, а ну как помрет?.. Не повидавшись со мной, помрет... Братья так и норовят у него из-под бока все заграбастать.

— Чего там грабастать, все вы голь перекатная,— заругался и Антанелис.— И какие еще братья? Откуда взялись? Нет у тебя братьев.

— Трое братьев. По воскресеньям всех домой отпускают, а мне, здорово живете, нельзя?

Антанелис было раскричался, но вмешалась Казите — видно, вышла из терпения.

— Пусть ее проваливает. Много проку от нее, коровы!

— А ты? Не поедешь в костел?

— Дома побуду. Мы тут с пастушком.

— А мне, значит, посадишь в бричку это чучело?

— Кого привез, того и посажу. Довезешь до местечка. Пускай люди видят: мы не звери, наймитов пешком не гоняем.

Так и уехали Антанелис с Мортой, сели рядком, как равные. Только глядели в разные стороны.

После обедни с проповедью и после вечерни, лишь совсем под вечер, вернулся Антанелис. И опять не один. Только не с Мортой, а с Клеменсасом. Оба красные как раки. Издали заметно было, что оба хвативши. Клеменсас сидел в бричке, правил, Антанелис шел рядом, покачиваясь, и все пытался хлестнуть лошадь кнутом. Клеменсас придержал ее.

— Садись, хозяин. Садись в бричку, поедем домой. Не годится так.

— Не сяду! — крикнул Антанелис.

— Тогда и я слезу.

— Ты сиди. Мне для тебя коня жалко? Но-о-о! — замахнулся Антанелис кнутом.

Клеменсас опять придержал лошадь, стал уговаривать Антанелиса сесть, а тот не садился, кричал:

— Может, мне коня жалко, вот и не сажусь! Мне всех жалко, всех!..

Так они поравнялись со мной. Антанелис вытянул руку, показал:

— Пастушок это.

— Знаю, знаю. Знакомый.

— Мой пастушок.

— Знаю, хозяин.

— Хороший пастушок.

— Должно быть, — согласился Клеменсас. — Какого попало хозяин не стал бы держать.

— Правда. Истинную правду сказал, Клеменсас! А зачем домой? Нашли дурака!.. Гостинца с ярмарки хочешь? — спросил меня.

— У тебя нет, — ответил я.

— Ай-ай, и правда, нет, — удивился Антанелис, шаря по карманам. — Клеменсас, гостинец мы покупали?

— Не покупали, хозяин. И не ярмарка нынче, как же купишь?

— Ага... Так ты говоришь, не покупали?

— Ничего не покупали. Поедем, хозяин. Хозяйка, наверно, дожидается.

— Подождет. Баба и должна ждать,— объяснил Антанелис.— Да ты не знаешь. Что ты знаешь? Бабы у тебя нет. А пастушок хороший... Хороший пастушок. Все хороше: пастушок хороший, конь вот этот хороший... Один я... я...

Антанелис готов был заплакать.

— А ты знаешь, Клеменсас, как меня прозвала мамаша? Лапшой она меня. Бывало, кличет: «Лапша!» И я иду. «Лапша» — бывало... По имени не называла...

Клеменсас уже не отвечал ему. Вылез из брички, обхватил его поперек туловища, уложил в бричку. Силач был Клеменсас. Плечистый, с широкой грудью.

— Пошел!— погнал лошадь.

Антанелис лежал поперек брички, свесив с нее голову, тряся от езды и кричал мне:

— Хороший ты...

И расплакался всерьез.

Вечером, когда я пригнал стадо, он храпел в зале так, что стекла звенели. Казите выскочила из избы доить коров, дожевывая на ходу кусок. Разрумянилась. Присела возле пеструхи с подойником. Вышел на двор и Клеменсас. Прошелся из конца в конец. Сапоги с высокими голенищами начищены до блеска, каблуки подбиты стальными подковками — цок-цок!.. Заломил набок фуражку:

— Домой пойду.

— Как ты сейчас пойдешь? — всполошилась, перестала доить Казите.— Бредишь, что ли? Сейчас с коровами разделаюсь, посидим, поговорим.

— Ночь на дворе.

— Беда какая! Постелю, достану перину, и выспишься. Морта нынче не вернется, кровать свободная. Не сдохнет Ляушка, если побудет утро без тебя. После завтрака и явишься. А сейчас, в ночную пору, куда? Заходи в избу, а я сейчас, сейчас. Или тебе не по вкусу моя стряпня?

— Да уж насиделись.

— Много ли мы сидели? И поговорить надо, сам понимаешь.

— Да уж наговорились.

— Надо. Надо, Клеменсас. Дай кончить, я сейчас... Она опять стала доить.

— Большой надобности нет,— спорил он еще, но не ушел, прогуливался по двору — цок-цок...

Казите заторопилась с доением, а когда кончила и процедила молоко, в избу не зашла, а повела Клеменсаса на приклеть.

— Пастушок за печкой дрыхнет, еще услышит. Присядь здесь, и я присяду. Свежего пива налью, есть сушеный сыр. Поговорить надо...

Пиво наливали и грызли сыр в темноте. И разговаривали в темноте. Но окна в избе, как всегда, стояли настежь, и каждое слово отдавалось у меня в ушах. Говорила больше Казите, а Клеменсас изредка и как безменом по стене — бух-бух...

— Клеменсас, сколько еще будешь сердце томить? Отчего не скажешь последнего слова? Согласен или не согласен? Ты скажи, чтобы я твердо знала...

— Что я буду разговаривать? Тебя не вразумишь.

— А ты скажи, может, вразумишь. Согласен, не согласен?

— На пасху тебе было сказано, и когда ты к Ляушке приезжала, я опять сказал. Какой еще сказ тебе нужен? Не вразумишь тебя.

— Ой, не то говоришь, Клеменселис. Не таких слов я ждала от тебя. И что ты такой бесчувственный, говоришь со мной, всегда насупившись? Владыка боже, подумать только!.. Живу, а только и радости у меня, что с утра до вечера о тебе думаю. Неужто не поймешь, не уразумеешь, какова моя жизнь? Горькая, как полынь, она, слезами глаза выедает. Клеменсас, сокол мой...

— Живешь ведь, не помираешь,— отрубил Клеменсас.

— Пусть тебе сам бог простит, а я прощаю и такие слова, Клеменсас. Знал бы, как не помираю, не сказал бы так...

— Что искала, то и нашла. А теперь лазаря запела? Казите всхлинула.

— Клеменсас,— сказала чуть поспокойнее,— а кабы мы поженились? Много бы счастья видели? По правде сказать? Ни кола ни двора. Разве в испольщики пошли бы? И в испольщики с тем, что есть, не пойдешь. Лошадь нужна, телега, борона... Ничего же у нас нет.

— У тебя теперь земля есть и муж в придачу.

— Каменный ты, Клеменсас. Для себя я хотела эту землю?

— Не для господа же бога.

— Не насмехайся, Клеменсас,— сказала Казите и долго потом молчала — может, раздумывала, говорить ли ей дальше.

Молчал и Клеменсас, только закурил, на приклетки блеснул огонек. Потом слышно было, как пили пиво.

— Только захоти — все твое будет!

Тоненько, резко звякнул стакан. Видать, Клеменсас выпустил из рук или нечаянно выронил.

— Ты попонятней скажи, а загадки не загадывай.

— Переходи к нам — и без сказа увидишь.

Клеменсас докурил цигарку, опять, видать, свернул и закурил — даже искры посыпались в темноте.

Казите тяжело вздохнула и тихо сказала:

— Все глаза я проглядела, все сердце у меня иссохло, Клеменсас... Сам знаешь — не могу я без тебя.

— После обеда вспомнила про ложку?

Видать, Клеменсасу вовсе не жалко было Казите, хотя она плакала чуть ли не в голос и громко шмыгала носом, так что я долго дивился, как это не проснет-ся Антанелис.

— Ударил бы лучше обухом, один конец... Где у тебя сердце, Клеменсас?

— А у тебя где? Какое еще тебе сердце?— тихонько заговорил он.— Сама знаешь, как я тебя добивался, сколько раз об этом было говорено и переговорено. Как ты позвенчалась со своим Антанелисом, у меня свет померк в глазах. Бывало, пашу, а земля под лемехом плачет... С чего же меня в Скодиняй, в такую даль, погнало? Поближе меня бы не наняли? Я такой работник, что всегда получу хозяина, какого хочу и где хочу. Это, чтобы ветер с твоей стороны не подул, чтобы собачий лай с твоего двора не донесся — вот почему. Какое же сердце ты ищешь?

— Клеменселис, горе ты мое...

— Очень нужны мне твои слезы. Прискакала в Скодиняй, а зачем? Разбередила все, переворошила в сердце, как последняя свинья, теперь — на мужа натравила... Какое черта тебе надо от меня? Чего ты хочешь?

— Клеменсас, Клеменсас...

— Теперь ты «Клеменсас, Клеменсас»... Где ты была, когда шла к алтарю с Антанелисом? Подумала, каково мне? Я чуть не повесился в тот день, с ума сошел! Подумала, спрашиваю? Ты за землей потянулась, вот и все твои думы!

— Клеменсас...

— Что еще запоешь?

— Ты только... Виновата я, знаю, уж и не спорю... Ты только перейди к нам на хутор. Христом богом прошу... Я хоть и замужняя, а не рожала еще, одна как перст, по рукам, по ногам не связана... И опять тебе скажу: что здесь мое, то и твое. Одной мне ничего не надо.

— Опять загадки загадываешь.

— Кабы захотел — разгадал бы мои загадки. Станисловаса-то не стало...

— А при чем тут Станисловас? Не за него ты вышла.

— И Лауринаса нет. Десять лет его дома не будет, а то и все двадцать. Сочти-ка — это всю жизнь.

— Погоди... Куда ты клонишь?

— Не клою, а напрямик говорю. И еще одно скажу: Антанелис и тот не вечен. Я тебе как перед богом...

— Погоди... — пыхнул огоньком сигарки Клеменсас.

— Лапша, плакса он, тряпка, — потише сказала Казите. — Долго ли протянет? Не завтра, так послезавтра ноги задерет...

Клеменсас встал с приквети. Слышно было — быстро встал, вскочил прямо. Прошел несколько шагов — цок-цок...

— Одни останемся. Ты да я, больше никого. Больше никого на всем хуторе.

— Сбесилась?

— Одни мы. Вдвоем. И все здесь — твое.

— Я тебя спрашиваю: ты совсем сбесилась?

Казите помолчала, позвала:

— Подойди поближе, Клеменсас.

— Ну?

— Ближе подойди.

Послышались осторожные шаги.

— Говори, адова душа.

— Клеменсас, Антанелис ведь отписал мне свою долю... Как артачился, как отбрыкивался, а отписал. При-

перла я его, лапшу. Теперь я тут полная хозяйка. И ты хозяин.

Помолчала Казите и весело спросила:

— Что ты теперь скажешь?

— Бестия ты!

— Хи-хи-хи,— рассмеялась Казите.— Теперь сам видишь, нужен ты мне или нет. Все сделала, мой ты будешь.

— Бестия! Адова душа!— переменявшимся голосом сказал Клеменсас.

— Хи-хи-хи! Когда же тебя ждать, Клеменселис? А может, и не уйдешь нынче, сразу уж?

Из темноты слышались удары. Что-то шмякнулось наземь. Не сразу заплакала Казите. А когда заплакала, крикнула пегромко:

— Клеменсас!.. Так-то ты? За что? Господи!..

— Убить тебя мало! Зверь ты кровожадный — куница проклятая, ласка, змея!..

И один за другим — удары.

— Клеменсас!.. Господи... Для тебя же я... Чтобы в счастье нам...

— Молчи, выдра! И больше не лезь ко мне. Убью!— громко выкрикнул Клеменсас.

И отошел, бегом побежал. Цок-цок-цок — за ворота. Потом все дальше, дальше.

— Клеменса-ас!— рыдала Казите, упав наземь.

А Клеменсаса и след простыл. Ушел. Умчался как ветер домой, под соломенную крышу, к старушке-матери, а может, в Скодиняй, к Ляушке, где утром ждала его работа.

Казите все плакала.

Жили мы, поживали. День за днем, ночь за ночью. Дождей не было, рожь на славу высохла в суслонах, и Антанелис поспешил свезти ее в ригу. Возил не один, а с новым батраком Йокубелисом, которого он нанял как-то в воскресенье и привез домой. Батрак был небольшого роста, рыжеватый и весь в веснушках, зато уж проворен — сущий живчик. В первую же ночь, оставив лошадей на лугу, вернулся из ночного, просунул голову в окно:

— Морта! Слышишь, короза?

Морта мигом проснулась, вылезла из постели, за-топала босыми пятками в сени.

— Кхи-кхи,— засмеялась, выйдя на двор.

— Живей ты, корова,— нетерпеливо покрикивал Йокубелис.— Долго тебя ждать?

Пошли через двор, как будто к риге.

Под утро Морта вернулась в избу. Хлопнулась на кровать, как убитая, захрапела. Так заспалась, что Казите еле вытащила ее доить коров.

С той ночи так и повелось: выедет Йокубелис с лошадьми — глядь, опять он на дворе, перевесился через подоконник.

— Морта, корова....

Знали или нет хозяева об этих ночных гуляниях — не поймешь. Только Казите больше не выносила по вечерам ведро с водой в сени, а оставляла в избе, где стояли кочерги. И Антанелиса перестала одолевать по ночам жажда. Редко когда загремит ковш о ведро.

Стало быть, возили они с Йокубелисом рожь, и все больше места на жнивье освобождали для моего стада.

Раньше всех выбежали из лесу овцы, за ними с оглядкой вышли коровы, выскочили телята. Напасется, уймется мое стадо — хочешь, полеживай, грей на солнце пузо, хочешь — пой или посвистывай — ни хлопот тебе, ни забот.

В поле пшеница догоняла рожь. Вслед за ними спешил ячмень, шевеля длинными усами. И пьяный от солнца овес размахивал растрепанными метелками. А там картошка отцвела, порыжел на поднятой залежи лен. Много всяких работ дождалось людских рук.

Как нахмурилась Казите с того самого вечера, так и ходила чернее тучи. Буркнет слово — и не поймешь, чего она хочет, чего не хочет. Будто и не хозяйка здесь, а так, сбоку припеку, наймитка, как и раньше, или еще хуже наймитки. На что неприметлив был Антанелис, и тот задумался, положил ей руку на плечо.

— Неможется тебе? Ведь хорошо же, Казите? Все теперь хорошо? А, Казите?

Она только носом шмыгнула.

Так и шли дни за днями.

Наконец прислали из суда повестки: вызывали Антанелиса и Казите. Как укатили, целых два дня пропадали. Казите вернулась заплаканная, с опухшими

скулами, Антанелис — веселый, довольный и чуть подвыпивший.

— И чего убиваешься? — утешал он жену. — Лучше бы Рамошку поблагодарили. Не будь его, упекли бы нашего Лауринаса годков на десять! Самое меньшее — на десять! А теперь что? Всего-навсего четыре года... Пустяки! А ты из-за слез и спасибо сказать забыла, и в гости пригласить... Куда это годится?

Казите не отвечала.

— Ты до-обрая, — довольным голосом протянул Антанелис. — Сейчас только увидел, какая ты добрая. И ругались вы с Лауринасом, спорили на каждом шагу, а как плачешь по нем. А, плачешь! Нет, Казите, золотое у тебя сердце! Как ладан в кадиле у тебя сердце, как... не знаю что. Перестань плакать. Долго ли это — четыре года? Глядишь, как-нибудь к вечеру и вернется наш Лауринас.

— Дурак! — крикнула Казите. — Набитый дурак!..

На дворе стало прохладнее. По вечерам на хуторах сидели уж при огне. Я больше не пригонял стадо к полудню, перестал и рвать траву в огороде и дергать из пруда камыш. Осень припасла свиньям вдоволь мякины и ухоботья, червивых яблок и слив подо всеми садовыми изгородями. Лопайте, сколько влезет!

И дома было все спокойно. Всяк знал свое место и свое дело.

Как-то раз вздумалось хозяину попробовать луку. Сам вырвал из грядки, сам сполоснул у колодца и за завтраком откусил от белой, крупной луковицы, так что брызнул горький, жгучий сок. Откусил, и тут Казите как крикнет:

— Выбрось куда хочешь эту мерзость! Выбрось, говорю!

И ни с того ни с сего побледнела. Побелела даже, губы и то стали серые. Зажала рукой рот:

— Выбрось!..

Выбежала из-за стола и в дверь, все так же прикрывая рукой рот.

Антанелис стоял столбом с кусочком луковицы в зубах.

— Что это с ней? — кое-как пришел в себя.

Йокубелис подтолкнул под столом Морту. Она тут же:

— Кхи-хи-хи!

Но Антанелис не услышал, погнался за Казите. Скоро он вернулся — бледный, растерянный, с дрожащими руками.

— Где ковш?— кинулся в угол с кочергами.— Вечно ничего не доищешься! Свежей воды не могут прикести... И что это с ней, чтостряслось?

— Кхи-хи!— захихикала Морта.

— Какого черта?— обернулся Антанелис.— Чего ржешь?

— Кхи-и...

Антанелис брякнул ковшом о пустое ведро, подошел к столу.

— Я тебе посмеюсь. Я так посмеюсь!

— Хозяин, ты что, маленький?— отозвался Йокубелис.— Не знаешь, отчего бабы блюют?

— Кхи-и...

Антанелис, выпучив глаза, глядел на Йокубелиса. И чем дольше глядел, тем сильнее розовело его лицо. Подскочил ближе, схватил обеими руками за ворот.

— Ты так считаешь? Верно, так считаешь?

— Замачивай солод, хозяин. Подыскивай кумовьев.

Антанелис выпустил Йокубелиса. Стоял и глядел на него. И вдруг начал смеяться. Сначала потихоньку, потом даже ногами затопал, подпер руками бока — до того развеселился. Схватил ведро с ковшом и бегом в дверь, а на дворе крикнул во все горло:

— Казите-е! Сын у нас родится, Казите-е!

После завтрака увидел Казите и я. Она стояла у хлеба, держалась рукой за стену. С осунувшимся лицом, сгорбившаяся. Неподвижный взгляд ее был устремлен куда-то в поле. А рядом стоял Антанелис с расплывшимся от счастья лицом. В одной руке держал ковш, другой мял плечо Казите. И веселым голосом спрашивал и спрашивал:

— Теперь тебе хорошо, Казите? Теперь хорошо?

Отработал я год у Батайтисов, опять явился домой. Только не надолго. Не прошло и половины мясоеда, а я уж очутился у новых хозяев, на новом месте. Да еще на каком — в усадьбе настоятеля костела.

Самым главным здесь был, понятно, сам ксендз-настоятель Балайшис. В первый же вечер, не дав мне и ног отогреть, повели к нему «показывать», но настоятель не стал и разглядывать, а сразу улыбнулся и спросил:

— Ну, что скажешь хорошего?

— Приехал вот...— проямлил я, не зная, как полагается разговаривать с настоятелем.

— Вижу, что приехал. А еще что скажешь?

Стоит передо мной — здоровенный, высокий, прямо колокольня. Конечно, мне приходилось видеть его и раньше. Найдется ли такой пастух, чтобы ни разу не видел настоятеля! По воскресеньям он вперемешку с викарием служил обедню перед главным алтарем, а потом, опять же вперемешку с викарием, читал с амвона проповедь. Его все видали, весь приход. Я тоже видал. Но одно дело увидеть настоятеля перед главным алтарем и совсем другое дело, когда он прямо перед тобой, пальцем можно в него ткнуть. Там он был с го-

ловы до пят в золоте, голова что серебряная, а когда оборачивался к молящимся с высоко воздетыми дарами, умолкал орган и все, как один падали на колени и низко-низко склоняли головы. Или когда по окончании службы говорил с амвона. Бывало, как примется отчитывать всех, кто хлещет самогон, распутничает, прелюбодействует, крадет и занимается всякими непотребными делами,— так мужики только побледнеют и стиснут зубы, зато бабы опять бухаются на колени и в слезы, будто кругом одни святые, а воруют и распутничают только они, бабы.

Вот каков настоятель был издали. А теперь он стоял передо мной, прислонясь к большому черному столу, заваленному бумагами и книгами. Сутана расстегнута, из-под нее виднеется ширинка штанов, тоже расстегнутая. Сама сутана залоснилась, местами в пятнах. Должно быть, воском закапана, а может, еще чем. Поди угадай, откуда у настоятеля на сутане пятна. Обшлага обтерханы, обмохрились. Видать, не в этом году сшил настоятель сутану. Да и не в прошлом. А может, и не в позапрошлом.

Глядит он на меня сверху, склонив голову набок, и усмехается, ждет, что я ему скажу, и, не дождавшись, спрашивает:

— Так что еще мне скажешь?

— Меня Раполас нанял...

— Знаю,— прерывает меня настоятель.— Раполас всех нанимает. Всех батраков. Что же ты все рассказываешь, что я и сам знаю? Ты что-нибудь новенькое расскажи. Или у тебя ничего новенького нет?

— Так ничего же...— промямлил я.— Вот стадо буду пасти...

— Стадо пасти? Что же тут нового? На то ты и пастух,— с горечью сказал настоятель.— По крайней мере будешь стараться?

— Буду стараться!

На этот раз он ничего не сказал, отошел и сел за стол. И тут я увидал на стене за его спиной большую картину. С доброе окно была эта картина. Перед большим замшелым камнем стоит на коленях Христос. Руки сложены на камне, а поодаль стоит большая чаша, полная сияния. Руки у Христа усталые, лежат на камне, как неживые, и сам Христос усталый, измученный, кра-

ше в гроб кладут. Между ним и чашей камень, не дотянуться ему, не испить прохладного сияния. Кругом кусты, всякие цветы, травы. Все цветет, распускается, а все одно видать — жара страшная, воздух горячий, марит...

— Почему же ты будешь стараться? — услышал я вдруг голос настоятеля и даже вздрогнул.

Спросил и поглядел на меня. Сидит за столом и глядит.

— Так почему будешь стараться?

— Коли надо стараться...

— Надо, надо. Ты мне объясни, почему надо? — уже строго спросил настоятель. — Я тебя спрашиваю, почему надо стараться пасти мою скотину?

Прямо и не знаю, что ему ответить и как тут быть. Стою перед ним и хлопаю глазами. А настоятель вдруг и улыбнулся.

— Не родня я тебе, не сват и не брат, — без всякой строгости сказал он. — И не друг-приятель. Так с какой же стати ты будешь стараться?

— Стало быть, надо... Уж коли не стараться, так... так лучше не берись пасти! — надумал я наконец.

— Хм... Занятого пастуха нанял мне Раполас. Ну-ка подойди поближе.

Взял меня обеими руками за уши, пристально поглядел в глаза, отпустил и спрашивает:

— Руку мне поцеловать не желаешь?

— Нет, — сам не знаю, как вырвалось у меня.

— Хм-хм... Право, занятный пастух. Ну поди к себе, поди... Да скажи там, пусть принесут мне чаю. Совсем забыли про своего настоятеля.

Вот так мы поговорили в первый вечер. После уж не приходилось поговорить, — настоятель жил в передней половине дома, которая ближе к костелу, а мы, наймиты, — в другой, ближе к скотному двору. Настоятель жил у себя не один, а с викарием Скайстисом и своей сестрой Тересе, или, как все называли ее, барышней. Втроем занимали полдома, и все жили по отдельности, каждый в своей комнате, со своим столом, кроватью и прочей утварью.

Викарий Скайстис ни капли не похож на настоятеля Балайшиса. И не потому только, что молодой и что волосы у него черные и гладко причесаны, а потому

что весь он плотно застегнут от подбородка до пят. Даже ботинки крепко зашнурованы и шнурки завязаны бантиками, а каблуки подбиты стальными подковками. Долго я не мог понять, отчего он не скрипит. Такой застегнутый, такой зашнурованный человек непременно должен скрипеть.

К нему тоже меня привели в первый же вечер. Прямо от настоятеля. Викарий встретил меня в дверях своей комнаты, сунул руку для поцелуя и сказал:

— Я викарий Скайстис!

— Ну, а я пастух,— ответил я.

Он поглядел на меня, прищурился.

— Да ты шутишь?

— Не шучу я,— отвечаю,— я и правда пастух.

Викарий пригляделся внимательнее, руку под самый нос сует и ждет, когда поцелую. А я про себя думаю: раз самому настоятелю не поцеловал, чего мне спешить с викарием? Долго он ждал, потом как отдернет руку и за спину, сам еще больше сощурился и спрашивает:

— Таинство конфирмации принял?

— Да как будто нет.

— Что значит «как будто»? Принял или нет? Да или нет?

— Да я не...

— Да или нет?

— Нет.

— Нет? Что значит «нет»? Все мальчики твоего возраста обязаны принять таинство конфирмации. Так как же ты не принял?

— Да я, может, не мальчик...

— Не мальчик?— он отпрянул от меня.— Кто же ты тогда? Может быть... дворянин?

Спросил и улыбнулся. Улыбался он не разжимая губ. Улыбнулся и опять спрашивает:

— Так кто же ты такой?

— Не дворянин я,— говорю.— Я пастух.

Викарий помолчал, потом достал откуда-то из-за спины белый как снег платок. Вытер лоб, спрашивает:

— Опять шутки шутишь?

— Да не шучу, я и правда не дворянин.

— И не мальчик?

— Я пастух.

— А пастух, по-твоему, не мальчик?

— Да меня и к причастию еще не допустили. Какой же я мальчик?

— Как так не допустили? Кто не допустил?

— Не допустили.

— И ты... ты так и не был у первого причаствия?

— Нет.

На этот раз викарий ничего не сказал, ни о чем не спросил. Подошел к окну и остановился, повернувшись ко мне своей узкой спиной. Книг и здесь было много. Только были они не разбросаны, как у настоятеля, а выстроены на полочке у стены. Так красиво — серые с серыми, черные с черными. И по величине словно обрезаны по полочке. Была и картина на стене, как у настоятеля, но не с Христом, а со святым Флорианом. У этого Флориана на плечи накинута красная скатерть, а жилетка у него железная. Шапка тоже железная, с пучком перьев на макушке. И обувь, как у всех святых: ни головок, ни холяв — одни подошвы, а оборы от самых подошв проходят между пальцами и обвивают голяшки. Голяшки переплетены мышцами, как узловатыми веревками. Видать, силач. В руках у святого Флориана большая деревянная бадья, полная чистой голубой воды, и он поливает этой водой горящий костел, что раза в три-четыре меньше бадьи.

— Кто тебя нанимал? — обернулся ко мне викарий.

— Раполас нанимал.

— Тогда все понятно. Можешь идти.

Но выйти мне удалось не сразу. Только было дошел я до двери, как викарий догнал меня, вцепился в плечо.

— Будешь приведен к первому причастию.

— Спасибо вам, ксендз викарий.

— Примешь и таинство конфирмации.

— Еще раз спасибо, ксендз викарий.

— Теперь уходи! — крикнул викарий.

Барышня Тересе тоже особенная. Высокая, тонкая, как жердь, высохшая от всяческих хворей. У нее и пальцы скостенели, так и не дождавшись обручального кольца. Лицо длинное, узкое, с острым подбородком. Глаза тоже узкие. И все-то она мерзнет, все-то ее знобит, все-то дрожь пробирает. Постоянно ходит в шерстяной кофте и юбке, вдобавок кутается в большую, тоже теплую, шаль с бахромой, затканную красными розами по желтому полю. И постоянно пьет разные

травы, липовый цвет, малину, по вечерам, как ложится, принимает еще что-то, чтобы заснуть, а ляжет — никак не заснет. Вот и поднимается раньше всех, чуть не в полночь, идет на нашу половину, станет в дверях и оглядывает всех по очереди. На кого взглянет, тот вскакивает с постели, хватается за свою одежду и просит у барышни прощения, будто он не спал, а делал что-то недозволенное. Барышня ничего не говорит, она глядит уж на следующего. Тот тоже вскакивает. Когда вот так заставит всех повскакать, начинает говорить, кому что полагается нынче сделать, куда съездить, куда пойти, сколько времени потратить на это, сколько — на то, а потом пойти туда-то и туда-то. Все у нее рассчитано, размерено, предусмотрено, минута в минуту, а в случае кто заспорит, мол, следовало бы сделать по-другому, Тересе, не говоря ни слова, поглядит на строптивца и уходит. Как только выйдет, на нашей половине появляется настоятель, оглянет всех нас и говорит:

— Не ссорьтесь уж вы с Тересе.

Еще поглядит и скажет:

— Не ссорьтесь... будьте людьми.

И уходит. Тогда уж все делается, как приказала барышня.

Никого эта Тересе не любит, одного буланого. Есть такая полуживая кляча в конюшне, затесалась среди сытых лоснящихся коней настоятеля. И вот каждый вечер перед сном барышня идет навестить эту клячу и сердито говорит:

— Опять буланому овса не подсыпали.

— Такому подсыпать, только овес изводить, — сердится батрак Раполас.

— Не свое изводишь, — отвечает Тересе, не шевеля губами.

Она всегда говорит не шевеля губами, а Раполас всегда ей перечит.

— Поди подсыпь сию же минуту, — приказывает барышня. — Может, повеселеет, — продолжает она. — Прошлой ночью вздыхал все, сама слышала.

— Околеть ему пора.

— Придет срок — околет. Придет срок — все помрем. А сейчас — овса!

Никому невдомек, за что она любит этого полудохлого буланого. Правду сказать, и не полудохлый он, а

просто-напросто падаль. Стоит целыми днями, оставив заднюю ногу, и постанывает; глаза красные, слезящиеся, нижняя губа отвисла, чуть не все зубы выпали, от гривы почти ничего не осталось... Толкнуть его в стойло и то боязно: упадет на колени — и крышка, подымай его потом за хвост, будешь вместе с ним вздыхать и стонать. А для барышни милее его нет никого на свете, вот она и повторяет каждый вечер Раполасу:

— Подсыпь, не свое изводишь. Авось, повеселеет.

— Чудит старая девка,— говорит Раполас, но так, чтобы не услышала барышня.— Как постареет девка, так и начинает чудить, кошек гладить, собак причесывать. Нашей, вишь, кляча понадобилась. Не будь она сестрой настоятеля, и чудила бы по-иному...

Наворчавшись, Раполас идет подсыпать овса, хотя я подозреваю, что ничего он не подсыпает, постоит-постоит в конюшне и уходит. И барышня подозревает, только не говорит.

В глубокой прорехе юбки она носит ключи. Ключей не видно, но они звякают и гремят, ясно, что их очень много. Запирает она все подряд: обе клетки и оба подвала — один под домом, другой вырыт возле дома, спереди обложен красным кирпичом; и сарай, где ручная меленка, запирает: там ведь ларь с мукой; коник в людской, что у печи, и тот запирает. Кабы можно было, наверняка запирала бы каждый горшок с молоком. Если что ей понадобится, всегда идет с ключами сама: отопрет, проверит, все ли так, как было, когда запирала, потом уж берет что надо, уносит, или даст нести кому другому и опять запирает, а заперев, еще подергает и потрясет замок, проверяет, хорошо ли заперто.

Очень ей неприятно видеть, когда какая-нибудь вещь лежит не на своем месте — будь это оброненная соломинка либо выброшенный мусор. Тотчас поднимет, положит куда нужно, подметет, либо велит подмести. А всего неприятнее ей, когда человек стоит или сидит без дела. Меня она в первый же вечер застигла на печи, куда я влез, прозябнув за дорогу. Уставилась на меня, спрашивает:

— Новый пастух?

— Приехал вот.

— И сразу на печь?

Больше спрашивать ни о чем не стала, только все глядела, и я живо понял, что делать нечего, придется слезть, браться за работу.

С того вечера так и повелось: стоит приостановиться либо присесть, а она уж глядит. Со всеми так, не со мной одним.

— Чисто покойница,— говорит про нее Раполас, но опять же так, чтобы она не услышала.

Живем мы на нашей половине не втроем, а впятером: батрак Раполас, батрачок Винцулис, работница Амилия, ее помощница — девчонка Агне, которую все звали Агнёте, и пастух — я. Живем не врозь, как на ксендзовской половине, а все в куче, только у каждого своя железная кровать со стальной сеткой вместо досок и с четырьмя блестящими шишками — по две шишки на каждой спинке. Я в первый же вечер попытался отвинтить их, поглядеть, что там внутри — пусто либо что-нибудь есть? И, понятное дело, тут же получил от Амилии по рукам. Под кроватями еще стоят сундучки — прятать пожитки. У нас, мужиков, кровати стоят на виду, гляди с какой хочешь стороны, а у Амилии и Агнёте они заслонены складными перегородками из натянутого на рамки холста. Перегородки эти здесь называют непонятным мне словом «ширмы». Хотел я было узнать у Раполаса, что это за ширмы такие, но он отмахнулся и вдобавок еще ругнул:

— И до всего тебе дело!

Вечером женщины скрываются за своими ширмами, еще не раздевшись, а вылезают только утром, уже одетые. И не угадать, спят они там или чем другим занимаются. Кроме наших кроватей, стоит еще посреди избы ясеневый стол — он широкий, длинный и со всех четырех сторон заставлен скамейками. Стоит и печь, вовсе не похожая на нашенские, а чуть не до потолка, с низко опущенным челом и устьем не к окну, как у всех, а к середине избы. Видать, у ксендзов так и полагается. Ведь у ксендзов все должно быть поиному. Вот и у печи сбоку сложена еще длинная плита с тремя большими продушинами, а на них чугунные кружки. Где еще увидишь над очагом такие продушины, к тому же с чугунными кружками! Есть еще высо-

кая судница на стене, близ печи, и картины на других стенах. Картин много, тут и благочестивые и не очень благочестивые, на которых по заросшему тиной пруду плавают белые лебеди, а на берегу стоит белотелая — белее лебедей — девица, или сплошь голубой олень. Благочестивые картины под стеклом, а не очень благочестивые открыты и засижены мухами.

Раполас из нас самый большой и сильный. Он высокого роста, с черными жесткими волосами, с крутым, выступающим вперед подбородком, и постоянно улыбается, прищурив глаза, и нельзя понять, то ли он просто улыбается, то ли насмехается над тобой. Когда он вез меня на санях в настоятельскую усадьбу, я спросил, сколько у настоятеля коров, телок, овец.

— На скотном дворе держим четыре телки,— ответил Раполас.

— А не на скотном дворе тоже есть?

— Есть еще в богадельне.

Говорит, а сам улыбается. Поди пойми, какие же это телки в богадельне. И как они туда попали?

— А коров?— спрашиваю опять.

— На скотном дворе семь дойных, восьмая на ксендзовской половине. Эта не доится, яловая. — И больше — ни слова.

Потом только понял я, что телки в богадельне — вовсе и не телки, а богаделки, которые никогда замуж не выходили, так и состарились, а корова на ксендзовской половине — не корова, а барышня Тересе. И злилась же Амилия на Раполаса за такие разговоры с пастухом.

— Бога ты не боишься!

— А я безбожник, — отрезал Раполас, сощурившись. — Мне бояться не приходится.

И всегда со всеми он так. Не боится не только бога, но и настоятеля, и даже самой Тересе. По утрам, когда она объявляет, кому куда идти, за что братья, он слушает внимательно, а я все равно вижу: насмехается он над ней, плевать ему на ее приказания. Барышня тоже видит, что ему наплевать, и тогда опять идет к настоятелю жаловаться, а он опять идет к нам.

— Знаешь, Раполас... не ссорься ты с Тересе.

Раполас умелкает, настоятель уходит к себе, Амилия все ругается:

— Ни стыда, ни совести у тебя нет, жеребец. Такого настоятеля, такого хорошего человека огорчать!

— А разве он хороший?— деловито спрашивает Раполас.

Теперь и Амилия видит, что он над ней насмехается. Махнув рукой, а иной раз и вытирая слезы, она уходит по своим делам.

Амилии хочется, чтобы все было хорошо. Чтобы всем было хорошо. Она и сама хорошая. Крупная, приятная, розовая — такой только в настоятельском доме и служить. Волосы у нее темные, две длинные, толстые косы. Они туго заплетены и венцом уложены на голове; по вечерам, когда Амилия расплетает их, волосы окутывают ей и плечи и спину. Возле левого уха у нее родинка с золотым волоском посередине, таким задорным, что мне всегда хочется подергать за него. Все волосы черные, а этот — золотой, как же тут утерпеть — не подергать?

Амилия всегда улыбается, даже когда пробирает Раполаса, и все-то ей хочется сказать что-нибудь приятное. В первый же вечер, только увидела меня, объявила:

— Восьмой год здесь живу. Очень уж место хорошее. И ты проживешь, никуда не уйдешь от настоятеля.

— Долго не пробуду,— сказал я.— Подрасту, перестану пастушить.

— Настоятелю не одни пастухи нужны, ему и батрачок и батрак требуется. Пока ты свое отпастушишь, Раполас состарится, авось и женится, чучело этакое, тогда чего ж не пожить? Будешь пахать, бороновать, сено косить... Покосов у настоятеля много. Всего здесь много,— весело говорила она, будто полями и покосами владел не настоятель, а она сама.

Дел у нее всегда хватает. Вся домашняя работа лежит на ней. Шутка сказать, и вари, и пеки, и прибери за всеми. Нам варит в одном горшке, ксендзам и барышне — в другом. У них и ложки особые, не деревянные, а оловянные, по словам самой Амилии. Не начистишь их золой, глядь, они от варева, от жира как плесенью покрываются и склизкие на ощупь. И скатерть им каждый день стели, и еще каждому по тряпичке подкладывай — губы утирать. Не кормить же ксендзов, как наймитов! Все должна знать Амилия, за всем при-

смотреть. А стирка белья! Каково выполоскать его в проруби да выжать на морозном ветру! Надо и вымести пыль из всех углов, и вытереть все подоконники, и на нашей и на ксендзовской половине... В закутке откармливаются три подсвинка — сидят на задних ногах, от сала шевельнуться не в силах, а попробуй не дай вовремя корма — такой визг поднимут. И барышня тут как тут, растолкует, что от визга у них сало не в ладонь толщиной будет, а в два пальца, как на дворе у последнего бобыля. Опять же в хлеву пестрая свинья с поросятами, и еще одна супоросая, а там по всему двору гогочут, крикают, квохчут, кудахчут куры, гуси, утки — хоть уши затыкай. Есть и несколько годовалых телок и бычков; четыре овцы с ягнятами, да восемь суюгных. За всеми присмотри, всех опекай, обо всех помни. Едва присядет, уронит руки на колени, а ее уж спрашивает о чем-то настоятель, и викарий зовет, хлопает дверьми, звонит в колокольчик. Всем нужна Амилия. Без нее никто ничего не пойдет, ничего не сделает, ничего не возьмет. Только и слышно со всех сторон:

— Амилия! Амилия! Амилия-а!..

И Амилия с бранью, с воркотней бежит на зов.

Наработавшись, набегавшись за день, по вечерам она чинит всем одежду, штопает прохудившиеся рукавицы, стирает онучи и чулки.

Так изо дня в день. А когда все уснут и видят седьмой сон, Амилия опускается на колени перед своей кроватью, облакачивается на нее и, обхватив ладонями лицо, долго вздыхает и читает шепотом молитвы. Молится она за всех. Когда же встанет, то обойдет наши кровати, кому оправит подушку, кому сбившееся одеяло, а если кто проснется, откроет глаза, она сердито говорит:

— Дрыхни, дрыхни, до утра далеко...

Больше всех она опекает настоятеля. И не только опекает, а глаз с него не спускает! Весел настоятель, и Амилия сияет, мурлычет песню; хмурится настоятель, и Амилии не мил белый свет: ходит с убитым видом, поцурив голову, и все ищет случая спросить настоятеля:

— Не потушить ли гороху?

— Потуши, если хочешь, — соглашается он.

Горох этот — не простой, такого больше нигде не увидишь. Где его достает Амилия, не знает сама барышня. В настоятельских амбарах ни одной такой го-

рошины не сыщешь. Белый, крупный, ровный, будто не на веялке провеян, а руками его, по штучке отбирали. Пока тушится, так разбухает, что выскакивает из шелухи. Красуется в миске словно снежный сугроб, словно облачко, слетевшее с голубых небес. Ксендз-настоятель берет деревянную ложку, садится за стол, солит и зачерпывает. Здесь же, на нашей половине. И с каждой ложкой лицо его все больше просияет.

— Кормилица ты моя,— говорит он Амилии.

Амилия на седьмом небе, прямо цветет. Вся раскраснеется, даже на глазах слезы выступают.

— Не хвалите, не падо. Спасибо, ксендз-настоятель.

— Эх, Амилия, Амилия,— вздыхает настоятель, черпая ложкой облако.— Хорошего мужа бы тебе, Амилия. Хорошего! Стать бы тебе наконец счастливой, а уж как будет счастлив тот, кто встанет рядом с тобой пред алтарем!

— Спасибо, ксендз-настоятель. Мне и так хорошо.

— Так ли хорошо?— усомнился настоятель.

— Здоровье пока есть, работаю потихоньку, песни еще распеваю.

— А когда не будет? Здоровья когда лишишься?

— Тогда и мужу буду не нужна, ксендз-настоятель. Мужьям пужны сильные, здоровые.

— То-то и есть, что будешь не нужна. Зачем же дожидаться этого?

Амилия не отвечает, глядит куда-то в сторону.

— Хорошо это будет, когда останешься на старости лет одна-одинешенька?— наседает настоятель.— Хорошо это, остаться одной? Куда тогда денешься? В богадельню? К богомолкам?

Амилия не оборачивается и еще ниже опускает голову.

— Никто на меня и не заглядывается, ксендз-настоятель...

— Уж так и никто?

Еще ниже опускает голову Амилия. Все мы знаем: неправду она говорит. И настоятель это знает. Чуть не каждый вечер к нам заходит ксестельный сторож Пранукас и просит Амилию:

— Подойди к окошку, полюбуйся. Какого я коня опять подцепил!

Просит Пранукас умильным голосом, но Амилия не слушает его, не подходит к окну. Она знает, что подцепил Пранукас не коня, что опять цыган-барышник всучил ему какого-нибудь одра, и теперь он притащил этого одра показать ей. Он всегда приводит их к Амилии, требует, чтобы она поглядела. Но Амилия глядеть не хочет.

— Перестал бы ты, Пранялис,— советует она.— Ничего тебе не подцепить, только рядитесь с цыганами да магарыч распиваете. Красиво это?

— А ты все ж подойди,— упрощает, почти молит Пранукас.— Подойди к окну, Амилия. Ты только полюбуйся. Где ты видела такого рысака?

Рысак стоит под окном. Голова его опущена между ног, бока тяжело ходят, глаза слезятся. Только барышнину буланому годится в пару этот рысак. А Пранукас все зовет:

— Нет, ты только погляди, Амилия, только погляди! Родному отцу только продал бы, и то со слезами!

— Отвяжись, Пранялис,— просит Амилия.— Делать мне больше нечего, как глядеть на твоего одра?

— Одер? Одер, говоришь? Вон ты что сказала, Амилия!

— Отвяжись, Пранялис...

Пранялис бегаёт взад-вперед, машет руками, снова зовет Амилию к окну. Потом, будто выдохшись, опускает голову, как его рысак за окном, и робко говорит:

— Как же это ты так со мною, Амилия? Будто я обсвек в поле, будто я червяк.... Как-никак, сторож, служитель костела!

— Не донимай ты меня, Пранялис,— усталым уж голосом просит Амилия.— Хоть бы женился ты наконец. Дети бы пошли, глядишь, выбили бы у тебя из головы рысаков...

— Легко сказать, Амилия, женись! На ком жениться? В этом доме иные на меня как на червяка глядят!

— Опять за старое,— вздохнула Амилия.

— Уязвила ты меня в самое сердце. Так уязвила, так уязвила!

— Кто же виноват?

— Ты хоть к окошку подойди, Амилия, погляди на него. Ноги, что ли, у тебя отвалятся подойти, окосеешь, что ли?

Она все не идет, не глядит. Пранукас опять принимается упрашивать. Долго это тянется. Наконец Раполас теряет терпение.

— Глотку побереги,— говорит он Пранукасу.

— Ты что встречаешь?— кричит тот обозлившись.— Я тебе поперек дороги не становлюсь, а ты чего становишься?

— Добра тебе желаю. Наступает март месяц, кошки заведут музыку на крышах, а ты без голоса останешься. Как же перекричишь их?

— А ты... А ты... Чтоб ты сдох!— побагровев, кричит костельный сторож и, хлопнув дверью, выбегает к своему рысаку.

Амилия долго молчит.

— Раполас,— заговаривает она наконец.— Разве можно так! Еще и при пастушке.

— А надо при настоятеле?

Амилия опять замолкает. Теперь очень надолго. И все знают, почему она молчит.

Хорошая эта Амилия!

Младшая батрачка Агне тоже иная. Я давно приметил: это на первый взгляд люди кажутся одинаковыми, а на самом деле они все разные. Вот и Агне — крепкая, как налитая, крашенинное платьишко туго обтягивает ее, и все у нее округлое — руки, ноги, спина и та что твой каток. Всякий пустяк ее смешит, то и дело она фыркает, прикрыв ладонью рот. Когда сидим за столом, в ее миске с молоком или похлебкой полно крошек.

Раполас в первый же вечер предупредил меня:

— Смотри ты, не заглядывайся. Это Винцулисова симпатия.

— Знаешь... иди ты к дьяволу,— отозвался сидевший тут же Винцулис.

Агне взвизгнула, вскочила и убежала.

— Видал?— обратился ко мне Раполас.— Видал?

— Пошел ты...— буркнул Винцулис.

— Выходит, я вру? Выходит, не пужна тебе Агнётс?— обернулся к нему Раполас.

Винцулис тихонько ругнулся. Раполас промолчал, отозвалась лишь Амилия:

— Стыда у тебя нет, Раполас. В настоятельском доме такие разговоры.

— Это батрацкая половина.

— Не лезет Винцулис к Агнёте. Сам знаешь — не лезет.

— К тебе, верно, — не лезет.

— Говорят тебе, не лезет.

— Как погляжу я, все вы тут святоши, — хохочет Раполас. — Винцулису не нужна Агнёте, Агнёте — Винцулис. Пранукасу — ты, тебе — он... Так я говорю?

— Говоришь-говоришь да заговариваешься, — сердится Амилия. — А что как узнает настоятель про такие разговоры?

— Нашла чем его удивить! По воскресеньям у исповедальни девки ему такого нараскажут — слюнки потекут!

Амилия уж не знает, как и обругать его. Агне фыркает и прикрывает рот не одной, а обеими ладонями. Винцулис сидит за столом молча.

Когда я приехал, он оглядел меня с головы до ног, даже кругом обошел. Потом объявил:

— Ты — пастух.

— Я и сам знаю, что не барин, — отвечаю, — не первый год пастушу.

— Знаешь, так и запомни.

— Я и не забывал.

— Вот и запомни, — не сказал, а прямо-таки выкрикнул Винцулис.

Сам он был ничуть не выше меня, и вряд ли постарше, однако решил отпустить усы и длинные волосы. Только не повезло ему. Вместо усов под носом у него торчали десятка два белесых, хилых волосков, и казалось, что лицо у Винцулиса умытое, только под носом не умыто. Волосы тоже не столько росли, сколько топорщились во все стороны, а на макушке сбивались в сплошной вихор и стояли дыбом. Как только ни приглаживал его Винцулис, и слюнявил, и постоянно пришепывал ладошью, даже на ночь обвязывал голову мокрой тряпкой. И все попусту. Утром не успеет Винцулис снять тряпку, а волосы опять стоят на макушке дыбом. Прямо не парень, а птица-сойка. И работа ему не дается. Куда пойдет — вовремя не дойдет, начнет что делать — не доведет до конца. То у него обора развязалась и мотается, то пуговица отскочила на самом главном месте, то он не выспался, то переспал — глаза никак не продерет. Только за ложку он — первый.

Как навалится на стол, и наворачивает. Отпустит ремень на штанах и опять обеими руками хватает. Так жрала еще Морта у Батайтисов. И всегда он старается сесть рядом с Агне, чтобы и видеть ее и при случае толкнуть под столом ногой или ткнуть в бок локтем. Агне всякий раз фыркает, выбегает из-за стола, потом садится и ждет, когда опять брыкнет Винцулис.

Раполас взглядывает на них искоса, сплевывает.

— Набьет он брюхо Агнёте, как тогда глядеть в глаза Жумбакису? Головы всем поотвинтит.

— Раполас!— кричит Амилия.

— Вот те и Раполас, Раполас...

Помолчав, он гудит себе под нос:

— Набрал настоятель своих родственничков, чертей косоруких... Навозная куча, а не настоятельский дом. Чисто богадельня.

— Раполас!— снова взывает Амилия.

— Вот те и Раполас, Раполас!..

— Какая это тебе богадельня? И много ли тут настоятельской родни? Всего лишь сиротинка Винцулис, больше нет никого.

— Иной раз и один загадит весь дом.

— Ты скажешь! Куда же деваться мальчишке? К родному человеку, к дяде льнет...

— Ишь ты, к дяде? А не к кому еще?

— Раполас! Посовестился бы говорить такое.

— Совесть у меня есть, а я все равно говорю. Сколько раз говорил настоятелю: держи родню на длинном поводу, подальше от себя. Родня тогда и хороша: не дотянется, не укусит. Говорил, добра ему желал, а разве послушался? После сам наплачется!

— Ксендз-настоятель добрейший человек.

— Доброта — не ремесло, не прокормит.

— Раполас!..

— Слышу, слышу...

А Винцулис, знай, уминает за обе щеки, сидя рядом с Агне. И в ус не дует, когда Амилия и Раполас затевают из-за него спор. То брыкнет под столом Агне, то ущипнет за бок. Она ржет, прикрывая рот и обрызгивая крошками свою миску и весь стол. Наконец терпение и Амилия.

— Возьму кочергу, да обоих!

Раполас молча жует, притихают и Винцулис с Агне. Только кончив есть и вставая из-за стола, Раполас опять роняет:

— Богадельня.

Каждый понедельник, среду и пятницу у настоятеля собираются по вечерам гости. Гостей немного, всего-то трое: аптекарь Урбутис, волостной старшина Уткус и начальник полиции, или, как все его называют, околодочный Жилиус. Зато все заправские едоки, прямо прорвы. Особенно Урбутис. Приходит всегда в белой рубашке с высоченным воротничком. Воротничок вроде костяного, пожелтевший от старости, острыми загнутыми уголками упирается в подбородок. Поэтому Урбутис всегда задирает голову, а сидя, откидывается назад и опирается затылком на спинку стула. За столом он так проворно загребает угощение своими длинными руками, что Уткус с Жилиусом вдвоем и половину того не одолевают. В дом Урбутис входит не в пример старшине и околодочному, не с парадного крыльца, а через нашу половину. Потирает руки и — к Амилли:

— Амилите, сударынька, кофейком нас не побалуete? Никто такого вкусного, такого душистого не сварит, не подаст, кроме Амилите.

Амилия, понятно, цветет от таких похвал.

— Сейчас принесу, принесу. Пожалуйста к ксендзу-настоятелю, проходите. Сейчас принесу.

Но Урбутис опять к ней:

— А может, сударынька, вы мне... как бы это сказать? Сальца там либо копчененького сычуга из кладовой... Не евши из дому вышел. Думаю, у настоятеля не дадут помереть с голоду доброму человеку. Или, может, ошибся я, может, напрасно так подумал?

— Не дадут, господин Урбутис, ей-ей, не дадут помереть.

— И копчененький сычуг будет? Такой, понимаете ли, сударынька... чтобы был лучиночками обложен, бечевочкой перевязан и насквозь пропитан можжевельным дымком. А?

— Все будет подано, господин Урбутис. Проходите, пожалуйста, в комнаты. Ну, место ли господам в людской?

Но господин Урбутис не спешит. Останавливается перед Агне и сразу так соловеем, что начинает подрагивать левой ногой.

— Цветик...— одышливо тянет он и тогда только уходит, виляя узким, костлявым задом.

Агне фыркает, прикрыв ладонью рот, а Винцулис цедит сквозь зубы:

— Надаю ему как-нибудь!

— А что ты думаешь,— смеется Раполас.— Что ты думаешь, Агне? Барыней станешь, аптекаршей! Будешь сидеть за одним столом с супругами старшины, околоточного, господа будут тебе руки целовать... А?..

— Как дам! — Винцулис даже вскакивает с лавки. — Как дам промеж глаз, отрыгнется ему цветочек!

— «Как дам, как дам»,— ухмыляется Раполас.— Подрос уж, усы пощипываешь, а все не поймешь: капитализм это, свободная конкуренция. Нет у тебя аптеки, так и не подъезжай к такому вот... цветику! Не по твоему носу!

Агне падает лицом на стол и фыркает так, что начинает задыхаться. Амилия сердится:

— Раполас...

— Опять не так сказал? Все красивые девушки достаются господам. Как же, отбирают, улучшают свою породу. Всегда так было, Амилия, еще в крепостное время. И теперь так. Еще долго будет так. Что ты на меня кричишь? Ты на господ кричи.

Амилия сама не знает, кричать ей или лучше замолчать. Винцулис скрипит зубами:

— Я его — ножом!

На ксендзовской половине стучат ножи и вилки, гремят тарелки, звенят рюмки. Все громче и громче голоса гостей, взрывы смеха. Снова гремят тарелки, снова раздается смех.

— Ничто не вечно под луной,— тонким голосом кричит Урбутис.— Высочайшие истины, гениальнейшие мысли и те ветшают и отживают. Отживают, милостивый ксендз-настоятель!

Слышен голос настоятеля:

— Прошу выпить.

— Благодарю, обязательно выпью. И не одну, милостивый ксендз-настоятель. А все-таки я прав. Все-таки я. Что было сказано о святой церкви? «Аз есмь скала, о

которую разобьются волны мира сего». Святая неоспоримая истина. А что осталось от этой истины? Попробуй оставить церковь одну, много волн она выдержит? Сметет ее, как соломинку снесет. А почему? Почему, милостивый ксендз-настоятель?

— Прошу выпить.

— Нет, ксендз-настоятель, я не выпью, я... лучше закушу.

Новый взрыв смеха на ксендзовской половине. Голоса затихают. Видать, Урбутис и правда закусьивает, а другие ему помогают. Но это продолжается недолго. Опять начинает Урбутис с непрожеванным куском во рту.

— Я что хочу сказать? Меняется облик мира, вот что. В наше время церковь тогда лишь сильна, когда все мы вокруг нее, вот что. Господин старшина, господин околодочный, я... Все мы с церковью... вся власть!

— Какая же вы власть?— нежным голоском вопрошает старшина.— Всего-навсего аптекаришка, прошу прощения. Порошочки развешиваете, бабам камфару отпускаете — вот и вся ваша власть.

— Ха, порошочки!— кричит Урбутис.— А вы попробуйте в наше время прожить без порошочков! Думаете, долго протянете? В наше время без порошочков последняя собака не избавится от блох.

— Не про блох речь идет и не про собак!— Голос старшины становится грубее.

— Я и не говорю про собак, пусть они хоть все передохнут! Я про власть говорю. Про скалу. Если мы все сплотимся вокруг скалы, тогда и сами мы — скала. Скала, господин старшина!

— А нуте-ка выпьем,— опять предлагает настоятель.

— Несокрушимая скала!— выкрикивает Урбутис, должно быть, не слыша настоятеля.— На веки веков! Все мирские волны расшибутся об эту скалу. Но только когда церковь как скала, а все мы — вокруг церкви. Вот тогда и будет скала, о которую разобьются все волны мира сего. Иначе ни черта не останется. Так я говорю, ксендз-настоятель?

Не знаю, что ему ответил настоятель, потому что в это время к нам вышла барышня. Остановилась у порога, обвела всех взглядом и сказала Амилии, не шелевя губами:

— Закуски ксендзу-настоятелю.

— Опять?— всплескивает руками Амилия.— Столько всего добавила!..

— Закуски, я говорю.

Амилия без возражений бежит. Что-то нарезает, крошит, поджаривает, сыплет муку. Барышня стоит, наблюдает. Дверь за ее спиной отворена, из-за нее доносится голос старшины Уткуса, теперь уж вовсе грубый.

— А почему мы не литовцы, ксендз-настоятель? Нет, я прошу ответить мне — почему мы не литовцы?

— Литовцы, литовцы,— успокоительно отвечает настоятель.— Все литовцы. Прошу закусить, отведать...

— А если литовцы, ксендз-настоятель, то почему мы ругаемся не по-литовски?— еще более грубым голосом вопрошает старшина.— У нас такой прекрасный язык... самый древний на свете! Наши предки, деды-прадеды хранили его... шли на защиту с рогатинами, самострелами, а мы что?.. Мы что делаем, ксендз-настоятель? Только и слышно на каждом шагу: мать-перемать, едрена мать... Где наши глаза? Наша литовская совесть? Наше чувство стыда, наше... Погодите,— уже спокойнее говорит он,— у меня тут все записано... Погодите...

— Что записано, господин старшина?

— Как ругаться по-литовски. Сию минуту, отыщу, ксендз-настоятель, — говорит Уткус, должно быть роясь в карманах.— Из уст народа... из самых недр! Восемьсот двадцать три ругательства, а к ним еще присловия. И все — по-литовски!

— Пожалуй, не стоит, господин старшина,— говорит настоятель.

— Что не стоит? По-литовски не стоит?

— Вообще не стоит. Люди и так много ругаются. Можно и без ругательств обойтись. Совсем без ругательств...

— Без ругательств? Если можно, так почему же не обходимся? Без ругательств! Нет, ксендз-настоятель. Сама жизнь доказывает, что без ругательств и курица не закудахчет. Все как есть ругаются и, так сказать, на практике опровергают вашу теорию! И мы... и мы должны теперь решить — литовцы мы или не литовцы? У меня тут переписаны... Вот, ксендз-настоятель, послушайте-ка: худая мотня, жидкогузый, шибздик несчаст-

ный, сучье вымя, кошкодав, навозный жук... Вот как, ксендз-настоятель! Меткое, крепкое, острое литовское народное словцо. Или, скажем, так: чтоб тебе прокиснуть, чтоб тебя припекло, чтобы ты сквозь землю провалился, чтоб ты все тропки вокруг себя обгадил, чтоб у тебя пуп выворотило, чтоб тебя девять раз чемер взял, чтоб ты вперед пятками пошел, чтоб у тебя поджилки перекрутило, чтоб тебе вареной картошкой подавиться, чтобы ты окосел и окривел, чтоб тебе родить ежа против шерсти, чтоб твою могилу козы вытоптали, чтоб...

Барышня затворила дверь и еще заслонила ее спиной.

— Господские разговоры не для батрацких ушей.

Тут и Амилия нарезала, чего требовалось, поджарила, заправила, приготовила. Выставила на большой деревянный поднос, подала барышне. Та вышла, прихлопнув ногой за собой дверь. Только вышла она ненадолго. Не успели мы с Раполасом и Винцулисом свить по паре пуг, а барышня опять тут.

— Закуски ксендзу-настоятелю.

— Опять?— не веря своим ушам, спрашивает Амилия.

— И кофе. Свежего кофе.

Амилия хватает большущий, чуть ли не пятиведерный котел, хочет поставить на огонь. Барышня не позволяет, велит ставить маленький. Побурчав немного, Амилия ставит маленький, а барышня наблюдает, так ли она делает. А пока что опять слышен голос с ксендзовской половины. Только на этот раз не старшины, а начальника полиции Жилиуса.

— Люблю я Литву, дорогую мою родину, я кровь за нее проливал!..

— Все мы боролись, господин начальник,— говорит настоятель,— все жертвовали собой ради свободы и независимости отечества.

— И впредь будем жертвовать собой, ксендз-настоятель. Пусть родина позовет меня... пусть позовет народ... Все за оружие, ксендз-настоятель!

— А нуте-ка выпьем, господин начальник.

— И выпьем... Выпьем, ксендз-настоятель,— выкрикивает Жилиус.— А родина... а большевики... Пусть только родина позовет меня, сразу большевикам головы прочь! Всем, всем, ксендз-настоятель! Прочь, и больше знать ничего не хочу!..

Барышня опять подпирает дверь. Раполас усмехается, подмигивает мне:

— Патриоты!

— Раполас, не порть мальчишку,— просит Амилия, отирая со лба пот.

— От моей порчи еще никто не плакал.

Амилия умолкает. Вскипятив котелок, наливает большой котел. Она знает — дойдет очередь и до него. Ставит на огонь, потом берет сковороду, наливает масло, так что брызги летят во все стороны, кладет большую рыбину. Рыба корчится, как живая, пропитывается маслом и луковым соком, запахи разносятся по всей комнате. Дверь снова отворяется, снова появляется барышня.

— Надо еще что-нибудь придумать. Чудо что за аппетит у мужчин.

— Я уж придумала, барышня,— и Амилия подает рыбу.

Барышня выходит еще несколько раз, просит и приказывает Амилии «еще что-нибудь придумать». Амилия, засучив до локтей рукава, заправляет вымоченную селедку, выкладывает на тарелку большие толстые ломти копченого сычуга, мелет перец, лупит сваренные вкрутую яйца, спешит вслед за барышней то в подвал что под домом, то в подвал что возле дома, то в кладовую, то в чулан. Барышня несет ключи, Амилия — белую как снег квашеную капусту, сверкающую ярко-красными ягодками клюквы, моченые яблоки, соленые рыжики...

Угощаются на ксендзовской половине на славу. Гостям уж не сидится на месте, и вот отворяется дверь. Выходят не все сразу — по одному. И первый, как всегда, старшина Уткус. По правде говоря, не выходит, а является во всем своем блеске. Блестит лоб, доходящий чуть ли не до затылка, под ним блестят очки из чистого золота, блестит часовая цепочка, пристегнутая колечком к жилету, и такая тяжелая, что перекашивает полу жилета. На пальцах у старшины кольца, и не на одном безымянном, как у всех людей, а еще на среднем, и на мизинце, и на большом пальце правой руки. Все кольца с камнями, одно лишь без камня, толстое, выпуклое, из тяжелого червонного золота. Но еще ярче, чем золотые кольца и часовая цепочка, блестят распаренные от сытого пота

одутловатые щеки старшины, блестят под стеклами очков подернутые жирком глаза. И весь он прямо сияет, когда останавливается против Агне.

— Ясное солнышко,— заговаривает он, и губы у него широко раздвигаются, как ворота.— Краса литовских полей...

Агне заранее, не услышав еще слова «солнышко», фыркает, прикрывает рот тыльной стороной ладони, а старшина подступает к ней мелкими шажками, хотя ноги у него, как тумбы, и глаза становятся уже и уже, пока не превращаются в мокрые щелочки.

— Ясное со-олнышко...

— Гы-ыы...

— Обилен красавицами родимый край,— млеет и блеет старшина.— Издревле, со времен наших пращуров, дедов-прадедов, славилась Литва красотой своих дочерей, их целомудрием... пропорциями... Вы только взгляните, какие пропорции, какие пропорции! Сотни лет крестоносцы и меченосцы похищали литовок, татары давали богатый калым... На резвых конях гнались литовцы за драгоценной добычей, в смертном бою защищали священную честь литовск, и не было такого калыма, за который бы отдали деву с зеленой рутой в русых косах!..

Агне фыркает все громче.

Старшина уже рядом, расплывается в улыбке, как блин, тянется похлопать Агне по спине, а там и пониже спины.

— Краса литовских полей...

Агне с визгом отскакивает, гроыхая деревяшками. Рот она прикрывает не ладонью уж, а обеими руками. Старшина Уткус больше не улыбается, не блестит так. Стоит, глядит, куда скрылось ясное солнышко литовских полей. И наконец изрекает:

— От века, от времен дедов-прадедов не могла понять женщина мужчины... Не может понять и ныне...— и удаляется, выходит в ту же дверь, из которой вышел. Амилия глядит ему вслед и удивляется:

— И чего он сюда? Чего ему надо?

— Свежатинки захотелось,— поясняет Раполас.

— Уж ты скажешь, Раполас!

А Раполас объявляет:

— Сейчас другого кабана принесет.

Слова его тотчас сбываются. В людскую шествует начальник полиции Жилиус. Он тоже распарился, даже черные его волосы блестят. Синий мундир, на плечах и спереди на вороте расшит золотом, сапоги что твое зеркало, тяжелый желтый пояс с блестящими висюльками, а швы на боках и плечах будто не нитками прошиты, а железом сварены. Вошел, каблуками — щелк! — и стал навтыжку, словно бы и росту ему прибавилось. На Агне и не взглянет, будто ее и нет, а если она и тут, не ради нее явился начальник полиции. Стоит посреди людской, как аршин проглотил, и говорит:

— Бывало, Клавдия Ивановна: господин поручик Жилис, пожалуйста на стакан чаю! Чуть только генерал его превосходительство Никифор Наркисович к своей хористке, Клавдия Ивановна сейчас же: господин поручик Жилис, пожалуйста! Бывало, все офицеры в полку на меня косятся — знали, какой чаёк попивает поручик с генеральшей. Ха... И завидовали же! Лопались от зависти!

Проговорив это, начальник полиции зырк одним глазом на Агне, щелк-щелк каблуками и поднимает указательный палец:

— Сама генеральша!

Тотчас поворачивается, еще разок прищелкивает каблуками и уходит, откуда пришел. А когда выходит, Амилия пожимает плечами.

— Этому-то чего надо?

— Того же самого, — говорит Раполас, — того же самого.

— При такой раскрасавице жене... Ведь кровь с молоком...

— Жену побережь надо. Чтобы подольше красоту сохранила. Разве знаешь, когда и кому понадобится ее красота?

— Раполас!

— Вот те и Раполас.

— Если такое кругом творится, уж я и не знаю, чего тогда ждать... конца света, что ли?

— Третьего кабана надо ждать.

Амилия не успевает возразить — после начальника полиции опять входит аптекарь. Уходит аптекарь, опять во всем блеске входит старшина, а после стар-

шины опять начальник полиции. Так и кружат все трое, словно объевшиеся петухи.

Ближе к полночи, когда мы все уляжемся и на ногах остаются лишь Раполас и Амилия, заявляется полицейский Ефимка. Небольшого роста, конопатый и с такими выцветшими бровями, будто и нет их у Ефимки, а растут прямо из глаз несколько волосков. И усы у него выцветшие,— как выгорели под летним солнцем, такими и остались. Словно взял кто пучок шпеничной соломы и прилепил ему к верхней губе. Шаровары у него пузырятся на бедрах и коленях и заправлены в сапоги. Сапоги не зеркальные, как у его начальника, а прорванные, затвердевшие, как камень. И шинель чересчур длинна, не по росту, Да и шапка велика, за отвороты набита бумага. Ефимка долго топчется у дверей, будто сбивает снег, хотя его и нет на сапогах.

— А, господин Ефимка, — говорит, завидев его, Раполас.— Здорово, Ефимка!

— Кому Ефимка, а кому Ефим Назарыч,— не глядя на него, отвечает Ефимка.

— Ну так здорово, Назарыч,— снова здороваётся Раполас.— Порог не проломи, проходи сюда. Наверно, проголодался? Амилия, подай Назарычу ложку.

— Какую ложку? Стыда у тебя нет — полицию молоком угощать.

— А чем еще — водкой?

— Раполас!

— Я не ради своего удовольствия,— подходя к столу, говорит Ефимка.— Служба. Проверяю дорогу, где начальству домой идти. Знаешь, как у нас в полиции?

— Откуда мне знать? В полиции отродясь не служил.

— В полицию не всякого примут, господин... господин Раполас.

— Истинная правда, — соглашается Раполас и тут же спрашивает: — А разве всякий просится в полицию?

— Но, но... не могу дозволить такие разговоры,— сердится Ефимка.

— И то правда, опять соглашается Раполас.— Полиция много чего не может.

Ефимка даже вздрагивает от обиды. Он пытается что-то сказать в ответ, но на подмогу приходит Амилия.

— Раполас!— прикрикивает она.

В знак благодарности Ефимка шаркает перед ней ногой. Подумав, шаркает еще раз. Амилия, вся разгоревшись от оказанной ей чести, приглашает:

— Присаживайтесь, пожалуйста, гостем будете. Ждать придется долго, только что сели за преферанс. Пожалуйста.

Ефимка опять, в третий раз, шаркает ногой. Усаживается и сидит, словно аршин проглотил, уставясь глазами в противоположную стену. Амилия нарезает ему вареной свинины, накладывает на тарелку, отхватывает ломоть хлеба во весь каравай и ставит все это на стол перед Ефимкой.

— Не побрезгуйте, покушайте.

— Благодарствую. Полиция при исполнении обязанностей не ест,— не поворачивая головы, говорит Ефимка.

Недолго он так сидит. Мясо стоит так близко, так пахнет только что разрезанная мякоть, что Ефимка начинает истекать слюной. Он глотает ее, и все нестерпимее ему глядеть на стенку. Амилия опять ему:

— Уж не побрезгуйте, служивый. Служба, прошу прощения, не заяц — в лес не убежит. Господа засели за преферанс, никто не увидит, кого вам бояться?

— Полиция никого не боится.

Раполас ухмыляется:

— Ой ли?

— Раполас!— в который уж раз за вечер останавливает его Амилия и спрашивает Ефимку покушать, подзакусить, не стесняться, а главное дело — не побрезговать настоятельским хлебом-солью, — ведь если настоятель узнает, что она не угостила Ефимку, — строго отругает.

Ефимка не выдерживает. С большой неохотой берется за вилку. Но взявшись за нее, так набрасывается на свинину, будто три дня постился. Амилия с довольным видом наблюдает за ним. Ей всегда приятно, когда кто-нибудь угощается в настоятельском доме. А тут еще Ефимка, заморив первого червячка, изрекает:

— Есть в Литве хорошие люди.

Амилия прямо расцветает. Готова поднести Ефимке еще тройную порцию мяса. Все дело портит Раполас со своим вопросом:

— А в России нет хороших людей? Там что, одни черти живут?

— Зачем черти? Обыкновенные большевики.

— А что, большевики эти дали тебе коленкой под зад?

— Раполас!— кричит Амилия, переменившись в лице.— Опять за свое!..

Ефимка ничего не говорит, но есть перестает. Сидит, уставился опять в стенку.

— Крышка,— сердится Амилия.— Вот и испортил человеку аппетит. Кушай, служивый, не слушай его, оголтелого.

— Теперь я не человек,— с горечью говорит Ефимка.— Раньше мы были людьми. Раньше!

— Раньше? — переспрашивает Раполас. — А теперь ты кто, господин Ефимка, раз уж человеком побывал?

— Раполас!— кричит Амилия.— Не видишь, что человеку и без того несладко.

Ефимка шмыгает носом и долго молчит. Потом говорит, обращаясь не к Раполасу, а к Амилии:

— У папаши дом в Петрограде был, сад на Выборгской стороне, дача в Финляндии.

— Да, да, знаю, знаю,— качает головой Амилия.— Не приведи боже!

— Стало быть, без сада на Выборгской стороне человек уж не человек?— спрашивает Раполас.

— Пришли, выгнали, отняли,— говорит Ефимка Амилии.— Убежали, в чем были, запасную пару брюк не захватили...

— И про это знаю... Не приведи...

— И без запасной пары брюк человек уж не человек?— не унимается Раполас.

Ефимка вскакивает, угрожающе кричит:

— Прошу с полицией повежливее!

— Чего там повежливее,— недоумевает Раполас.— Ты же сам не считаешь себя человеком.

Ефимка не знает, что и сказать, но на подмогу и на сей раз приходит Амилия.

— Раполас! Ай, как красиво — насмехаешься над несчастным человеком.

— Какой он несчастный?— опять недоумевает Раполас.— Одет, обут, в настоящем доме свинину

ест, а когда отобьет тебя у Пранукаса — будет как сыр в масле кататься.

— Раполас!..

— Чем не муж? И мундир имеется, и штаны, а если хорошенько поискать, и в штанах кое-что найдется. А кто такой твой Пранукас? Только знает, что свечки тушить да клячами барышничать.

— Да господин Ефимка женатый! И такие речи в настоятельских покоях.

— Людская — не настоятельские покои.

Покуда Раполас и Амилия препираются, Ефимка ничего не говорит и не ест. Когда они кончают, заговаривает он:

— Вот уеду в Харбин. Или в Париж... Возьму и укачу. Нашего брата теперь везде найдешь. Рассеяла своих детей по всему свету матушка Россия, рассеяла, но своего слова еще не сказала. Она еще скажет, скажет матушка Россия. Тогда посмотрим...

Покуда он говорит это, в дверях — снова барышня:

— Переменить тарелки.

Полночь. Амилия все хлопочет. Раполас, плюнув, укладывается спать. И у меня глаза слипаются. А Ефимка все сидит. Сидит прямо, точно аршин проглотил. Потом начинает клониться в одну сторону, тут же вздрагивает и опять выпрямляется. Амилия ходит на цыпочках, чтобы не шуметь. Ефимка уже клонится в другую сторону, опять вздрагивает...

Долго это продолжается.

Вот так и живем.

Утром, как встанем, идем на скотный двор. Везде темно, только мутно розовеют высокие узкие окна костела. Слышно гуденье органа. Пранукас уже зажег свечи и органист Йоцкус взошел на хоры. Оба ксендза служат обедню ежедневно и, когда хотят освободиться на весь день, служат затемно. Потому еще до зари гудит орган и розовеют окна. Кругом снега, навалило у заборов и в саду, и на задах, и вокруг колодца с высоким срубом и навесом. Хрустит и трещит ледяная корочка под ногами. Мороз хватает за нос и щеки, не щадит и ушей, цапает за все, что плохо прикрыто. Отворишь хлев — сразу оборачиваются давно проснув-

шиеся коровы, будто и не ложились они. Стоят, глядят, а глаза большущие, словно озера, добрые, разумные. Кажется, вот-вот скажет тебе что-то хорошее-хорошее. Видать не вовсе это сказки люди рассказывают, что в ночь под рождество животные разговаривают друг с другом. Но сейчас не рождественская ночь, а утро. Коровы молчат, а кинешь в ясли сенца с соломой либо подвалишь в колоду запаренной мякины, они, громко вздыхая, принимаются есть, и пахнет от них молоком. В загородке шебуршатся овцы. Вот нетерпеливый народ! Лезут прямо друг на друга, высовываются, а уж блеют, словно не евши не со вчерашнего вечера, а с самой осени у них соломинки во рту не было. В другой половине скотного двора двери в конюшню. Раполас и Винцулис таскают плетушки сена, меняют подстилку, наливают в колоды свежей воды. Кони тихо ржут — благодарят. Это вам не овцы! Шерсть гладкая, лоснится, шеи выгнуты, волнистые гривы перекинута на одну сторону, рассыпаются по шее, точно у девушки, распустившей косы. В глазах огонь; обернется, глянет на тебя и тут же ударит передним копытом оземь либо о колоду, о дно ясель... Здесь и запах стоит особенный — терпкий, мужской.

Но мне нет ходу к коням. Не пускает Раполас, ну и Винцулис.

— Ты пастух,— запомни это!

Я-то запомню. Ужо подрасту, не стану пускать к коням других, кому в ту пору доведется пастушить. Я буду батрак, а они — пастухи. Я запомню. Должна быть на свете справедливость!

Управившись со скотиной, идем завтракать.

Уже рассвело, высокие окна костела больше не розовеют, замолк и орган. Ксендзы кончили службу. Зато светятся окна их комнат, особенно у викария. Видать, опять надел наушники и слушает радио. Так никто и не растолкует мне путем, что такое радио. Даже Раполас. Однажды вывел меня на двор, показал наверх, спрашивает:

— Видишь?

На крыше настоятельского дома торчит деревянный шест, к нему привязана длинная проволока и протянута к другому шесту, на том краю крыши. А на проволоку надеты маленькие белые катушки.

— И что это такое?— удивляюсь.

— Да радио же, бестолочь. Спрашивает и спрашивает... Радио это, понял?

— Радио? Вот эти шесты?

Раполас сплюнул.

— Не шесты, а радио... Их еще антеннами называют. Все понимают, один ты не понимаешь!

— А сам ты, Раполас... правда, понимаешь?

Раполас, конечно, рассердился. Ну да ненадолго. Он никогда не сердится подолгу. Насупится, прикрикнет, поворчит, а там, глядь — снова веселый.

— Как так не понимаешь? — удивляется. — А я-то тебя мозговитым считал. Тебе говорят, шесты эти — не шесты, а антенны... Радиоантенны, понял?

— Не понял, Раполас.

— Что тут понимать, бестолочь, — сердится Раполас. — Антенны же. Антенны! Они ловят из воздуха музыку, разговоры...

— Откуда, откуда?

— Из воздуха! Ловят и передают в дом, — понял Ксендзу Скайстису в наушники передают. А он слушает. Ну чего ухмыляешься?

Меня и правда разбирает смех. Музыка из воздуха? Кто же там играет? И как — сидя на облаке, что ли? А если и так, если играет кто, как же ты поймал шестом эту музыку или разговоры?.. Последний дурак, и тот знает, что люди разговаривают на земле, а не в воздухе, и не через шесты, а прямо так...

— Все еще не понял?

— А сам ты, Раполас?

— Ничего не выйдет, — сказал Раполас, махнув рукой. — Никак тебе не растолкуешь, хоть дубиной в голову вбивай. Смекалки у тебя не хватает, вот в чем горе.

Так и не растолковал. Но на этом не успокоился. Чуть не каждый день спрашивал:

— Понял теперь, что за штука радио?

Я отвечал, что не понял, и он однажды сказал:

— Послушать бы тебе в наушники. Сразу бы раскумекал. Мне викарий давал, я мигом смекнул.

И сердито добавил:

— Не даст тебе викарий. Он только хорошим ребятам дает!

— А я чем плох?

— Ты у причастия не был.

Тем и кончилась эта наука. Все понимают, что за штука радио, один я не понимаю. И сейчас ксендз слушает, оседлав голову наушниками, а мы идем завтракать.

Завтраки в настоятельском доме сытные. Чего только нет на столе! Но едят здесь не из общей чашки, как у других, а каждый из своей миски. Мясо брать руками нельзя. На это есть железные вилки: нацепишь на нее кусок, тогда уж в рот. А перед едой все встают вокруг стола, всяк перед своей миской, а Амилия читает молитву.

— Благослови, боже, нас и дары твои, вкушаемые по милости твоей. Во имя господа нашего Иисуса Христа. Амины!

Мы повторяем за ней молитву, говорим «аминь» и крестимся. Один Раполас ничего не говорит, а когда надо креститься, только мазнет пальцами вокруг носа и первым усаживается за свою миску. Он во всем первый.

После еды Амилия опять встает, заставляет подняться всех нас и читает:

— Благодарю тебя, господи, подателя благ и хлеба насущного. Во имя господа нашего Иисуса Христа, аминь.

Мы тоже повторяем за ней молитву, крестимся, а Раполас опять мазнет только пальцами вокруг носа и все.

Так подошло время мять лен. Своей льномялки у настоятеля нет, и Раполас с Винцулисом несколько дней возили лен в Кикильджяй. Там живет брат настоятеля, по фамилии тоже Балайшис, а звать его Юозапас. Такой низенький, длиннорукий и до того кривобокий, будто кто хватил его оглоблей или колом и изувечил на всю жизнь. У него и льномялка есть и овин. Раполас несколько ночей подряд топил его и сушил лен, а теперь принялись мять его.

Мялка стоит под навесом. Друг над другом три длинных кленовых вальца, перед ними — скамья. На ней сидят Амилия с Агне. Раполас таскает из овина охапки сухого, горячего льна, и у всех во рту становится сухо и горячо. Таскает и сбрасывает у ног Амилии и Агне. Винцулис выбирает по горсти и подает мяльщицам. Они запускают в мялку. Суют горсть между вальцами и, не дожидаясь, когда ее втянет, запускают

другую горсть, потом третью... Уж и не видно самих вальцов, вертится один лен. Амилия и Агне подхватывают выползающие из-под вальцов горсти льна, запускают снова и снова, покуда не изомнет их вконец. Тогда хватают их левой рукой и откладывают в сторону, а правой запускают новые. Тут тебе не оглянуться, ни слова вымолвить, знай следы, чтобы вальцы не вертелись вхолостую, да и остерегайся, как бы вместе со льном не измяло пальцы. У обеих головы закутаны платками, виднеются только глаза да кончики носов, а когда подолгу мнут, их засыпает кострой и клочьями льна от макушки до скамьи, на которой они сидят. И не различишь, которая из них Амилия, которая Агне.

Я погоняю лошадь, припряженную к длинному дышло. Дышло вертит шестерню по деревянному кругу, на котором я стою, шестерня вертит вальцы. Шум стоит, грохот, а иногда где-то заедает, и лошадь натягивает постромки, останавливается. Тогда Амилия кричит Винцулису:

— Поменьше, поменьше горсти подавай! Вальцы переломаешь!..

Когда набирается порядочно перемятого льна, Раполас складывает его в снопы, перевязывает соломенными связлами и несет в сани. Саней трое. Долго еще придется мять, покуда нагрузишь их.

Еще не намяли на одни сани, как является Тересе. Утром, когда выезжали из дому, она процедила:

— Одни сани — Юозапасу.

Раполас не расслышал.

— Тебе говорю, — еще раз процедила Тересе.

Раполас опять не расслышал. Не потому ли и примчалась она в расписных одноконных санках с разными вычурами по бокам и парой голубков на задке?

— Бог помочь, — поздоровалась.

— Спасибо, — ответила Амилия, сдувая с губ костру.

Барышня больше ничего не сказала, обернулась только к Раполасу и воззрилась на него. А он и не видел ее, вязал себе снопы и таскал их в сани. Барышня заторопилась во двор, зашла в избу и пробыла там долго, а когда вернулась — опять к Раполасу:

— Не исполнил, что тебе сказано?

Он не ответил. Одни сани были уж нагружены. Он впряг лошадь, вскочил на воз, тронул вожжами.

— Давно бы так,— обрадовалась барышня.

Недолго она радовалась. Раполас поехал, проехал ворота, и свернул на проселочную дорогу. Барышня хотела было помчаться вдогонку, а лошадь, как назло, была выпряжена и преспокойно хрупала сено. Барышня побледнела, всплеснула руками, постояла-постояла и — в избу. Вышел Юозапас, молча запряг ее лошадь, подъехал к окну. Показалась из избы и барышня. Села в санки, укатила.

А Раполас вернулся из дому порожняком. Опять принялся таскать из овина охапки горячего льна, вязать снопы.

Вечером, когда уж выгрузили лен, пришел на нашу половину ксендз-настоятель. Долго глядел на Раполаса, под конец признался:

— Не раскушу я тебя, братец.

— А я — вас, ксендз-настоятель.

Настоятель еще помолчал.

— Точно это не мой, точно твой лен.

— Да и не Юозапасов, ксендз-настоятель.

— Собственно говоря, твое какое дело?

— Как так не мое? Я его сеял, я бороновал, я из мочила таскал, а тут, глядь, заявляется какой-то Юозапас, и вот изволь отдать ему лен.

Настоятель, видать, хотел рассердиться, но ничего у него не вышло. Взглянул на Раполаса и рассмеялся.

— Не понимаю,— сказал он, разводя руками.— Не твой же лен, Раполас.

— Да и не Юозапасов, ксендз-настоятель.

— В конце концов не обеднели бы и без этих нескольких связок... Зато в доме было бы покойно.

— За покой — воз льна?

— И два воза отдашь,— сказал настоятель.— И десять, если понадобится. Покой, братец,— бесценная вещь.

— Ни одной прядки не дам,— отрезал Раполас,— мне и со льном покойно.

Больше ничего не сказал настоятель, поднялся со скамьи и попросил:

— Не вздорь ты с Тересе. Не надо...



Вышел, затворил за собой дверь. Амилия стояла, глядя на затворенную дверь, и глаза у него были полны слез.

- Страшный ты человек, Раполас.
- Надо бы пострашнее быть, да не умею. А когда



научусь, возьму дубину да по головам всем, по головам. И по бокам,— добавил немного погодя.

После ужина зашла к нам барышня, остановилась в дверях, как всегда, и сказала, не шевеля губами:

— Пастушка к ксендзу-настоятелю.

Барышня никогда ничего не скажет мне прямо: поди туда-то, сделай то-то,— а все только: пастушок отведет лошадей, пастушок поможет отнести белье на речку, пастушок задаст корм скотине...

В этот раз она пошла со мной, и к настоятелю вошла, стала у порога, сцепив свои синие узловатые пальцы, и стала ждать, что будет дальше. Настоятель спустил на нос очки и поглядел поверх на меня.

— Правда ли, что ты не допущен к причастию?

— Правда, ксендз-настоятель.

— Не врет он,— подтвердила Тересе.

— Отчего же не сказал, когда тебя нанимали?— спросил настоятель.

— А никто не спрашивал.

— Спросит тебе Раполас. Больно дорожит большевик доброй славой настоятельского дома.

— Не горячись, Тереселе.

— Ты уж прости, братец ксендз-настоятель, только ведь все на мою голову валится. Викарий рвет и мечет из-за Раполаса: большевик в настоятельском доме. А тут вдобавок нехристы! Донесет вот, куда тогда деваться, как оправдаться?

— И доносить нечего. Подумаешь — пастушок без причастия...

Настоятель усмехнулся. Но барышне не до смеха. Брови нахмурила, стоит — столб столбом и твердит свое:

— Ему и пастушок на руку. Ему все на руку, лишь бы выжить тебя, самому твое место занять.

— Преувеличиваешь, Тересе,— смеется настоятель.— Молодой, энергичный, начитанный,— зачем ему на мое место? Ему дорога в каноники, в прелаты, возможно, и в епископы. Мы еще выпьем за ксендза Скайстиса. Преувеличиваешь, преувеличиваешь, Тереселе...

— Однажды жаловался уж, подставил ножку?

— Это тебе так показалось, Тереселе.

Барышня всхлипнула.

— Ну что ты, сестрица, что, милая?

— Откажем им обоим, братец ксендз-настоятель. И тому большевику, Раполасу, и этому нехристю. Хоть разок душу отвести...

— Неглупый совет, Тереселе,— усмехнулся настоятель.

— В доме покой водворится...

— Может быть. В доме, может быть.

Барышня замолчала. Ждала ответа.

— Уведи, Тереселе, этого... как ты его называешь? Нехрестя этого,— опять улыбнулся настоятель.— Отведи в богадельню, к этой... как там ее? К Уршуле. Пусть позанимается с ним катехизисом, подготовит его. Приведем его к первому причастию. Тебе-то хоть хочется?— обернулся ко мне настоятель.

— Очень даже хочется, ксендз-настоятель.

— Очень даже, очень даже, а видать, не очень-то,— сказал настоятель.— Приехал — ничего не сказал и руку мне не поцеловал... Не поцеловал — помнишь ведь?

— Помню, ксендз-настоятель. Я все помню.

— И на том спасибо. Видать, не такой уж ты закоренелый грешник.

— Не станет Уршуле заниматься с ним, ксендз-настоятель,— всхлипнула опять барышня.

— Это почему же не станет? Ты объясни ей, попроси хорошенько.

— Будет она терять время с одним мальчишкой. Ей надо целую кучу ребят набрать. Богаделки на одного и глядеть не захотят. Они кучку наберут и учат — или ты не знаешь, братец ксендз-настоятель?

— Тогда пусть пристроят и пастушка, мне-то все равно.

— Это легко сказать, да ребят они только весной набирают.

— Вот и мы обождем до весны — над нами не каплет.

— Весной он стадо пасти будет, где там катехизис учить.

— Гм...— Настоятель взял щепотью свой подбородок.— Опять не получается?

— Прогнать его, и вся недолга, братец. Неужто другого пастуха не сыщем?

— Сыскать, возможно, и сыщем, Тереселе. Возможно, и сыщем.

— К настоятелю любой пойдет.

— Знаешь, что, милая сестричка? Скажи ты своей Уршуле, пусть она все же позанимается с одним моим пастухом. С самого начала поучит, а потом мы уволим его от стада и присоединим ко всем ученикам. Хорошо?

- Не станет Уршуде с одним время терять.
- Хм... Он как-никак настоятельский пастух.

Барышня опять всхлипнула. Погромче, чем в первый раз. И платочек вынула. Настоятель поманил меня пальцем.

- Видал, что ты наделал?— спросил.
- Да я не нарочно, ксендз-настоятель.
- Не хватало еще, чтобы нарочно. Ну, иди к себе, живи по-прежнему. И слушайся барышни. Во всем слушайся. Она это не со зла — слышишь?
- Буду слушаться, ксендз-настоятель.
- Полагаю, что будешь слушаться, полагаю.

Барышня громко высморкалась.

— И все? И все, братец ксендз-настоятель? Так разговаривать с пастухом!.. Да он, нехристь, на голове ходить теперь будет!

— Возможно и так, сестрица, возможно и так. Кажется, мы с тобой не ахти какие Песталоцци,— ответил ей настоятель.

В тот вечер барышня не отвела меня к Уршуде, а на другой день и вести не пришлось: задолго до свету мы выехали в лес.

Выехали втроем. Раполас, как и следует старшему, впереди. Я — за ним. А позади меня — Винцулис, усевшись в дровнях отчего-то спиной к лошади. Снег скрипит под полозьями, лошади приминают его копытами, а жутко, а тихо как всюду — в полях и в кустарниках. Миновал рождественский пост, волки давно кончили править свадьбы, не воют, не бьются между собой, став на дыбы. И зайчишки вернулись с хуторских садов, обгрызли молодые яблоньки и теперь залегли в снегу, затаились — знают, что виноваты. Не твякнет нигде и лисица. Только изредка осыпается иней с придорожных ольх и ветел, но так тихо, будто и не иней это, а игла или спица выпала из рук Амелии. Звезды глядят с вышины, разливается Млечный Путь. Все тише и тише звенит иней, глуше стучат копыта, и скрипит снег под полозьями, и чудится тогда, будто едем мы не по дороге, а по замерзшему Млечному Пути.

Долго так.

А потом звезды как-то разом перемигнутся и поля кругом словно бы затаят дыхание. И мы сами будто не едем уж, остановились.

— Светает,— радостно возвестил Раполас со своих дровней.

Возвестил, и тотчас восточную сторону неба тронул веселый багрянец — сперва темный, густой, он все светлел, все светлел... Он лез выше и выше, золотил тучки, побеждал звезды, тихо умиравшие в небесах. И тогда справа выплыла из темноты вытянувшаяся в длину деревня — уже проснувшаяся, со скрипом колодезных журавлей и хриплым собачьим лаем, со вкусно пахнущим дымком.

Налево от дороги сбились в кучку сосенки — все в белых платочках, словно молодухи в костеле слушают проповедь, либо певчие собрались на верхотуре перед самой обедней. Может, сосны эти спали еще, видели свои холодные сны, а может, проснулись и горюют, что давно промчались три короля¹, а все не скачет святой Юргис, не машет им своим копьём с серебряными вербными барашками: зима будет долгая, глухая, дремучая. Так стояли они и молчали. Вот и мы проехали мимо. А за сосняком — опять поля, утопающий в придорожных сугробах низкорослый тальник, звенящие замерзшими слезами ольхи, заоченелый березничок на косогоре, в низине обширное болото, отгородившееся от всего света непроходимыми зарослями крушины: может, сторожит оно горемычные сосенки на вспученном мшарнике, а может, прячет от человеческих глаз таинственные бездонные «окна»? Разве различишь тут что-нибудь зимой! Все под снегом, под сверкающим в прогалах льдом... Дальше, за этим болотом — опять деревня, потом хутор, один, другой, вдалеке чернеет под огнем зари ельник...

Раполас свистнул, махнул рукой, чтобы сворачивали с дороги, и сам свернул. И тут же его лошадь очутилась по брюхо в снегу. Захрапела, забилась и, загребая копытами замерзшую под снегом грязь, выбралась, пошла шагом. А где провалилась — открылась широкая и глубокая ямища от вывороченного бурей дерева — сущий капкан в снегу. Зато я объехал подальше, только-только

¹ То есть минул праздник крещения.

бы не опрокинуться по другую сторону дороги. И Винцулис проехал по моему следу. Когда мы сворачивали, Раполас придержал лошадь и подождал нас.

— В мясоед дороги — одним волкам раздолье, — заметил он.

И опять тронулся. В самую чашу.

В лесу снегу раза в три больше. Пригибает к земле и каждую ветку орешины, и шапку можжевельника. Не различишь под ним, где пень, где утоптанная коровами тропа, где молодая поросль. Солнца не видать, а светло, как днем. Вот ели: нижние сучья глубоко впаены в белые сугробы, верхние — прижаты к стволу. Оттого и кажутся, будто исхудали они все. Молчат березы, развесив плакучие ветви, поблескивают на них ледышки — следы давно забытой оттепели. Молчат на просеках молодые сосенки, терпеливо держат на своих зеленых плечах зимнюю ношу. Молчат нескончаемые заросли береста. Молчит низкорослая рябинка — по шею увязла в сугробе, но упрямо держит гроздь ярко-красных ягод на высоко занесенном суку. Молчит лес... Будто кто-то пришел, остановился под деревьями и ждет. И все деревья ждут вместе с ним. И хоть не видно ни единой живой твари ни под деревьями, ни в лещиннике, ни на просеках, ни на полянах — все равно чудится — стоит, ждет.

Молчит лес. Лишь с верхушек берез сыплется какая-то розовая шелуха. Снег под ними побурел уж, она все сыплется и сыплется.

Там, наверху, светит солнышко, и со всех сторон слетелись грузные красногрудые снегири, суется непоседливые воробьи, синицы. Расклеывают, лущат березовые сережки, стряхивают наземь облака розовой пыли. Завтракают.

Раполас вылез из дровней, потянулся, поднял одну руку, другую, потом задрал одну за другой обе ноги. И вдруг застыл от удивления.

— Красота-то, красота-то, — говорит он.

Сделал шаг в сторону и сразу ухнул в снег. По самую рыхлу. Огляделся по сторонам и захохотал — весело, залиvisto. От его хохота в ельнике встрепулась серовато-рыжая белочка, забегала по поникшей ветке, осыпая снег. Добежала до конца, распласталась, распушила хвост и прыг на другую ветку. Снежная

пыль взвилась от ее прыжка. А белочка уж на третьей ветке, на четвертой, вот уж и на вершине... Снег осыпается из-под лапок, падает на нижние ветки, стряхивает и с них, а они — с самых нижних веток. Когда белочка скрылась с глаз, весь ельник был окутан белым снежным облаком. Будто и не белочка это пробежала, а вихрь качнул старые, мохнатые ели.

— Видал?— обернулся ко мне Раполас.— Видал?

Он все еще стоял по самую рассоху в снегу и глядел на растревоженный ельник.

— Одна зверушка что сделала, а?— дивился и все не мог надивиться он.— Здорово, а?

— Еще бы не здорово,— согласился я.

— Целый ельник одна махонькая зверушка... Одна!— дивился и дивился Раполас.— Одна...

И тут же спросил меня:

— А знаешь, почему это? Как ей удалось? Знаешь?

Я молчал. Поди знай, почему. Раполас, не отрывая взгляда от ельника, растолковал мне:

— Потому, что весело ей. Веселому все удается.

— Все одно подохнет,— отозвался Винцулис.

Как приехали, он все сидел в своих дровнях, только повернулся лицом к лошади. Замерз, заоченел, ношишко стал почти вишневого цвета, и редкие волосики под ним прилипли к губе.

— Это кто же подохнет?— обернулся к нему Раполас.

— Белка подохнет, все подохнут,— просипел Винцулис.— И подошли уж, замерзли...

Раполас, не сходя с места, начал откидывать руками снег из-под ног: то в одну сторону, то в другую. Получилась ямка — белая, глубокая.

— Поди-ка сюда!— поманил Винцулиса.

Тот и не пошевелился.

— Чего я там не видал?

Раполас прищурился.

— Просить тебя прикажешь?

Винцулис струхнул. У нас все знали: когда Раполас прищурится, добра не жди. Знал и Винцулис. Вылез из саней, прищандыбал, остановился, повернувшись боком.

— Ну, чего?

Из белой ямки у ног Раполаса весело выглядывала елочка. Малюсенькая, только-только вылезла на свет,

а мохнатая, как настоящая ель, прикрывает вокруг землю смолистыми лапками.

— Кто замерз?— строго спросил Раполас.— Где?

Винцулис топтался на месте. На елочку он не глядел. Раполас взял его за шиворот и пихнул прямо лицом в ямку.

— Понюхай! Понюхай, дурень!— крикнул он.

Я только тут почуял носом, что от елочки хорошо пахнет, вкусно. Свежей смолой. Винцулис брыкался, рвался из рук Раполаса и, давясь снегом, мычал:

— Ты не очень... не очень...

Раполас сейчас же отпустил его, даже руки о полшубок вытер. Видать, наскучило ему это.

— Дураку везде плохо,— сказал он сплюнув.

И пошел прямо по целине к штабелям кряжей, которые были заготовлены, наверно, еще с осени, а теперь сплошь скрылись под сугробами. Уперся плечом, подтолкнул. В штабеле затрещало, из-под снега показались кряжи — все береза и черная ольха.

— Подведи лошадь,— сказал мне. — Будем накладывать.

Но работали мы недолго. Из темного ельника, недавно прошелестевшего под снежным облаком, вышел немолодой уж усатый мужик в теплой шапке. В руках у него был ясенеый обломок. Остановился, разглядел нас, спросил:

— От ксендза-настоятеля будете?

— Нет, не от настоятеля,— ухмыльнулся Раполас.— От викарня.

— А ты не скаль зубы,— сказал усатый.— Гляжу, свои ли дрова забираете.

— Нет, не свои,— опять ухмыльнулся Раполас и остановился.— Или не видишь — воруем? Самогона вчера перепил, Барчюс? Окосел с похмелья?

— Ищу вора,— не вдруг ответил усатый.

— О, да ты не там ищешь,— усмехнулся Раполас.— Что украли-то?

— Строевые бревна вывезли. Прошлой ночью.

— Как так строевые? Чьи? — перестал уже усмехаться Раполас.— Чьи вывезли?

— Ваши. Настоятеливы.

— Чьи, чьи?— недоверчиво переспросил Раполас.

— Я и говорю — не скаль зубы. Настоятеливы.

— Настоятеливы? Это которые за ельником срублены?

— За ельником.

Не говоря ни слова, Раполас побежал к ельнику. Вернулся оттуда не скоро, сердитый, глядя себе под ноги.

— И какой дьявол вывез?— спросил, не глядя на мужика.— Как же ты караулил, Барчюс?

— Поймаю.

— Так он тебе и дался! Надо было глядеть да глядеть. На что ты здесь поставлен?

— Поймаю,— опять посулился мужик.— Улику оставил,— показал на ясеневый обломок.— От копыла отломился. Не бойся, найду. Не таких поймать удавалось.

— Найдешь,— зло ухмыльнулся Раполас.— Дровней в волости тысячи. У каждого будешь нагибаться, прикладывать свою щепку? На сто лет работы...

— Зачем у каждого? У бедняцких незачем нагибаться. Правду сказать, и у середняцких... Тут кто-то из многоземельных орудовал. А много ли их в волости? Я его выслежу.

Раполас уж без усмешки поглядел на мужичка.

— Это как же так?

— Лес покажет. Лес покажет, где другие люди проехали, а где вор. У вора колеи пошире, овес на снег просыпался. Много ли бедняк овса просыпет? Тут дай бог клочок сена лошадке подбросить.

— Может, и твоя правда,— согласился Раполас.

— Поймаю.

— Сперва поймай, потом уж хвастайся,— буркнул Раполас.— А вот что я ксендзу-настоятелю скажу?

— Ничего не говори. Не ты сторожил, не тебе и отвечать. Сам скажу. Поймаю вора и зайду. А пока что — поклон ему от меня.

Сказал это мужик и отошел, скрылся в темном ельнике.

— Не поймает,— подал голос Винцулис.— Разве так ловят вора? Всем рассказывает, обломок показывает... Вор, может, давно услышал про это и дровни сжег. Поймай его теперь.

— Шут его знает,— пробормотал Раполас,— может, и твоя правда.

— Не поймает.

— Ладно, давай наваливать, — крикнул Раполас, опять подходя к штабелю. — Пока тут разводим тары-бары про воров, и день кончится. Берись за другой конец!

Винцулис взялся обеими руками за кряж. Приподнял с таким трудом, что я подбежал помочь. Раполас как заорет:

— Пошел прочь, чертов недоносок!

Сбросили с Винцулисом кряж на дровни, уложили на поперечину. Раполас похлопал рукавицей о рукавицу, стряхивая снег, сердито спросил:

— Грыжу нажать хочешь, ослиная нога? Куда лезешь, когда тебя не просят? По плечу ли пастуху эта работа?

— Не больно по плечу и мне, — вставил слово Винцулис.

— Ты, дурень, помалкивай! Берись за другой конец! — напустился и на него Раполас.

Наложили одни дровни, перекинули поперек цепь, накрепко затянули, поддев под нее кол, так что воз встряхнуло и кряжи плотно прилегли один к другому. Потом подвели другую подводу. Опять таскали, укладывали, затягивали, пока не нагрузили все дровни. Раполас взялся за вожжи, вывел по очереди все подводы из леса на дорогу. Снег глубокий, воз то качнется в одну сторону, то наклонится в другую, то застрянет между корневищ... Раполас смотрит во все глаза, чтобы вовремя поддержать, чтобы не опрокинулся воз, не завяз в снегу — тут подопрет плечом, там хватает кол, клонит в свою сторону. Лошадь повсдит бсками, беспокойно храпит, выпускает из ноздрей клубы пара.

— Но, по-о-о! — кричит Винцулис. Кричит издали, близко не подходит — пусть Раполас один надрывается. А когда я подбегаю помочь, Раполас неистово кричит:

— Прочь с дороги, ослиная нога! Вот как огрею!..

Покуда выбрался из лесу со всеми упряжками, выводил их на дорогу, солнце пошло на закат. От лошадей валил пар. Теперь они стояли в обратном порядке: Винцулисова, моя, Раполасова.

Раполас отер пот, отвязал холщовую суму, достал из нее хлеб и сало, поделил на три части:

— Дорогой закусим, нечего рассусоливать.

Подмерзшее сало в добрую ладонь толщиной, в середине розовое, а с краю, ближе к коже, точно золотое. А запах от него такой, что издали нос и небо щекочет. И хлеб душистый, белый, с румяной, блестящей корочкой. Прямо тает во рту, а после долго еще тает в животе, и так щекотно становится, что хочется засмеяться. Лошадей и подгонять не надо, бегут, пофыркивая от удовольствия, что дровни легко катятся по наезженной дороге и что домой едем. Воздух пронизан солнцем, оно светит прямо в лицо и от него падают тучи сверкающего инея, опускаются на нас, на везы, на дорогу, на придорожные деревья... Словно чистое золото льется с ясного неба.

Мы с Винцулисом сидим на возах, а Раполас шагает за своими дровнями. На ходу жует сладкий, промерзший хлеб с салом, жмурясь, поглядывает на солнце, улыбается. Солнышко уж невысоко, не бьет в глаза, а будто хочет насмотреться на Раполаса, насмотреться на снежные равнины и лес перед долгой ночью...

— Эй-эй!— слышу вдруг окрик Раполаса.— Куда тебя черт понес?

Кричит он не на меня — на Винцулиса. Здесь, на развилке, нам надо свернуть направо, а Винцулис взял налево, в Кикильджай. Услыхав, он придержал лошадь и сидел опустив глаза. Подбежал Раполас:

— Спрашиваю — куда тебя черт понес?

— Куда надо, туда и понес.

— Поворачивай обратно.

— Сам пово...— буркнул Винцулис, не двигаясь с места и не подымая глаз.

Раполас не стал больше разговаривать — он двинул плечом дровни, да так, что Винцулис вверх тормашками вылетел в сугроб.

— Ты не очень... не очень...— Он выплевывал набравшийся в рот снег, ползком выбираясь из сугроба,

— Хватит и одного вора в настоящем лесу!

— Вот я барышне... Она знает, куда мне сворачивать.

Раполас не ответил, обернулся к дровням. Они стояли на укатанном бугре, словно на коньке крыши, почти висели в воздухе. Тут не то что повернуть — ни на пядь не сдвинешь — мигом рухнут в канаву.

— Выпрягай лошады!— приказал Раполас.

— Очень надо...

— Тебе говорят — выпрягай.— Раполас щелкнул кнутом.— Ну?

Когда Винцулис выпряг, Раполас стал в оглобли и одним рывком повернул дровни,— полозья и скрипеть не успели.

— Теперь запрягай!

— Очень надо...

— А я говорю, запряжешь,— сказал Раполас, отходя к возу.

Винцулис запряг и все грозился плаксивым голосом:

— Ты не очень... Барышня сама знает...

В сумерки доехали до дому, и он тут же выскочил из дровней да прямо к Тересе. Она стояла у дверей людской с фонарем в высоко поднятой руке. Винцулис торопливо рассказывал ей на ухо, подскакивая на своих не очень-то длинных ногах, а Тересе вздрагивала при каждом его прыжке, наконец ткнула фонарь в сугроб и молча пошла в дом. Винцулис, все так же подскакивая, трусил за ней, не переставая рассказывать и пересказывать свое. Раполас подтолкнул меня и показал на него подбородком.

— Любишь грибы-поганки?

— Не люблю.

— Из многоземельных он.

— Многоземельные всякие бывают, Раполас,— усомнился я, вспомнив своих прошлогодних хозяев: Станисловаса, Лауринаса, Лапшу-Антанелиса.

— Всякие? Где это ты видел людей среди многоземельных?

— А Батайтисы?

— Батайтисы? Дьяволы и шайтаны твои Батайтисы.

— И Станисловас?

— Дубина твой Станисловас.

Раполас заметно озлился. Но и меня разбирала злость. Побольше бы таких дубин и многоземельных, как Станисловас! А как помер? От чьей руки? И я спросил Раполаса:

— Скажешь, Казите — ангел?

— Казите? Ты, свиненок, глаза мне не замазывай! Казите — наймитка!

— Раз наймитка, так и хорошая?

Раполас вконец разолился, отошел к своим дровням.

— Тебе Станисловаса жалко?— спросил с усмешкой.

— Ну да, жалко.

— Какой же ты наймит? Болван ты, а не наймит! Лучше помалкивай, мокрогузый, кулацкий заступник!

Перед самым ужином зашел к нам ксендз-настоятель. В людской не было ни Винцулиса, ни Амилии с Агне — разошлись кто куда. Настоятель сел как всегда на скамью у стола. Искося взглянул на Раполаса, спрашивает:

— Ты все воюешь?

— Я по заповеди господней, ксендз-настоятель.

— По господней? Ты же безбожник.

— Мало ли что. Божие — богу, настоятелево — настоятелю. Так, кажись, в святом писании сказано?

Настоятель словно бы усмехнулся, потом опустил голову, помолчал.

— Что мне с тобой делать, Раполас, как дальше держать тебя здесь?

— Как хотите, ксендз-настоятель, так и делайте, а воровать я не дам.

— Уж и воровство! Возиком больше, возиком меньше... В конце концов мы — родня.

— Когда родня, пусть привезут нам с возик. А то все мы да мы.

— Пойми ты, Раполас...

— Я-то понимаю, ксендз-настоятель,— перебил его Раполас. — Все понимаю. Кто не работает, пусть тот и не ест — вот как я понимаю!

Настоятель опять улыбнулся и потом долго молчал.

— Что еще хотел у тебя спросить... Винцулис Тереселе рассказал... Правда это?

— Истинная правда, ксендз-настоятель. Все строевые бревна, что заготовили прошлым летом,— тью-тью.

— Как так? В нашем приходе про воров слухом не слыхали.

— То-то и оно, что слыхали.

— Будто бы?

— Вы и сами знаете, где слыхали, ксендз-настоятель.

Настоятель встал, прошелся по людской, остановился у окна и, не оборачиваясь, спросил:

— Ты так думаешь, Раполас?

— Рад бы так не думать.

Настоятель долго еще молча стоял у окна, повернувшись к нам широкой спиной. Только плечи были чуть опущены.

— Ты Барчюсу не проговорился?

— Барчюс сам узнает, ксендз-настоятель. Нашел в снегу обломок копыла от дровней.

— Обломок нашел?

— Обломок, обломок. Юозапелис, раззява, и украсть толком не умеет.

Настоятель обернулся, походил взад-вперед, остановился перед Раполасом. Тот сразу поднялся со скамьи.

— Что прикажете, ксендз-настоятель?

— Завтра поедете в лес?

— Каждый день ездим.

— Увидишь Барчюса, скажи: жду его у себя. Увидишь?

— Может, увижу.

— Так и скажи: жду его. Еще вот что скажи: пусть на проселок не сворачивает, а едет напрямик.

Розоватые мешки под глазами настоятеля потемнели. Он застегнул вечно расстегнутую на животе сутану и снова расстегнул.

— Понял, Раполас?— спросил, глядя не на Раполаса, а куда-то вбок.

— Очень даже понял.

Настоятель поглядел на него и еще раз спросил:

— Так понял, Раполас?

Раполас лишь кивнул головой в ответ. Немного погодя настоятель вышел. Вышел молча, склонив седую голову на правое плечо и будто всем телом накренившись в эту сторону.

На другой день Барчюс опять появился в лесу возле наших дровней, и Раполас передал ему слова настоятеля.

— С пустыми-то руками зачем являться?— ответил он.

— А если просят тебя?

— Рад бы, да только не сегодня.

— Когда же тебя ждать прикажешь?

— Когда хорька поймаю.

— Хорька?— ухмыльнулся Раполас.— Так ты и поймал его в лесу! Думаешь, сам притащит тебе дровни?

— Авось и притащит,— ответил Барчюс и побрел в чашу леса.

Нагрузили мы дровни, поехали домой.

Так изо дня в день. Каждое утро — в лес. Ранехонько, еще и третьи петухи не пропоют. Встанем, покормим лошадей, наскоро позавтракаем и выезжаем. Возвращаемся поздно вечером, в темноте, и на дворе ждет нас с фонарем не барышня, как раньше, а Амилия. Барышня с того раза больше не выходит встречать нас. Все Амилия и Амилия. И каждый раз сердится:

— Что так поздно? Вас только за смертью посылать.

— Послал бы я тебя коз-куда по такой дороге, тогда бы узнала,— говорит Раполас. Говорит беззлобно. Он всегда разговаривает с ней без всякой злобы и словно бы щадит ее уши.

— А со скотиной мне одной управляться?

— Зачем тебе одной? Агнёте где?

Агнёте стоит здесь же, рядом. При виде Винцулиса она фыркает и прикрывает ладонью рот. Фыркает и Винцулис, хоть и окоченел он, сидя на возу, и нос у него синий.

— Кобылы,— ворчит Раполас.— Жеребцы!..

Пока выгружаешь дровни, управляешься с лошадьми, совсем обессилеешь. За столом кусок в рот не лезет, не слышишь, что там у настоятеля горланят Урбутис, Уткус и Жилюс. Так тебя клонит ко сну, что еле доковыляешь до постели, валишься и спишь, как убитый, до вторых петухов, а там опять вставай, корми лошадей, завтракай и в лес. И опять до позднего вечера.

И так много дней подряд. И еще больше было бы таких дней, если бы не Винцулис. Угодил парень с полным возом в занесенную снегом канаву и разбил дровни. Дали ему новые. Первый день — ничего, второй день — ничего, на третий — трах! — опять Винцулис. И не в канаве, а в кочкарнике, на болоте. Один бог ведает, как его угораздило. Дорога как будто ровная, под гору не съезжать, а он на тебе!.. И опять без дровней. Раполас поругался с настоятелем:

— Сколько раз я говорил, упрашивал: гоните в шею этого косорукого!

— Прогнать легко, да куда ему деваться?

— Пускай идет в монастырь!

Настоятель улыбнулся.

— Ты, брат, думаешь, в монастыре очень нужны такие никчемные?..

— Какие же еще там нужны? Недоноски, недоумки, недотепы — они в монастыре укромный уголок ищут. Как раз такие!..

Настоятель усмехнулся.

— Завтра в лес не поедете, — сказал, — и дровни почините, и лошадям надо дать передышку. Совсем загнали их.

— А дрова из лесу сорока на хвосте вывезет?

— Лес никуда не денется. Днем раньше, днем позже...

— Вам легко говорить, ксендз-настоятель. А ну как снег сойдет?

— Так скоро не сойдет.

— А я говорю — гоните в шею этого косорукого. Он вас, ксендз-настоятель, без порток оставит.

— Когда еще оставит, — успокаивал его настоятель. — А Барчюс не показывался? Сказал ты ему?

— Что из того, что сказал? Всему приходу известно: ксендза-настоятеля кто хочет вокруг пальца обведет. И Барчюсу известно. Зачем ему торопиться?

— И что ты такой злой, Раполас?

— Злой, да не очень, ксендз-настоятель, — насупился Раполас.

На другой день он втащил дровни в денник. Долго стучал топором, чинил. Скотину мы обрядили без него. Без него и позавтракали — такой он был свирепый.

После завтрака на двор настоятельской усадьбы притрусила полудохлая лошаденка, тащившая набитые старой соломой утлые дровенки, величиной чуть ли не со спичечный коробок. В дровенках сидели двое, — как только они там уместились? — мужичишка в подбитой ветром шинели и кошачьем треухе, а рядом женщина в платке, раза в три потолще. Мужичонка выскочил на снег, отдал женщине вожжи и сказал:

— Лошадь кормить не надо, насорит еще... Это настоятельская усадьба, — поняла?

Женщина, видать, поняла, что это настоятельская усадьба, а не простой двор: не то что лошадь покормить, она и сама не вылезла из дровней. Мужичишка побежал к стеклянному крыльцу, заранее сташив с головы треух, и долго топтался там, дожидаясь, когда

его позовут. Но никто не позвал. Настоятель где-то пропал с самого утра, а викарий хоть и был дома, но его комнаты выходили окнами на другую сторону, в сад. Мужичонка, комкая треух, сунулся в дверь. Пробыл за ней недолго — тут же вынырнул обратно. На крыльце появился викарий Скайстис.

— Ты что, отец, шутки шутить приехал?

— Какие шутки, ксенженька,— залепетал мужичонка и сунулся было поцеловать викарию руку.— Я не то, чтобы насчет колокольного звона либо проповеди... Мне бы только могилку святой водой покропить... Как же похороню сына без этого? Нехристь он или удушенник?..

Викарий все не давал ему поцеловать руку.

— Пять литов, отец. Цена без запроса, для всех одинаковая.

— Пять литов? Ксенженька, родной, ангел ты наш ненаглядный!.. Да за пять литов весь мой дворишко вместе со мной купишь. Я не насчет колокольного звона либо, скажем, проповеди... Мне бы только — могилку покропить...

— Пять литов.

— Чтобы покропить — целую пятерку?

— А сколько ты, отец, в кабаке просаживаешь? А для усопшего сына — жалко? На святой костел — жалко? Постыдился бы говорить такое!

Мужичонка почесал затылок, оглянулся на жену, опять обернулся к викарию.

— Так дешевле нельзя?

— Не торгуйся, отец, ты не в лавочку пришел. Цена без запроса, для всех одинаковая. Сам знаешь — не маленький.

— Да мы-то не одинаковые,— опять засуетился мужичишка.— Какому-нибудь Ужусланису либо Пуоджюсу отдать пять литов — раз плюнуть, а мне где взять их? За пять литов весь мой дворишко вместе со мной самим...

— Слышал уж, отец.

— Не прекословь, Юозапас,— подала голос женщина.

— Молчи, баба!— огрызнулся мужичишка на жену.— Хлеб не дотянем до нового урожая, коров нынче уж за хвосты поднимать приходится, а что будет к весне? Я тебя спрашиваю, баба, что будет к весне?

Женщина молчала. Молчал и викарий.

— Если бы, скажем, колокольный звон либо проповедь,— снова обернулся к нему мужичишка.— А мне бы только могилку покропить... Ты, ксенженька, здесь недавно, не знаешь всех наших забот, наших бед, тебе и легко сказать — пять литов! Могилку покропить — и целую пятерку.— Он опять сунулся поцеловать викарию руку. — Ксенженька, соглашайся на два лита!

Викарий попятился, спрятал руку за спину.

— Просить не умеешь,— крикнул из денника Раполас.— На колени, на колени хлопнись.

Мужичонка вздрогнул, оглянулся на денник, опять обернулся к викарию. Женщина в дровнях тоже подавала голос:

— Не спорь, не спорь, Юозапас. Настоятелей работник советует — он знает. Хлопнись — и все.

Мужичонка растерялся. А тут неожиданно-негаданно в ворота — сам настоятель. Веселый, румяный с мороза. Увидел мужичка:

— Здорово, Урбонелис. Что новенького?

Мужичонка мигом забыл про викария. Подбежал к настоятелю,— даже трех из рук выронил.

— Мне только могилку, могилку покропить. Звона не прошу... и проповеди не надо,— лепетал он, то отскакивая, то опять прикладываясь губами к руке настоятеля.— Только покропить, покропить!..

— Постой, Урбонелис,— отнял руку настоятель.— Значит, твой Миколюкас так и умер?

— Ой, ксендз-настоятель, родной ты мой, и как звать его знаешь,— обрадовался мужичонка,— помер он, помер. Не жилец был, все чихал целыми ночами и помер вот. Слышь, Мариёна? — обернулся к жене. — Ксендз-настоятель знает, как звать нашего Миколюкаса.

— Сам крестил, как же не знать,— строго сказал настоятель.

Но мужик так обрадовался, что ничего не слышал.

— Помер, ксенженька-настоятель, как бог свят, помер!— повторял и повторял он.— Нынче ночью и помер, перед петухами, отдал богу непорочную душеньку. Я и гроб сколотил, и стружек подложил, чтобы помягче ему было... Теперь только могилку покропить, чтобы Миколюкасу повеселее было. Ни звона, ни проповеди не надо,

ксенженька-настоятель,— мужичонка перевел дух.— Так и быть — три лита отдам.

— А почему ты стоишь без шапки?— спросил настоятель.

Сам поднял со снега треух, нахлобучил на голову Урбонелису.

— И почему без звона? Разве твой сын был безбожник? Сам его крестил.

— Ксенженька-настоятель... Всего трешка у меня. Хлеб до нового урожая не дотянем...

— Поезжай домой,— приказал ему настоятель.— Миколюкаса привезешь, и колокола будут, и заупокойную отслужу, с органом, и надгробное слово скажу. Ну, чего тебе еще?— спросил он, видя, что мужичок не трогается с места.— Поезжай. Дни теперь короткие, а ехать долго. Одиннадцать верст.

— И сколько верст ты, ксенженька-настоятель, помнишь?— очнулся наконец мужичок.— Не знаю, как и благодарить тебя, какую руку целовать!

— Поезжай, поезжай.

Урбонелис попятился-попятился, пока не стукнулся задом о дровни. Тогда только выпрямился, встал во весь рост. Женщина, вытирая глаза, тронула лошадь.

— Ха-ха-ха!— расхохотался в деннике Раполас.

— Я протестую,— сказал с крыльца викарий.— Люди ко мне обратились, а не к вам, ксендз-настоятель.

— Что, деньги у вас перебил?

— Да, и деньги. Меня бесплатно не учили, отец весь в долгах. Но не это самое главное, ксендз-настоятель.

— А что самое главное?

— Этак можно совратить весь приход. Одному уступишь, другому уступишь, а третий сам постарается на даровщинку. Совращение прихожан это, ксендз-настоятель.

— Столько лет совращаю, а все не совратились,— сказал настоятель.— Авось и не совратятся.

— Я протестую. Я буду вынужден протестовать и выше!

— Ну если вынужден, что же...

Настоятель зашел в дом, оставив на крыльце викария Скайстиса. Тот еще постоял, пожевал губами, а потом не выдержал, мороз и его загнал в дом.

— Новую беду накликать на себя настоятель,— сказал Раполас.

— Какая это беда? Настоятель доброе дело сделал.

— Мал ты еще. Другого не разденешь, сам не оденешься. А ксенженьку Скайстиса раздеть — легче себе руки отрубить. Теперь опять полетит в епархию, нажалуется, наворочает дел... Он всегда так.

Раполас опять взялся за топор. Не столько работал, сколько гудел, ворчал себе под нос:

— Давно они на ножах. Скайстису дай только волю — он с каждого прихожанина по три шкуры сдерет. А настоятель не дает. Сам не дерет и этому не дает. Эх, плохо, плохо придется настоятелю.

— Раполас, а если... на самого vicария в епархию?— предложил я.— За то, что людей грабит, а?

Раполас поднял голову, улыбнулся.

— Мал ты еще.

И больше уж не заговаривал.

А под вечер зашел к нам на двор Барчюс. В той же теплой шапке и с тем же обломком копыла в руке. Будто не три дня, а минуты три назад встретился нам в лесу...

— Здравствуй, работяга,— поздоровался с Раполасом.

— Здравствуй, бродяга,— ответил Раполас.— Нашел-таки? А я думал, ты дремлешь под елкой.

— Старый хорек не скоро попадетсЯ.

— Поймал?

— Как и было сказано.

— Нет, верно?

— От меня еще никто не укрылся.

— И хорош хорек?

— Плохих не берем.

Раполас помолчал.

— Выходит, угадал я?

— Откуда мне знать, про кого ты подумал.

— Да знаешь. Все ты, лесной черт, знаешь.

— Плохих не берем, Раполас,— ответил Барчюс, покручивая ус.

— Что же теперь будет? Ксендз-настоятель знает?

— Не знает. Хотел я было прямо в полицию. Настоятеля жалко стало. Спрошу, думаю, его самого, в какую прорубь толкнуть родственника.

— Умный ты человек, Барчюс. И хитрюга. Суший ты черт, Барчюс,— повеселел Раполас.

— Какая там хитрость. Прошелся по базару с обломком — и все. Сами ноги привели к нужным дровням. Барчюс усмехнулся. Видно, был доволен собой.

— А что он теперь, что Юозапелис?— спросил Раполас.— Не плакался по своему обычаю?

— Он ничего не знает.

— Как не знает?

— Откуда же. Я без него обломок к копылу приложил. Юозапелис сидел в трактире. Теперь протрезвится. И Барчюс повернул к стеклянному крыльцу.

Ни он, ни Раполас не заметили, что там давно стоит викарый Скайстис. Он шагнул навстречу Барчюсу, поскрипывая шнурованными ботинками.

— Слава Иисусу Христу!— начал он.— Ко мне спешите, господин Барчюс? Приятно, приятно.

— И вовеки...— оторопел Барчюс.— Да нет, ксендз викарый, я...

— Ах, значит, к настоятелю?— ободрил его викарый.— Тоже приятно. Все дороги ведут к настоятелю. Но сейчас он занят. Наш настоятель очень занятой человек.

— Я обожду.

— На морозе-то? Что вы, господин Барчюс! Пожалуйста ко мне. Горячего чайку попьем, я как раз собрался выпить. За стаканом чая и обождем. Заходите, пожалуйста, господин Барчюс.

Не успел господин Барчюс и слово вымолвить, а викарый взял его под руку и не ввел, а втащил в дом.

Раполас вогнал топор в колоду, сердито сплюнул.

— Новая беда на настоятелеву голову.

— Какая беда?— не понял я.

— Мал ты еще,— еще раз сплюнул Раполас. Злой, сердитый, взял за оглобли починенные дровни, выволок на двор. Взялся за другие дровни, тоже покалеченные Винцулисом, втащил в денник. Выдернул топор из колоды — и опять бухал, стучал, долбил — казалось, разнесет дровни в щепки. Потом опять вогнал топор в колоду.

— Ты носом между дверей попадал?— спросил меня.

— Как так носом?

— Что, приятно было?

— Ну тебя, Раполас... сбесился ты.

— Не зазнавайся,— обрезал меня.— Кто сует нос между дверей? Сейчас скажу, кто сует.

И заругался. Потихоньку, правда. Не очень-то понял я, чертей ли он поминал, бесов ли, или кого похуже, но раньше не слышал я от него таких слов. Вдруг спросил меня:

— А если надо?

— Что надо, Раполас?

— Мал ты еще...

Крупными шагами пошел через двор к двери, только не к нашей, в людскую, а к стеклянному крыльцу. Вошел. Изнутри — голоса. Сначала Раполас говорил, потом настоятель, за ним Барчюс, потом викарий.

— Перед богом и святой церковью все равны!— визгливо кричал он.— Седьмая заповедь гласит: не укради. И никому святая церковь не разрешит укрывать чужие грехи.

На двор выбежала Амилия.

— Где барышня? Кто видал барышню?

Не успел я ответить, как в доме опять взвизгнул викарий:

— От карающей руки нельзя укрывать ни отца, ни брата, ни ближнего своего. Я буду протестовать... протестовать!

Амилия взбежала на стеклянное крыльцо, — и в дом, хлопнула дверью. Визг викария стих. А из дому вышел Раполас.

— Ты что там наделал?— спросил я.

Раполас не ответил, зашел в денник, взялся за топор.

Вышел Барчюс. Лоб мокрый от пота. В руке шапка. Остановился, вытер мехом лицо, громко выдохнул:

— Уф! Ну и влопался я.

Пошел к воротам, так и не надев шапку.

Рано утром, когда мы только что стали вылезать из постелей, вошла барышня, остановилась в дверях.

— В лес вместо пастушка возьмете Агне.

— На что мне эта егоза?— воззрился на нее Раполас.

— Пастушок останется дома.

— Кому понадобился?

— Ксендз-настоятель велел.

Сказала это барышня и ушла на ксендзовскую половицу. На Раполаса и не взглянула. Давно уж она перестала глядеть на Раполаса. Войдет, начнет говорить, что кому делать, а сама глядит в сторону. И дрожит. И губы у нее дрожат, и узловатые пальцы, и колени под юбкой. Кончит говорить и — в дверь. Раполас только крепче зубы стискивает. Его, понятно, зло разбирает. Что барышня на меня не глядит — ладно, кто я такой? Все-го-то пастушок. А Раполас не пастушок. Как можно разговаривать со взрослым мужчиной и не глядеть на него?

— Твоя какая забота?— ругнула меня Амилия, когда я спросил ее об этом.— Смотри лучше, что у тебя под носом,— вот твоя забота.

А что у меня под носом? Ничего там нет. Еще когда я жил у Чяпулисов, Пятрас однажды сказал мне: «Хочешь быть настоящим мужчиной, первым делом следи, чтобы под носом у тебя было сухо и чисто». С того времени я и слежу. Раз мужчина начинается под носом, то и мне надо отсюда начинать. И где-где, а под носом у меня никогда ничего нет. Два года уж.

— Садитесь завтракать,— сказала Амилия.

После завтрака поехали в лес без меня, как и сказала барышня. Раполас поехал, Винцулис, а вместо меня — Агнёте. Вот и заскрипели полозья их дровней по спящему местечку.

— Чего ты?— накинулась на меня Амилия.— Другой бы обрадовался, спасибо сказал, что в такой мороз дома оставили, а ты надулся.

Мороз и правда завернул еще с вечера, да такой, что заборы прямо-таки стреляли и потрескивали стены дома, особенно со стороны сада. Деревья грецкого ореха перед усадьбой будто выкованы были из железа — черные, звонкие. И яблони, как железные, и сливы в саду. А липы на костельном дворе молчали, словно слушали, как трещат стены и заборы, точно ждали, когда придет и их черед.

— Да-а небось Агнёте поехала,— не удержался я.— Что я плохого сделал, почему меня дома оставили?

— А что ты сделал хорошего? Молитв не знаешь, у первого причастия не был... Что ты сделал хорошего! А ксендзу-настоятелю отвечать за тебя? Думаешь, сладко ему?

— Пускай не отвечает.

— Не отвечает? Ишь, какой умный! По твоей милости как на него вчера викарий взъелся!

Амилия отыскала зеркальце, подышала на него, потом потеряла об юбку пониже поясицы, подала мне. И таким некрасивым увидел я себя в этом зеркальце, что сам вздрогнул. Лицо длинное и нос длинный, шея тонкая, несчастная, а там, где у всех людей волосы, торчит какая-то серая солома. Не настоятельский пастушок, а птица-сойка, когда она верещит и кричит на весь орешник.

— Будет тебе косоротиться.— Амилия отняла у меня зеркальце.— Тут не щетка, тут овечьи ножницы нужны.

Она было пошла за этими ножницами, но тут ее остановила барышня:

— Скажи пастушку, чтобы пошел за мной.

Повернулась и пошла. Пошел и я за ней. Через весь двор, мимо колодца с навесом, через широкие ворота на пустырь перед костельным двором, где по воскресеньям прихожане ставили лошадей. По другую сторону пустыря стояла богадельня — большой деревянный дом. Посредине широкое крытое крыльцо со столбами. К одному столбу был прислонен деревянный Иисус Христос, ростом с Раполаса. Ни стекол, ни пола не было. Дверь осела, не затворялась, внутрь нанесло снегу. Узкие длинные сени насквозь пересекали дом. На обе половины было прорублено по три двери. Едва мы вошли, одна дверь отворилась, высунулась голова мужчины, в очках, с седыми, ежиком, волосами. Это был органист Йоцкус.

— Кто тут разгуливает, шатается? — начал он, но, увидав Тересе, осекся. — Это вы, барышня? Извините...

— Пожалуйста. И вы нас. Может, побеспокоили?

— Что вы, что вы... Если бы вы знали, какого баса я отыскал. Труба иерихонская! — с воодушевлением стал рассказывать органист. — Только обломать надо, порепетировать. Гудит, как паровоз.

— Кто же он такой?

— Матяконюкас. Погорелец из Жайдяляй. Благодаря пожару и нашел его. Ездил по дворам, собирал пожертвования и таким голосищем просил, что я говорю: пойдем, поставлю тебя на хоры, над всеми прихожана-

ми, и в храмовый праздник ты так запоешь, что сам настоящий возрадуется и возвеселится.

— Когда это еще, через несколько месяцев...

— Так и бас еще сырой.

За дверями и правда загудел мужской голос:

— Святой боже, святой крепкий...

— Слышите, барышня, каков матерьяльчик для моего хора! Жайдяльский Шалапин!

— Святой бессме-е-ертный...— гремело за стеной.

— Побегу,— всполошился органист.— Он мне стены обрушит.

Органист пропал за дверью так же быстро, как и появился. Барышня пожевала губами, она, должно быть, улыбалась.

Пошли дальше, но тут из противоположной двери выскочил костельный сторож Пранукас, поклонился:

— Покорнейше прошу — ко мне.

— В другой раз, Пранукас.

— Сейчас прошу, барышня. Житья не стало от органиста. Совсем рехнулся из-за этого баса, кашлянуть никому не даст. Покорнейше прошу — не погнушайтесь моей обителью, поговорить бы надо.

— А ты, Пранукас, нашей обителью не гнушаешься? Когда был у нас в последний раз?

— Виноват, барышня, давно не был. Вы не ругайте, меня органист за всех отругал.

— Поговорить и в настоятельском доме можно. Амилия все на богадельню поглядывает.

— Амилия, Амилия, говорите, барышня?

— И Амилия.

— Да ведь, барышня!.. Я всегда, барышня!.. Да вот у вас в доме большевик Раполас. Только покажешься там, попадешься ему на глаза, он тут же норовит поднять на смех.

— Хороший католик не бегаёт от большевиков.

— И Амилия так сказала?

— И Амилия.

Пранукас заморгал глазами и покраснел.

— Так что передать Амилии?— спросила Тересе.

— Я зайду... Зайду, барышня.

— Давно пора.

— Ей-богу, зайду.

— Зачем так обещать?

— Чтобы Амилия знала. Я не подлец, барышня, не сволочь какая!.. Сказал — зайду, значит, зайду!..

Хотел он сказать еще что-то, но барышня не слушала, дошла до последней двери направо и постучала костяшками пальцев. Дверь сейчас же отворилась, а за дверью стояла женщина — вся в черном, с блестящими золотыми очками на носу. Была она высокая и такая костлявая, что Тересе рядом с ней показалась чуть ли не толстухой.

— Слава Иисусу...

— И во веки веков аминь, — ответила женщина. — Зайти желаете?

— Раз ты так упрашиваешь, — согласилась барышня.

Черная женщина молча посторонилась, дала нам пройти. Комнатка маленькая, с одним окошком на базарную площадь. На окне белоснежная занавеска, стоит тяжелое серебряное распятие. Стены оклеены шпалерами с красными розочками, и везде развешаны священные картинки. На одной Христос идет по морю, с непокрытой головой, шагает прямо по воде и не тонет; там святая Вероника и рядом Христос несет крест, а она утирает ему платком лицо, и на платке тоже лицо Христа. На другой стене святой Антоний с маленьким Христом на руках стоит среди белых ягнят.

— Не глазей по сторонам, — сердито сказала барышня. — В чужом доме надо стоять прямо.

Сама она стояла прямо, а черная женщина посуетилась возле стола, перебрала куски материи, прикрыла ручную швейную машинку, потом взялась за веник, но барышня сказала строго и ей:

— Перестань, мы не в гости пришли, а по делу.

— Догадываюсь, по какому.

— И хорошо, что догадываешься. Меньше разговоров.

Черная женщина не попросила нас сесть, а сама остановилась перед барышней. Так и стояли они — обе высокие, костлявые, будто две высохшие елки.

— Все шьешь?

— Чем же мне жить?

— Ксендз-настоятель, кажется, не обидел. Комнатку в богадельне отвел, в огороде три грядки, яблоню, четыре куста крыжовника...

— Зачем считать от Адама и Евы? Прямо скажите, по какому делу?

— Дело небольшое. Пастушок вот у причастия еще не был.

— Что вы, барышня, порядка не знаете? Как потеплеет, хуторяне приведут своих детей, тогда и вы приведете. Была не была, займусь и с ним.

— Не то говоришь, Уршуле. Когда потеплеет, пастушок будет стадо пасти.

— Чего же вы хотите, барышня? Чтобы я тратила на него время, забросила работу?

— Он как-никак настоятелей пастушок.

— Вижу, что не епископов. А мне чем жить?

— Выходит, обидел тебя ксендз-настоятель?

— Я и не говорю.

— У ксендза-настоятеля все в книге записано. Сколько ты внесла, пожертвовала святому костелу.

— Все приданое пожертвовала.

— Все и записано в книгах, ниточки не пропущено. Ксендз-настоятель ничего себе не взял.

— Я и не говорю, что взял. Я только спрашиваю: чем мне жить? Вот я Матутене юбку в складку шью, Золубас сермягу принес. Шилинайте белье. Все — капля, все — ломоть хлеба. А если я засяду с вашим пастушком твердить молитвы, чем мне жить?

— Ты не руками молитвы твердишь. Посади пастушка в сторонке, все расскажи, покажи и работай себе.

— Говорить-то легко.

— Я правду говорю.

Черная Уршуле замолчала. Тересе тоже. Долго они стояли так, друг против друга. Первая устала молчать Тересе:

— Сколько же тогда возьмешь?

— Это другой разговор, — обрадовалась Уршуле. — Я не из корысти, да жить-то мне чем?

— Не болтай, скажи лучше, много ли сдерешь с ксендза-настоятеля?

— Сколько дадите по совести.

— Нет, — тряхнула головой Тересе, — не могу. И помыслить не могу. С ксендза-настоятеля! За пастушка! И ты бы взяла, Уршуле?

— Опять все сначала?

— Выходит, обидел тебя ксендз-настоятель? Обидел?

— Разве я что говорю? Я только спрашиваю: чем мне жить?

— Нет, ты мне скажи: обидел тебя ксендз-настоятель?

И сцепились. Уршуде кричала, что пастушок у ксендза-настоятеля и не пастушок, а почти батрак, голова у него заостенела, в нее не то что словами, и обухом не вобьешь молитв. Пусть барышня уведет этого быка, откуда привела! В ответ Тересе вопила, что это не бык, а пастушок настоятеля, и не какого-нибудь чужого, а нашего ксендза-настоятеля Балайшиса, и если Уршуде не понимает этого, то пусть хоть вспомнит о приходе, да, да — что подумают прихожане про ксендза-настоятеля, если его собственного пастушка не допустят к первому причастию! Вот о чем надо поразмыслить, а не о своем приданом, которое Уршуде отписала костелу, а свое сердце отдала не костелу, а... а...

Тут Уршуде еще пуще обозлилась и начала кричать, что надо еще поглядеть, чего ради кое-кто засел в настоятельском доме, прядёт шерсть ксендзу-настоятелю, а с нее, бедной христовой невесты, старается шкуру содрать... Тересе даже завизжала от таких слов. Под окнами стал собираться народ, из сеней вбежал вострепанный Пранукас, а за ним органист:

— Репетицию мне срываете!

Женщины опомнились, стали поправлять растрепавшиеся волосы. Обе разгорячились, тяжело дышали.

— Прости меня, Уршуде,— сказала Тересе.

— Прости и ты меня, сестра во Христе.

Органист и костельный сторож исчезли.

— Во славу господню... Так и быть, обучу пастушка...— отдуваясь, сказала Уршуде.

— Мы не обидим. Ксендз-настоятель не обидит... — все еще задыхаясь, проговорила Тересе.

— Не надо. Ничего мне не надо.

— И не спорь, не спорь, сестра во Христе!

Обе сели, хватаясь руками за грудь. Мало-помалу успокоились.

— Значит, как порешили?

— Во славу господню...

— Давай поцелуемся, сестрица...

Опять встали обе, обнялись и прослезились.

— Тогда я и оставлю пастушка. Время-то не ждет.

— Как так оставишь? На что он мне?

— Как порешили, сестрица, как порешили.

— Что порешили? Неужто я возьмусь учить одного пастушка? Все дела брошу? Шутишь ты, сестрица? Когда другие приведут своих детей, тогда и ты приведешь. Вот как мы порешили.

— Погоди...— Тересе выпустила из объятий Уршуле.— Выходит, опять завела старую песню?

— Я, что ли? Это ты завела старую песню, сестрица. Ишь ты, так я ей и взялась обучать одного пастушка. А чем мне жить?

— Что же это выходит? Выходит, обидел тебя все-таки ксендз-настоятель?

— Сестрица... можно ли так? Уговорились, порешили, а теперь ты опять свое!

— Кукушка тебе сестрица, а не я!

Опять схватились. Кричали, орали, каждая свое, чуть в волосы друг дружке не вцепились. И когда вошли в раж, опять прибежали костельный сторож с органистом. Этот прямо от двери начал:

— Крышка. Сорвали мне репетицию! Я было только что вошел во вкус... Еще ксендз-настоятель твердит мне: работа органиста — творческая. Творчество! Нагнали полную богадельню баб... Творчество!

От его крика опять остыли женщины. Барышня схватила меня за вихор, подтолкнула к двери:

— Домой! — сказала сквозь зубы.

— А теперь пустите меня в лес?— спросил я.

Барышня не ответила, а занесла руку и стукнула меня по голове костяшками пальцев. Стукнула так, что в затылке зазвенело.

В лес опять стали ездить одни мужчины. Раполас хмурился и бормотал себе под нос:

— Добром это не кончится. Не кончится.

Настало воскресенье, такое же снежное и морозное, как все эти дни. Еще не рассвело путем, а Раполас уж обрядил скотину и сидел за столом чисто выбритый, в холщовой рубахе. Ждал завтрака.

Дверь отворилась, и вошел человек в длинной сермяге.

— А,— сказал Раполас.— Юозапелис из Кикильджяй пожаловал.

Теперь и я увидел: верно, Юозапелис. Только одет он был по-другому. На плечах выдавшая виды сермяга. Рубаха под сермягой — одни лохмотья, и оборы, и башмаки на деревянных подошвах — хуже не сыщешь, будто дело было не в воскресенье, а сам он не хозяин, а наймит, и не просто наймит, а из последних последних. Пока он стоял у порога, дверь отворилась, одна за другой вошли две женщины, одетые нисколько не лучше его. Юозапелис взял одну из скамеек, поставил поближе к двери, кивнул женщинам, чтобы сели, и сам сел рядом.

— Владыко боже, где вы сели,— словно нищие!— всплеснула руками Амилия.— Проходите, пожалуйста, в комнаты. Ксендз-настоятель, поди, ждет вас?

— Не ждет,— сказал Юозапелис, опустив глаза.

— Никто нас не ждет,— в один голос сказали женщины, точно так же опустив глаза.

В людскую вышла Тересе. Оглядела всех троих и ушла, не сказав ни здравствуй, ни прощай. Тут же вышел настоятель, остановился в дверях и долго стоял там, глядя на гостей. Ни Юозапелис, ни женщины даже глаз не подняли. Настоятель вышел, как и Тересе, не сказав ни слова, а Юозапелис глубоко вздохнул, и после него вздохнули обе женщины.

Амилия подала на стол завтрак.

— Присаживайтесь,— обратилась она к гостям.— Хоть завтрак у нас простецкий, да на голодный желудок сойдет. Не погнушайтесь, придвигайтесь ближе.

— В горло не полезет,— сказал Юозапелис.

— Не полезет,— в один голос сказали обе женщины.

— Не проголодались?— недоверчиво спросила Амилия.— В такую рань из дому!

— Грехи не пускают,— ответил Юозапелис.

— Не пускают,— повторили женщины.

Так они и сидели. Мы успели позавтракать, Раполас приготовлял себе праздничную одежду. Амилия и Агне начищали ботинки, собирались в костел. Близились обедня. Слышно было, как прибывал в костел народ. Пора было идти и нам. А гости сидели и сидели, как прикованные к скамейке. В дверях снова показалась барышня.

— Ксендз-настоятель просит выйти,— объявила она.

Юозапелис крепче стиснул зубы, но с места не стро- нулся. Обе женщины еще ниже опустили головы и тоже не пошевелились.

— И еще ксендз-настоятель просит больше сюда не являться. Когда понадобится, он сам позовет. Слы- шишь, Юозапелис? И вы обе?

Юозапелис не слышал. Не слышали и женщины. Все трое сидели по-прежнему. Барышня подождала немного, ушла. Пошли и мы, так как зазвонили к обедне, а настоя- тель не раз говорил, что нам полагается первыми являть- ся в костел. Мы должны были слушать не только обедню, но и проповедь, а после проповеди и вечерню. Между обедней и вечерней надо было еще задать корм скоти- не, — она ведь знать не хотела ни про обедню, ни про ве- черню, ей бы только поесть. А гости все сидели — и во время обедни, и после обедни, когда мы пришли упра- виться со скотиной, и после вечерни, когда все верну- лись обедать, и даже после обеда, когда на дворе уже стемнело и надо было опять идти к скотине.

— Артисты, — сказал Раполас.

— Раполас! — одернула его Амилия.

— Что — Раполас? Будто сама не знаешь? Этот Юо- запелис так вот ездит и батраков нанимать. Нарядится в самые что ни есть последние лохмотья, из-под собаки выдернет, скроит такую рожу, что, глядя на нее, слеза прошибает: смотрите, мол, люди добрые, какой я бедный, большой платы не требуйте!..

— Раполас! — унимала его Амилия. — Как можно так... людям в глаза?

— А лучше — за глаза? — спросил Раполас, но Ами- лия не ответила, и он опять сердито бросил: — Ар- тисты!

Я первый раз услышал это слово и спросил:

— Раполас, а это кто — артисты?

— Ты разве не видал? Глядеть надо, а не спраши- вать.

— Чего ты разозлился! Уж и спросить нельзя?

— Спросить-то можно, — смягчился он. — Но и са- мому надо смотреть. Много будешь спрашивать, дура- ком себя выставишь, люди на смех поднимут. А ар- тисты кто? Артисты — врали. Возьмем, к примеру, тебя. Кто ты такой?

— Пастух.

— Правильно: пастух. А ты захочешь, чтобы тебя считали настоятелем...

— Настоятелем?— засмеялся я.

— Допустим, захочешь. Вот и начнешь прикидываться настоятелем. А как начнешь, ты уж и не пастух и не настоятель, а артист. Понял?

— Я артист?

— Кто врет, притворяется, тот и есть артист. Ты посмотри,— Раполас показал пальцем в сторону двери.— Ведь богачи, сала, масла у них — нипочем не съесть, а они хотят, чтобы их последними бедняками считали. Так кто же они? Богачи? Нищие? Ни те и не другие. Они артисты.

Артисты все сидели, и хотя Раполас говорил про них громко, никто ничего не слышал, не обернулся, не шелохнулся.

Поздно вечером, после ужина, опять появился на нашей половине настоятель. На сей раз он подошел к артистам, стал перед ними.

— Посадишь?— приподнял голову Юозапелис.

— Ты сам себя хочешь посадить.

— А если нужда заставляет?

— Нужда? С голоду умираешь?

Юозапелис молча потупился.

— Скотины у тебя мало? Землю нечем обрабатывать? На голову льет?

Юозапелис молчал.

— Голый-босый ходишь? В чем у тебя нужда? Где она, твоя нужда?

Юозапелис опять ни слова.

— Что молчишь, слова не вымолвишь? Ну? Налоги тебя задушили? Судебный пристав из дому выгоняет? Что молчишь? Говори! Плачь! Охай! Ну?

Юозапелис с трудом проглотил слюну, не поднимая головы, проговорил:

— Из-за тебя все.

— Что из-за меня?

— Сестры остались ни с чем,— показал локтем на женщин.— Все хозяйство разорили, куда тебя учили, кто же возьмет их, голых? Кто возьмет?

Лицо у настоятеля посерело.

— Вот ты как запел, Юозапелис? — тихо спросил он. — Решил разжалобить? Хозяйство я разорил? А сколь-

ко я вложил в него? За учение я платил из своей доли, не из вашей. И про это забыл? А сколько лет вы доите настоятельную усадьбу? Ну-ка посчитай, милый братец.

Юозапелис только опустил ниже голову.

— А я тебе советую посчитать,— громко сказал настоятель.— Моими плугами землю пашешь, моими боровами боронишь, моими семенами и засеваешь. Выпросил себе племенного быка, а сколько всего без спросу перетаскал? Еще при жизни покойного батюшки, и после него? Посчитай-ка и скажи.

Юозапелис долго молчал. Все старался проглотить слюну, а она не проходила. Юозапелис давился и давился, точно рот у него был набит паклей. Настоятель стоял и ждал. Наконец Юозапелис с грехом пополам выдавил из себя:

— Вот и землю раздаешь...

— Какую землю?

— Еще сказать надо? Настоятельную. Всем отрезаешь, кому гектар, кому и три, а своим что? Хоть бы полосочку залежи лен посеять, хоть бы загон какой дал...

Теперь и у настоятеля горло перехватило. Лицо у него было уж не серое, а багровое.

— Земли тебе? Полоску залежи лен посеять? А со своей что сделал? Залежь поднял? Засеял? Под Валакнай что за пустошь? Что за пустошь, — я спрашиваю?

— Земля там плохая.

— А тебе, конечно, подавай хорошую?

Юозапелис молчал.

— Тебе обработанной захотелось? Чтобы унавожена была? А то и дренирована? По твоему рассуждению, если я раздаю настоятельские земли, то все отрезки — тебе? Тогда бы ты был доволен? Что же молчишь, не признаешься брату ксендзу?

— Разве я говорю — все?— с трудом выдавил из себя Юозапелис.— Мне бы клочок какой.. Виноват я, что у меня брат настоятель? Другие получают, а мне почему не получить?..

Настоятель побагровел, мешки у него под глазами заблестели. А тут Амилия встала и подобралась к двери.

— Ну, куда это ты?— крикнул ей настоятель.

— Мне надо...

— Никуда тебе не надо! Стыдно тебе, вот что! За мою родню стыдно!— тяжело дыша, кричал настоятель.— И за меня... и за меня стыдно!..

Амилия сперва побледнела, потом покраснела нисколечко не меньше настоятеля.

— Видишь?— обрушился настоятель на Юозапелиса.— Наймитам за тебя стыдно, почтенный! Чего ради ты засел здесь, в людской? Забыл ко мне дорогу или глаза мне уколоть хочешь?

— Грехи не пускают.

Сказал и вдруг стал сползать со скамьи. Я уж подумал: помирает человек, не выдержал настоятельской проборки. А Юозапелис и не собирался помирать, бухнулся на колени перед настоятелем, стал хватать полы его сутаны и целовать. За ним разом упали на колени с громким плачем обе женщины.

Настоятель растерялся, попятился назад. В лице и кровинки не осталось.

— С ума... с ума сошли?— еле выговорил он побелевшими губами.

— Не сажай-ай... — плакал Юозапелис.— Братец милый, смилуйся!

— Иисусе, Мария, не сажай!..— плакали и женщины.— Братец наш бесценный, не сажай... Куда нам деться, сестрам бездомным, куда глаза девать перед людьми? Иисусе, Мария...

Тут внезапно отворилась дверь и вышла Тересе. Быстро подошла к настоятелю, взяла его за руку, будто он был не настоятель, а какой-то мальчишка, и сказала:

— Пойдем. Хватит.

И повела через всю людскую. А он пошел, будто и правда не был настоятелем. Седые его волосы взъерошились на затылке, как у настоящего мальчишки, которому задали трепку.

Когда оба вышли, Юозапелис встал с коленей. И обе женщины встали. Юозапелис выбил о колено шапку, хотя в ней и не было пыли, взглянул на женщин, а они — на него. Не то мне так показалось, а может, и правда Юозапелис ухмыльнулся в седые усы. И обе женщины ухмыльнулись. На глазах у них не осталось ни слезинки.

— Расстреливать таких,— сказал Раполас.

Амилия стояла у печи, навзрыд плакала.

— Расстреливать,— повторил Раполас.

Сказал он громко, но Юозапелис и на сей раз не слышал. Женщины тоже. Они расправляли и обдергивали на себе одежду. Юозапелис еще и заново перепоясался. Потом все трое пошли на ксендзовскую половину. И дверь за собой захлопнули.

— Пропал настоятель,— сказал Раполас.

Мы все возили и возили дрова, выстроили на огороде три таких штабеля, что устанешь, пока их обойдешь. Принялись за хворост. Его тоже много требовалось. В настоятельской усадьбе всего требовалось много. Но хворостняк не был вырублен с осени, как у других, и теперь мы сами валили его, а потом укладывали на дровни. Вечером пригоняли возы, высуня язык, в отсыревших и смерзшихся прямо в лубок рукавицах, с мокрыми от едкого холодного пота спинами. Навалили, нагромоздили этого хвороста целые стога, повыше денника. Теперь никто не заговаривал насчет того, что пора учить меня молитвам и катехизису. Старания привести меня к первому причастию кончились тем лишь, что Тересе глядеть на меня не хотела.

Раполас сказал однажды:

— Ты еще получишь от нее. Да и настоятель по головке не погладит.

Но настоятеля нигде не было видно. С того самого воскресенья он ни разу не выходил на нашу половину, обедни служил поздно, когда наши сани уж скрипели по лесной дороге, а по вечерам дверь к нему была плотно затворена. Не то дома настоятель, не то нет. Амилия жаловалась Раполасу:

— Вспомни мои слова, напьется ксендз-настоятель.

И вот как-то вечером мы услышали голос настоятеля. Была среда, и на ксендзовской половине сидели всегдашние гости: начальник полиции Жилюс, старшина Уткус и аптекарь Урбутис. Амилия снова нарезала, рубила, жарила, так что на нашей половине стоял дым коромыслом. Тересе гремела ключами, ходила то в один подвал, то в другой, то и дело скрипела дверь кладовой. Все было как обычно. Даже Ефимка дремал, раздувая свои пшеничные усы.

Но не все как обычно.

Не было шума на ксендзовской половине. Уткус не кричал, что надо быть литовцем и ругаться лишь на том языке, который нам дан от рождения; Жилиус не давал обещания расстрелять всех большевиков, когда позовет родина, а Урбутис вошел не через людскую, а через парадное крыльцо и ни разу не вышел порадоваться на «цветик литовских полей», хотя привыкшая к этому Агне то и дело поглядывала на затворенную дверь. Гости ели тихо, жевали, звякали рюмками, но голоса не повышали.

— Не понимаю вашей апатии, ксендз-настоятель,— довольно громко сказал вдруг Жилиус.— Вы не принимаете участие в избирательной кампании. Почти не принимаете.

— Почему же — почти?— сказал настоятель.— Совсем не принимаю.

— Немыслимо!— еще громче воскликнул Жилиус.— Если все литовское духовенство займет такую позицию, как вы... Вы представляете, что это будет?

— Почему же все? Вон ксендз-викарий делает наоборот.

— Ксендз-викарий, прошу прощения, молокосос и горячка. Тут нужны умудренные опытом, пользующиеся у народа авторитетом люди. Ксендз-викарий! Такие, как ксендз-викарий, могут только испортить все дело. Могут провалить выборы.

— Нечего проваливать,— сказал настоятель.

— Как это понять? Как я должен понять эти ваши слова, ксендз-настоятель?

— А нуте-ка выпьем,— предложил настоятель.

Голос у него хрипловатый, усталый.

— Выпить-то можно,— согласился Жилиус.— А все-таки, ксендз-настоятель, как я должен понять ваши слова?

— Мы лишились доверия народа, следовательно, проиграем выборы,— объяснил настоятель.— Откровенно говоря, проиграли уж.

— Проиграли?— громко крикнул Жилиус и, видать, вскочил на ноги, потому что с грохотом опрокинулся стул.— И это говорите вы, ксендз-настоятель?

— Народ изверился, вот что я говорю.

Наверно, от слов настоятеля Жилиус не мог дух перевести. Он только громко сопел. Все перестали есть. После долгого молчания заговорил Уткус.

— Ну, зачем так, ксендз-настоятель? Вы шутите?

Платформа партии христианских демократов дана самим богом.

— Платформа-то дана богом, а что мы дали народу? Чего только не наобещали перед прошлыми выборами, а что дали? Что мы исполнили из этих обещаний?

— Как так? Многое дали!

— А именно?— спросил настоятель.— Что именно дали?

На ксендзовской половине стало очень тихо.

— Выборы мы проиграем,— снова заговорил настоятель.— Агитация больше не поможет. Надо не только обещать народу, надо ему и давать. Я еще раз повторяю: народ разочаровался в нас, христианских демократах. Теперь он будет голосовать за других — за селян-ляу-динников, за социал-демократов...

— Может быть, еще за большевиков?— перебил его Жилиус.

— Может быть, и за большевиков.

Опять там опрокинулся стул и потом стукнулся о пол всеми четырьмя ножками. Верно, Жилиус поставил его на место, и поставил с силой.

— Этак вы, вы... все погубите, ксендз-настоятель!— взбешенным голосом выкрикнул он.— Такие, как вы!..

— Не горячитесь, не горячитесь,— стал успокаивать его Уткус.— Горячностью тут не поможешь.

— Такие, как я?— переспросил настоятель.

— Как вы и вам подобные, — кричал начальник полиции.— Своей мягкотелостью, своим либерализмом вы разбаловали народ... Он распустился! Теперь его влечет к чужим богам и к чужим истинам. Он сам не знает, чего хочет.

— А если знает?— сказал настоятель.

— Ничего он не знает. Как он осмелится знать без нашего ведома? Это же стадо. Слепое, глупое, беспастушное стадо. Оно нуждается в хорошем кнуте и твердой руке, ксендз-настоятель.

— Весьма возможно,— усталым голосом сказал настоятель.— Только вот что я думаю. У русского царя был кнут, и, насколько мне известно, не такой уж плохой. Тюрьмы, казематы, сибирская каторга. А где теперь царь Николай? Где его кнут? Миновали те времена, господин Жилиус, миновали,— вот что нужно запомнить.

— Царь нам не пример.



— Какой еще пример вам нужен? Может быть, германский кайзер? Пожалуйста. Только намного ли утешительнее?

— Фу-у... даже мороз по коже подирает,— сказал Уткус.



— Следовательно, надо выпить,— посоветовал настоятель.

— Выпить? А это поможет? Я, признаюсь, по ночам уснуть не могу...

— И напрасно. Бессонницей выборы не выиграешь.

— Но и не проспишь, как вы, ксендз-настоятель,— опять громко заговорил Жилюс.— Проспать — это всего страшнее.

— А нуте-ка выпьем,— предложил настоятель.— Выпьем, господа, и закусим.

— А если проиграем? Если и в самом деле?.. Что тогда?— тревожно спросил Уткус.

— Тогда останется протянуть руку тем, кто выигрывает,— сказал настоятель.

— Руку? А если выиграют большевики, тогда что? И им — руку?

— Не волнуйтесь, господин старшина. Большевики сейчас не выиграют. Их час не пришел. Еще не пришел.

— И на том хоть спасибо. Так кому же тогда? Социал-демократам? Селянам-ляудининкам? Вы это серьезно?

— А нуте-ка, выпьем, господин старшина. Как-то нескладно у нас нынче идет дело. Закуска ли плоха, или из напитков что-нибудь не нравится?

— Но, ксендз-настоятель,— дрожащим голосом допытывался Уткус,— вы это серьезно? Вы не издеваетесь над нами?

— А вы спросите господина Урбутиса. «Когда церковь как скала, а мы все сплотимся вокруг церкви, тогда и мы все — скала». Разве не так вы говорили, господин Урбутис?

— М-м-м... Вы меня лучше не спрашивайте...— промычал Урбутис.

На ксендзовской половине опять затрещал стул.

— Это черт знает... Это черт знает что...— сердился Жилюс.— Все вы здесь предатели. Один ксендз-викарий сстался человеком. Он не болтает, он работает. Работает.

— Он работает,— подтвердил настоятель.— А мы давайте-ка выпьем и закусим. Когда молодежь работает с таким запалом, старикам можно и выпить.

Зазвенели рюмки. Гости пили.

Раполас переглянулся с Амилией:

— Слышишь?

— Слушаю.

— И эти наседают на настоятеля.

— Наседают, Раполас.

— Выдержит ли?— спросил Раполас.

Амилия вздохнула. Агне фыркнула в кулак. А Винцулис придвинулся поближе послушать разговоры Раполаса и Амилии, он прямо-таки стриг ушами. У него своя забота — пересказать каждое слово Тересе. Но Раполас больше ничего не сказал, накинул на плечи кожу и обернулся к нам с Винцулисом.

— Ну?

Обошли мы на ночь скотину, улеглись. Раполас и лампу привернул, чтобы свет не бил нам в глаза во время сна. Амилия могла хозяйничать и так, на ощупь, а Ефимка, хоть и сидел прямо, давно спал.

А утром мы снова в лес. Все три мужика. Снова на целый день. А там снова...

Настоятель безвыходно сидел у себя в комнате. Только мы и видели перед выездом в лес, как по-прежнему розовели высокие узкие окна костела. Настоятель опять служил обедню с утра. Ни разу не показался он на нашей половине. И не выходил по вторникам, четвергам и субботам, когда собирались «посидеть» у Жилиуса или Уткуса. Они тоже больше не показывались.

Все как-то переменялось, одна барышня, как всегда, расхаживала по дому, гремя связкой ключей.

— Хоть бы вы, барышня, помогли,— обратилась к ней Амилия.— Придумали бы что-нибудь...

— А в чем дело?— не разжимая губ, спросила та.

— Не выдержит ксендз-настоятель. Заели его все...

Барышня от злости скривила рот на одну сторону, потом на другую.

— Ты, Амилия, не лезь. Раз ничего не знаешь, и не лезь. Твое ли дело опекать моего брата, ксендза-настоятеля?

— Ведь жалко, барышня.

— А мне не жалко?

— Я и не говорю... Помочь ему надо.

— Ты делай, что тебе говорят, а раз не говорят, не твоя забота. Этим и поможешь ксендзу-настоятелю.

Амилия только вздыхала.

Когда однажды вечером мы пригнали возы из лесу, она встретила нас с убитым видом. Стояла на снегу возле нашей двери, а фонарь поставила рядом, но он не был зажжен, как бывало раньше.

— Ну?— спросил Раполас.

— Началось.

— У Каушпедаса?

— Где же еще.

Раполас и ужинать не стал, а когда разгрузили возы, куда-то пропал.

Вернулся он поздно, когда мы уж легли. Одна Амилия сидела у стола, с накрытым полотенцем ужином для Раполаса.

— Ну, как?— еле слышно спросила, когда он вошел.

Раполас подошел к столу, отмахнул полотенце, откусил как следует от ломтя хлеба, другой рукой потянулся за мясом. Ел стоя. Амилия еще больше помрачнела.

— Как?— еще тише спросила он

— Сосут вдвоем.

— Что же ты не привел?

— У них самый разгар.

— Надо было попытаться, Раполюкас.

— Он уж накачался,— сказал Раполас, жуя хлеб.— Хотел я Каушпедасу надавать по морде, а что проку? Их теперь не урезонишь. Это, почитай, на несколько дней.

— Ты бы сел, Раполас... Кто же ест стоя?

— Как проголодаешься, и стоя не подавишься.

Однако присел.

— Раполюкас, а ты, часом... не выпил с ними?— спросила Амилия.

— Посидеть у бутылки да не согрешить?— сказал Раполас с набитым ртом.

— Все вы, мужики, на одну колодку. Вот как узнает ксендз-викарий, такое начнется.

Ксендза-викария не было дома несколько дней. Появился как-то обтрепанный, грязный, осунувшийся. Тотчас приказал затопить баню, натопить как следует, потом пошел туда и парился, полоскался чуть ли не целую ночь. Утром опять пропал.

— И этот теперь на несколько дней,— сказал Раполас.— Ничего он не узнает. Выборами занят ксн-женька. Не до настоятеля ему.

— Твоими бы устами мед пить,— сказала Амилия, немного повеселев.

— Все уладится,— еще больше успокоил ее Раполас.— Все будет ладно.

Больше они не говорили, пошли спать на свои места, за перегородки. Лампа помигала, помигала и погасла. Раскинувшись в постели, взмокнув от пота, храпел Винцулис. Крепко спала Агне.

Все было как всегда.

Да не совсем как всегда.

Настал великий пост, и сразу исчезли с нашего стола гречневые и гороховые блины, подливки с крошенным салом и сычугом. Куда делся и заправленный борщ, и тертая картошка, и клецки из пеклеванной муки! По утрам Амилия сцеживала воду из чугуна с картошкой и вываливала ее прямо на стол в горячем облаке пара — белую, осыпавшуюся из потрескавшейся кожуры. К картошке подавала чашку ржаного кваса, выбродившего, выдержанного в ясеновой кадке. От этого кваса так щипало небо и столько набиралось слюны, что я не успевал запихивать в рот картошку. Только сядешь за стол, и живот уж тугой, как барабан. Наешься так, что кажется, десять дней крошки хлеба в рот не возьмешь. А покуда дожидаясь позднего завтрака, опадает твой барабан, и так его подводит, что высматриваешь только, что бы перехватить, заморить червяка.

— Не вешай нос, — посмеивался Раполас. — Ты пойми: во время поста — тело должно отощать. Душе сразу станет легче. Ей ведь надо вознестись ввысь, понятно? В высоту, набраться там божьей благодати, всяких добродетелей, а ты ее тянешь салом и сычугом вниз. Какой же ты католик?

— Раполас, — сердито крикнула Амилия.

— Что? Опять не так?

— Не порть мне мальчишку.

— Тебе? С каких пор он стал твоим?

— Не говори, чего не надо. Сам ты как хочешь, а мальчишку не порть. Наговорил ему всяких глупостей.

— Сердится, — подмигнул мне Раполас. — Раз сердится, значит, за обедом чего-нибудь посытней даст. Как потвоему, пастушок?

Но за обедом и того хуже. Даже квасу нет, одна квашеная, чуть ли не в прошлом году, жесткая, как солома, потемневшая от бочки, капуста. Еще дадут тебе такой же потемневший соленый огурец, который стреляет острым,

как иголлка, рассолом, кружочек лука и с горстку вареных бобов.

— Плоха стала наша хозяйка, — говорит Раполас.

— Тебе бы только пожрать, — сердится Амилия. — Тебе что пост, что не пост, — только давай и давай.

Сама Амилия, видать, свято соблюдала пост, потому что быстро начала худеть, юбка не держалась на ней там, где полагается ей держаться и где она держалась раньше. И ростом она стала будто поменьше и чаще молчала. Не она одна так, Винцулис тоже ходил сонный, то и дело зевал и постоянно поддегивал штаны. Не выдерживал и он.

— Ничего, ничего, — говорила барышня. — Где же еще поститься, как не у настоятеля?

Одной Агне все было по вкусу, как и раньше. Она никогда не глядела за столом, чего ей налили, чего подложили, знай, черпала и уписывала за обе щеки, особенно хлеб, — только выискивала, где лучше пропечен, где расселась розовая корочка. Пока мы выхлебаем по ложке кваса, она проглотит три, пока мы счищаем ногтями с картошки кожуру, она уплетет полгарнца этой картошки. Зато не только не похудела, а еще больше округлилась, и щеки у нее горели, как брусника на солнечной полянке.

— И это пост, да еще великий, — бранилась Амилия. — Пост — это не одно сухоядение, это, когда люди меньше едят, воздерживаются. А где твое воздержание, бесстыжая? Уж и ходить боком стала от обжорства, того гляди, лопнешь!

Агне фыркала с набитым ртом, обрызгивая хлебными и картофельными крошками весь стол.

— Погоди, погоди, — говорила Амилия, — вот пойдешь к исповеди, придется все рассказать ксендзу-настоятелю... Отрыгнутся тебе смешки!

Агне — пуще хохотать. Слезы прямо-таки обливали ее брусничные щеки. Насмеявшись, нахохотавшись, она спрашивала усталым голосом:

— Что ты все прицепляешься, Амилия?

— Ты еще поплачешь... Ох, поплачешь, девушка!

— Ну и что? Надо будет плакать — поплачу, а когда мне смешно — смеюсь. Как же не смеяться, раз смешно?

— А если я ксендзу-настоятелю словечко-другое шеп-

ну, а? Как ведет себя во время поста его работница. Как ты тогда посмеешься?

Агне уж не смеялась. Поглядела на Амилию, сказала:

— Не сделаешь ты этого.

— Ты откуда знаешь? Если понадобится, сделаю, тебя не спрошу.

— Не сделаешь.

Да и все мы знали: не сделает. И Амилия знала, потому и рассердилась на нас.

— И кто вас таких согнал сюда?

Дрова были свезены. Теперь мы кончили возить и хворост. Раполас натачивал на круге топоры, проверял, хорошо ли заклинены топорщица.

— Ну, начнем? — сказал он однажды утром после завтрака.

Он пошел к двери, кивнув нам с Винцулисом. Дни уж стали прибывать. Солнце чаще выкарабкивалось из туч, оглядывало землю. Ноздреватыми стали сугробы на открытых местах, тропинка к деннику порыжела, по краям крыш закапали первые сосульки — короткие, тонкие, жалкие; чуть солнце за облака — переставало капать. На кучах хвороста во всю мочь чирикали воробьи. Раполас прикатил три толстых колоды, уложил их в снег в одном, другом, третьем месте. Бросил топор Винцулису:

— Валяй!

А меня спросил:

— Хворост рубил когда-нибудь?

— Не приходилось.

— Попробуй, — дал мне топор.

А топор, пожалуй, больше моей головы. Синий, с блестящим, как серебряным, лезвием. Топорщице длинное, толстое... Взял я его, занес:

— Тюк!

Только не по ольхе, а по самой колоде. На добрую пядь от ольхи.

— Еще попробуй.

Опять я занес топор и опять — по колоде. Только по другую сторону деревца. И не на пядь, а пяди на две от него.

— Так ничего не выйдет, — Раполас отнял у меня топор. — Гляди.

Положил на колоду не одну, а две ольхи: тюк-тюк!

И дрогнуть не успели, а их комли лежали уж на земле, на соломенном жгуте. Раполас пододвинул ольхи левой рукой, опять топором — тюк-тюк! Дойдя до вершинок, он всадил топор в колоду, схватил их и — пополам! Вот и готова вязанка. Раполас перетянул ее жгутом и опять за топор. Тюк-тюк — новая вязанка. И еще одна...

— Насмотрелся? Попробуй сам!

Попробовал. Топор опять свое: болтается в воздухе, будто висит на веревке, а не зажат в руке, ударяет по колоде, и мимо колоды.

— Ничего не получится, парень,—говорит Раполас.— Топор не по тебе: гайка у тебя слаба.

— А может, я не по топору — мал еще?

— Может, и так, да мне-то не легче от этого. Мне-то как быть? Стоять и ждать, когда ты подрастешь? И настоятелю ждать? И барышне?

Винцулис захихикал у своей колоды. Он кончил уж другую вязанку.

— Погоди-ка, — сказал Раполас.

Пошел на двор и вскоре вынес что-то оттуда.

— Попробуй этим. — и вручил мне...

Вот это был топорик! Маленький, легкий, топориче ловкое, у самого обуха — тонкое. И не заклинено, а привинчено к обуху двумя шурупам.

— Попробуй, — сказал Раполас.

— Где ты взял такой?

— Не твое дело. Сказано — попробуй!

Топорик, как перышко, поднялся в воздух, потом опустился и рубнул по деревцу ровно в том месте, где и должен был. Лезвие прошло сквозь него, как сквозь лед. Одну ольху так, другую. Раполас улыбнулся:

— Вот и пришелся топор к топоричу.

— Хе, — отозвался от своей колоды Винцулис. — Раполас, а ведь ты взял топорик у ксендза-викария!

Раполас быстро подошел к нему.

— Это что? — спросил у Винцулиса, показывая пальцем на хворост.

— Отвяжись... — не переставая рубить, ответил Винцулис.

Раполас перехватил его топориче.

— Я тебя спрашиваю: это что?

— Сам не видишь?

— У тебя под носом? Хворост?

— Отвяжись...

— Ну?

— Сам ведь видишь, — голос у Винцулиса задрожал.

— Ты и гляди на то, что у тебя под носом. Понял?

Винцулис стоял, повесив голову. Раполас отдал ему топор, отошел к своей колоде.

— А вы не стойте, разиня рот! — крикнул нам с Винцулисом.

Солнце поднималось выше, грело все жарче, к полудню так припекало, что от капли под стенами появились проталины, сугробы оседали, из-под них натекала во все стороны мутная вода, оголилась крыша денника, а на полях почернели горбы холмов. Присыпанный снегом хворост сковало у вершинок в сплошные комья льда, и раз и два рванешь за комель, пока выдернешь куст ольхи или крушины. От нагретых стен денника пахнет деревом и сухим мхом. Дверь все время стоит настежь, из-за нее постоянно выглядывают коровы и овцы, оттуда доносится крепкий запах навоза, а из-под порога просачиваются густые бурые струйки. Навоз так утоптан за зиму, что коровы и овцы стоят под потолком, как певчие на хорах. Они рвутся с привязи, толкаются о загородки, просят на волю, где столько солнца, где голубое небо в грядах белых облаков. Но крепки привязи и перегородки, и животные опять успокаиваются, только мычат и ржут потихоньку. Выскочить удастся только пороссятам. Тут же забывают они свою родительницу, громоздливую чуть не ползакута, как белая гора, — прошмыгивают сквозь все изгороди и скачут наперегонки по двору, дерутся и наконец бегут к подмуровке, чешутся об нее своими розовыми задами и восторженно визжат.

Даже Амилии не сидится в доме в такой день. Хоть и работы у нее по горло, она подходит к нам и стоит, подставив лицо солнцу, улыбается. Минута-другая и она убегает обратно.

— Амилия, сделай милость... — кричит ей костельный сторож Пранукас с другого конца огорода. — Только взгляни! Хоть одним глазком...

Он опять вывел на пробежку своего рысака и держал его за повод. Но это был не первый, а неизвестно который со времени моего приезда. Был у него чубарый, был сивый, после него гнедой, потом неизвестно какой

масти... Каждый базарный день все новую животину приобретал Пранукас. Сейчас он кичился серым в яблоках. Этот серый в яблоках стоял, уткнувшись храпом в мокрый снег, и тяжело водил боками; глаза у него слезились. Был он очень похож на прежних рысаков Пранукаса, и мне показалось, что это вовсе не серый в яблоках, а сивый, либо чубарый или гнедой, и что костельный сторож водил одну и ту же клячу.

— Амилия! — звал Пранукас, дергая повод.

Амилия давно ушла в дом. Теперь оттуда прибежала Агне. В который раз так прибегает. То ей понадобится вязанка хворосту, то щепки, то неизвестно что. Наши вязанки ей не годятся, они сырые. Надо брать из старых, прошлогодних, они сухие, как порох. Но этот штабель совсем по другую сторону денника, а Агнете все прибегает сюда. Прибежит, фыркнет в ладонь и глядит на всех украдкой. Раполас подмигивает мне:

— На тебя заглядывается.

— Вот как дам, — отзывается Винцулис от своей колоды.

— Давай, давай, — говорит Раполас. — С самого утра с одной вязанкой копаешься. Разве это работа? Давай побыстрее!

Винцулис что-то бурчит, но начинает рубить проворнее. Агне фыркает и убегает.

— Что с девкой весна-то делает! — говорит Раполас.

Но весна «делает», видать, не только с Агне. Посреди дня, в самый солнцепек, она выманила из дому даже ксендза-настоятеля. После того вечера у Каушпедаса мы не видали его несколько дней. Он сидел запершись, не пускал к себе даже завсегдашних гостей. И сейчас он показался мне сильно похудевшим, мешки под глазами потемнели, глаза как будто только что открылись после долгого и не очень здорового сна. Настоятель постоял, подошел к Раполасу, протянул руку, улыбнулся правым уголком губ:

— Хорошо берет?

Раполас тоже улыбнулся, но во весь рот. Отдал топор настоятелю. Тот встал перед колодой, размахнулся и застучал топором, обламывая мелкие веточки левой рукой. Одна вязанка, другая... Сам рубил, сам затягивал

жгут и бросал на штабель. Можно было подумать, что он за всю жизнь ничего другого не делал, только рубил хворост. Раполас сбросил ему с большой горы хвороста кучу, потом еще. Глядел на него с улыбкой. Настоятель тоже улыбался. Лицо у него раскраснелось, лоб вспотел. Всадив топор в колоду, он утерся залоснившимся рукавом сутаны. Как будто сейчас только проснулся по-настоящему и увидел нас, и горы хвороста, и костельного сторожа, стоявшего на другом конце огорода с поводом в руке, и коров, выглядывавших из дверей хлевов, и рыжую от навоза тропку к деннику.

— Славно!

— Славно, — сказал и Раполас.

— В батраки меня взял бы?

— Отчего не взять? Беда только, нет у меня настоящей усадьбы.

Настоятель громко расхохотался и опять взялся за топор. Опять он рубил, обламывал, укладывал вязанку за вязанкой. Раполас пошел было за четвертым топором для себя. Но тут настоятель отхаркнулся, всадил топор в колоду и стал застегивать сутану. Из дому вышла барышня. Высокая, тощая, приложив к груди руку с узловатыми пальцами. И как всегда, молча.

Настоятель не стал ждать, когда она подойдет, — сам пошел навстречу. Дошел до нее, миновал, не сказал ни слова. И барышня, не сказав ни слова, повернула назад — вошла вслед за настоятелем.

— Такие-то дела, — сказал Раполас.

И опять взялся за топор. Серdito крикнул мне:

— Из кожи вон зачем лезешь?

Я и не лез, только сбросил варежки. На солнце припекало спину, а руки парились в варежках, как морковь в чугуне. Голыми было куда приятнее брать хворост, а еще приятнее обламывать тонкие веточки. На что они, варежки?

— Надень, не то поплачешь!

— Сам поплачешь.

Но наступил вечер и верно — руки у меня потемнели от бурых пятен, заскорузли и везде потрескались, кровоточили, а как горели, как их щипало! Амилия мазала их льняным маслом и ворчала:

— Кто же рубит без варежек? И как Раполас не доглядел, не сказал тебе?

— Ты мне помажь... — стуча зубами и дрожа от озноба, сказал я, — ты мне сливками помажь.

— Сливками? Ишь, какой хитрый! Великий пост ведь — или забыл? Обойдешься и льняным маслом.

— Может, несоленое масло есть?

— Говорят тебе, пост. Поститься надо!

— Я же не есть, помазать только...

— Пост!

Натянула мне на руки шерстяные перчатки с длинными резинками. От них руки огнем жгло и дергало, даже у Батайтисов во время уборки ржи не было так больно. Амилия посмеивалась:

— Ты еще заплачь.

Плакать я не стал. А утром руки опять были мягкие, здоровые. Сами просили топора.

— Что же ты из кожи вон не лезешь? — улыбнулся Раполас. — В перчаточках, как барич.

— Сам лезь.

Раполас громко рассмеялся и сказал:

— Долго надо бить человека, покуда научишь его уму-разуму.

Шли день за днем, неделя за неделей, и мы изрубили и связали весь хворост. Длинные штабеля его выстроились на огороде, мало-помалу подсыхали, темнели на комлях срезы, еще разносились вокруг запахи последних слез черемухи, сока крушины и береста. Но не век же было стоять им здесь, поэтому Раполас велел нам с Винцулисом перетащить прошлогодний хворост под навес, а на его место укладывать нарубленный нами. Теперь здесь выросли новые штабеля, такие высокие, что Раполас вставал на лестницу вершить их. Когда он завершил последний и слез наземь, то сказал:

— А теперь — за дрова. Работенки тут, работенки!..

Работенки нам, верно, досталось. Высокие ряды березовых, осиновых, ольховых и сосновых кряжей лежали в тающем снегу. Раполас и Винцулис взвалили один на козлы, взялись за пилу.

— Джи-и — джи-ик, джи-и — джи-к, — запела пила.

С козел упал отпиленный чурбак, другой, третий. Уложили новый кряж, и опять запела пила, а когда куча

отпиленных чурбаков поднялась выше козел, Раполас обернулся ко мне:

— Попробуй.

Взял я обеими руками ручку пилы, потянул. Пила зашуршала по коре, вцепилась в нее зубьями, прогрызла и ушла глубже, в древесину. И тут же завязла в ней, как в пакле. Я ее толкаю, я ее дергаю к себе, а она только гнется во все стороны, твякает по-собачьи и — ни с места.

— Не нажимай... — не нажимай на пилу, черти бы тебя взяли, — кричит Винцулис.

— Я не нажимаю.

— Нажимаешь, — поддержал Винцулиса Раполас. — Издали видно, что нажимаешь.

Подошел, взял за ручку, рванул кверху. Пила выскочила из кряжа.

— Гляди, как надо.

Вложили они пилу в тот же пропил. Пила пошла легко, с каждым потягом выбрасывая с добрую горсть опилок. Храпнула по бересте внизу, обрубок брякнулся на землю. Как будто безо всякого труда.

— Пробуй, — сказал Раполас. — Только не нажимай. Сделай милость, не нажимай на пилу.

— Да я и не нажимал.

— Все так говорят, — заворчал Раполас и тут же утешил: — Кто не умеет, и нажимает. Не ты первый такой глупый. Пробуй.

— Вот и возись с ним, — злился Винцулис. — Всю руку отмотал, дурья башка!

— А с тобой мало возились? — спросил Раполас.

— Очень мне надо. Я буду и тянуть пилу и толкать, а он — ничего?

— И за тебя тянули. Забыл?

— Очень мне надо со всякими пастухами!..

Раполас прижмурил один глаз, поглядел на Винцулиса:

— Бери пилу, ну!

Винцулис ворча взялся за ручку.

— А ты не нажимай, — еще раз сказал Раполас. — Сколько в пиле есть веса, настолько она и входит в дерево, твое дело тянуть и толкать. Только тянуть и толкать. Больше ничего. Понял?

Сказав это, взял топор и стал колоть дрова. А мы — за пилу. И вот пошла она легче и легче. Отпилили мы один чурбак, погом другой. Раполас перестал колоть, сдвинул шапку на затылок, улыбнулся.

— Идет?

— Пастух вот... — сказал Винцулис, но уж без злости.

Так мы и работали. Раполас догнал нас с колкой дров и тогда взял у меня ручку пилы.

— Отдохни.

— Ты его еще на базар отпусти, — опять обозлился Винцулис, — пусть пошатается, лентяй.

— Будет время, и на базар отпущу, — посулил Раполас.

Винцулис сердито фыркнул.

А за воротами настоятельской усадьбы в самом деле шумела базарная площадь. Каждый четверг с раннего утра в наше местечко стекался народ. Везли уложные в сани крепко перевязанные мешки с зерном, копченые окорока и куски сала, клетки с гогочущими гусями, визгливых поросят в мешках, груды сушеных сыров и комьев масла, узлы шерсти и всякое другое добро. И весь день из конца в конец шумело и гудело местечко, даже далеко за последними домами слышны были людские голоса и мычание скотины. Так до самого вечера, а иногда и до ночи.

Чего только не было на этих базарах, кто только не толкался между возами и между брезентовыми палатками! Здесь и цыганы показывали прыть своих полудохлых кляч. Как только сами они брали в руки повод, те каким-то чудом превращались в резвых рысаков, но стоило взять повод покупателю, и рысак сразу вешал голову. Возле саней и на санях люди рядились и торговались, кричали до изнеможения, били по рукам, потом толпой валили в трактир, откуда выходили под мухой, сонные, терпеливо выслушивая брань укутанных в платки жен. И старый Римджюс каждый четверг тащил за спиной полный мешок хитроумных ловушек, разнообразных силков, капканов, мышеловок и тому подобных снарядов, раскладывал их прямо посреди рынка и растолковывал обступавшим его людям: вот эта ловушка хорошо берет хорьков, а вот эта — ласок, из этой не ускользнет и куница, а в этот капкан попадетя и рысь или тигр, а то даже бегемот...



— Хо-хо-хо! Бегемот! — хохотали вокруг.

— А ты не смейся. Ты гляди, — говорил Римджюс и настораживал капкан. Потом дотрагивался до него концом тонкой веревочки, капкан молниеносно перекусывал ее дугами, даже подпрыгнув при этом.

— Видали? — говорил Римджюс. — Чик, и тигр будет твой. Снимай шкуру, шей своей бабе полосатое манто — чем не дворянка будет, чем не барыня?

— Хо-хо-хо!.. — Слушать было весело и любопытно.

И капканы раскупали. Вот купил один, купил другой, подошел было купить и третий, но поглядел вдруг на Римджюса.

— Старый ты черт! Тигры-то в наших местах и не водятся. Деды-прадеды их не выдывали.

— А это уж не моя забота, — отвечает Римджюс. — За тигров я не ручаюсь, я за капканы ручаюсь.

— Старый черт! А еще бегемота обещал.

— Хо-хо-хо!..

Мужики глядят на купленные капканы, потом друг на друга, криво улыбаются.

— Хо-хо, хо-о-о! — чуть не падают со смеху люди.

Толшился на рынке и наш Пранукас. Он держал на поводу еще одного рысака, а другой рукой ухватил за ворот мужичка в длиннополой сермяге и чуть не со слезами на глазах втолковывал ему:

— Не видишь разве, какой это рысак? Ты посмотри, возьми повод и погляди! Не видишь, тебя я спрашиваю?

— Вижу, вижу... Еле ноги волочит он, твой рысак, — вырывался мужичок из рук Пранукаса.

— Чтоб тебя ангелы так на небо поволокли, как мой рысак ноги волочит! — кричал Пранукас, еще крепче вцепившись в ворот мужичку. — Ты не гляди, что он голову опустил. Это от горя он! Со мной не хочет расставаться.

— Так не продавай, — рвался мужичок из последних сил.

— Не продавай... Ты мне тоже говоришь — не продавай. А чему нас учит святая церковь, знаешь? Святая церковь учит нас творить добрые дела. И ксендз-настоятель тебе так скажет. Идем к ксендзу-настоятелю! А-а, боишься? Если ты честный человек, чего же боишься?

— Пусти, Пранукас.

Костельный сторож успел уж «хлебнуть». И даже порядком. В базарные дни он всегда «хлебал». Густым румянцем горели его щеки, глаза блестели, и весь он сиял. А мужичок все не мог вырваться из его лап, даже лицо у него посерело. Тут и народ стал окружать их. Всем было весело.

— Эге-ей! Сюда, народ, сюда, наро-од!.. — раздался с середины площади звучный мужской голос.

Там стоял на возвышении здешний бобыль старый Блунджюс, — высокий, худой мужчина, с седыми сросшимися бровями. Стоял и громовым голосом скликал:

— Народ, сюда!

Чуть не полбазара хлынуло к нему. Все знали: зря не станет звать старый Блунджюс, он расскажет что-нибудь важное, чего больше нигде не услышишь. Расскажет про конокрадов, которые опять увели двух серых коней, сбили им с ног железные путы; и про тиф в соседнем приходе; и про новые приказы волостных властей насчет налогов и ремонта дорог... И расскажет не как первый попавшийся болтун, а все с забористыми шуточками, приперчит прибауткой, от которой люди хватаются за бока, а после обступают его, тащат в трактир, где не продохнешь от запаха удушливого самогонного перегара, жареной селедки, пригоревшего лука и прокисшего пива, где за каждым столиком все говорят и никто не слушает, хлопают пробки и пьяные рыдания гармошки сливаются с плачем жены, которая тащит и не может вытащить мужа из этого мужичьего рая. Всем здесь дорог человек со смешливой жилкой, с лукавой искоркой в прищуренных глазах; с ним и магарыч распить приятней — и глотку не дерет, и трактир будто настоящий трактир. Но не очень-то поддается Блунджюс соблазнам: купил вязку бубликов, длиной в летний день, опоясался накрест и зашагал домой, к внукам. Румяный, веселый.

А когда ушел Блунджюс, вылез из своего угла Урбонелис и принялся рассказывать свою историю, которая у всех в зубах навязла. Но Урбонелис надеялся, что не все ее знают и, может, найдется человек, не слыхавший, как настоятель защитил его от шкуродера викария и как потом освятил могилку его сына, еще и прочел проповедь и не взял за это ни гроша. А все потому, что настоятель знает его, и как звать сына вспомнил, и еще шапку велел надеть, чтобы говорить как ровня с ровней. И деньги целы, и викарий остался на боках.

— Раз целы, так ставь бутылку! — потерял терпение один из слушателей. — Хвалишься, хвалишься, а хоть бы раз угостил!

Урбонелису только того и надо. Ударил кулаком по столу, заказал мужикам бутылку.

— Это можно. При нашем настоятеле можно. Ему только поплачься, так он еще сам даст. Сумей только поплакаться. Как нужда подопрет, опять пойду поплачусь...

Мужики смеялись пьяным смехом, распивали заказанную Урбонелисом белую головку. И Урбонелис смеялся заодно.

Так это было. Каждый базарный день.

Как тут утерпеть — не сбежать на базар!

Раполас сказал: «отдохни», и я прошмыгнул на двор, оттуда за денник, а за денником — сад и в садовой ограде — лаз. А где есть лаз — там не поймать пастуха.

Но базар сегодня не такой, как всегда. Людей, правда, понаехало, но были они как мухи по осени. Даже Пранукас ходил без рысака, с одним недоуздом в руках. И привязанные к телегам коровы стояли смирно, и овец будто подменили, и поросята не визжали... Женщины сидели на возах, кутались в платки, а мужчины толпились не возле трактира Мауши, как обычно, а возле столбов и стен, залепленных в этот день разноцветными бумажками разной величины.

— Грамотея посильнее не найдется? — спросил кто-то. — У кого глаза яснее?

— Сам ты грамотей, Баканелис, три зимы науку долбил. Еще кого поголовастее ищешь?

— Больно высоко налепили, — оправдывался тот, кого называли Баканелисом. — Все буквы в кучу слились, словечка не выковырнешь.

— А ты на цыпочки стань. Или, может, за уши поднять?

— Ха-ха, — засмеялись мужики вокруг.

А один схватил меня за руку.

— Мужики! Тут вот настоятелей пастух. Он почитает.

Мужики оглянулись на меня.

— Почитай, почитай!

— А он умеет? — недоверчиво сказал Баканелис. — Грамотный?

— У настоятеля в доме все грамотные.

Прижали меня, чуть не носом ткнули в стену. А на ней большая голубая бумага, наклеена высоко, надо задрать голову, чтобы увидеть буквы.

— «Шайка невежд-клеветников»... — прочел я.

— Хо, — зашевелились мужики. — Начало вострое.

— «Христианские демократы говорят, якобы Радис, будучи ребенком, воровал в незапамятные времена сало. Радис никогда ничего не воровал и подает на клеветников в суд. Скорее всего, какой-нибудь ксендз, пообещав отпущение грехов, уговорил кого-то налгать на Радиса — ведь Радис им как бельмо в глазу, ибо народ любит Радиса...»

— Ага, любит! Слышите, мужики? Что, любим мы Радиса? — крикнул человек, который прижал меня к стене да так и не отпускал.

— Не шуми, дай прочесть!..

— «Не Радис воровал сало, — читал я, — а депутат сейма из Союза христианских сельских хозяев Йосюкас торговал контрабандным салом, поставлял властям под маркой литовского американское; только американское сало втрое дешевле литовского, и он надул власти, приказал некоему Руткаускасу подчищать на сале американское клеймо».

— Го-го-го! — гоготали вокруг.

— Все хороши, — заметил Урбонелис, стоявший возле кучки мужиков. — Йосюкас подчистил, а выберешь Радиса, он тоже к салу...

— Дайте же читать мальчишке!

— «Голосуйте все за Радиса — кандидата в сейм от селян-ляудининков! Спасет народ от разорения и установит настоящий порядок только номер шестой!»

— Как же, проголосую, проголосую... — опять подал голос Урбонелис. — Погоди немного... погоди еще!

— А что тут пониже? — подталкивал меня то один, то другой мужик. — На этой вот, зеленой? Тут и рыло с бородой. Кто это: царь или сам Распутин?

— Сметона, или не видишь! Царя Николашки давно нет, нет и Гришки Распутина, теперь с ихней бородой Сметона лезет.

— А ему чего от нас? Побыл президентом, похозяйничал, чего ему еще?

— Голоса ему нужны. Теперь всем нужны голоса.

— Дайте же почитать мальчишке! Читай ты, пострел.

— «Он основал Литву, он может вызволить ее из нынешних бед, — читал я дальше. — Без Сметоны расшатываются основы нашего государства. Без Сметоны нам не видать Вильнюса, как своих ушей! Лишь Сметона извес-

тен как честнейший, мудрейший и добросовестный государственный деятель! Все за список таутинников, в котором состоит Сметона!»

— Слыхали? Со Сметоной, благодаря Сметоне, за Сметоной?

— Знаем мы этого спасителя, — опять отозвался Урбонелис. — Говорит — соловьем разливается, а дай такому власть — вдоволь наплачешься!

— Тебе все плохие! — сказал кто-то. — Говоришь так, будто много знаешь про Сметону.

— И ты не много знаешь...

— Я и не вылезая с разговорами. А тебе кого ни подай, все плох, все тебе не нравится, все рыжий. Тебе, может, католики нужны? За них будешь голосовать?

— Сунь себе долгополых... знаешь куда? — сплюнул Урбонелис. — Сам за попов голосуй. А Сметону мне не навязывай. Не он ли просил у немцев для нас короля?

— Он самый, он самый, — загудели в толпе. — Шиш он получит, а не наши голоса!

— А вам опять католиков захотелось? За попов будете голосовать?

— Нынче что-то католиков и не слышать.

— Как не слышать? Погляди на ту сторону, у Шлёмы вся стена загажена.

Все оглянулись на другую сторону площади, и верно, вся стена лавчонки Шлёмы пестрела листками. И там собралось немало народу. Читали и они. С нашей стороны тоже повалили туда, потащили и меня за шиворот. На всякий случай. Но там был свой грамотей. Он читал с запинкой.

— «Прочти и передай другим, неграмотным прочти и растолкуй сама!»

Женщины!

Да будет вам известно, что когда представители ляудинников и социалистов в сейме дают присягу, они никогда не целуют крест, а поднимают два пальца, как язычники, вместе с жидами. Как осмеливаются эти люди называть себя католиками?»

— Тьфу, да это для баб налепили? Пошли отсюда... — досадовал один из вновь подошедших.

— Постой, дай прочесть, — успокаивал его другой.

— «Не раз вражеские мечи тупились о закаленную»

бедами грудь литовки, затупятся и языки безбожников-социалистов!..»

— Тьфу, тьфу, — стал опять плевать наш непоседа. — Говорю же, для баб это палепили!..

— А баба кто? Голоса у нее нет? Возьмет да выберет тебе таких, которые сало подчищают!

— А я бабе палку покажу.

— Ты ей палку, а она тебе — конституцию. Теперь не как при царе, теперь все равноправные.

— Провались ты в тартарары со своей тратитуцией. Так моя баба и будет голосовать за кого захочет! Ты, сосед, видно, головой повредился?

— Не орите же, — стали унимать другие. — Дайте человеку прочесть! А ты читай, на них не гляди!

Грамотей стал читать снова:

— «Кто чтит бога и отечество, тот голосует только за пятый номер!

Кто голосует за первый, второй, третий, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый...»

— Постой, постой, куда спешешь? Голова кругом идет от этих номеров... За которые, говоришь, голосовать?

— Не голосовать, а НЕ голосовать, — объяснил грамотей и стал читать дальше «...тринадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий...»

— Ну и партий расплодилось! Чуть не по паре на пузо приходится!

— «...двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, — задыхаясь гнал грамотей, — двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый, — тот согрешит против бога и отечества!» — весь в поту, кончил он наконец читать. — Фу-у-у! Легче рожь косить или рыть канавы.

— Вот спасибо, сосед. Ото всех наших — спасибо. Теперь хоть будем знать, за кого не надо голосовать — за пятый номер.

— Как за пятый? — вытаращил глаза грамотей, — Ясно же прочитал: «Кто чтит бога и отечество, тот голосует только за пятый номер». Уши у тебя заложило или с другого конца?

— А ты что кричишь, дядя? Не бабьим ли агитатором тебя поставили?

— Это листок христианских демократов, а не бабий. Читаешь-читаешь, а они, знай, свое...

— Так христианских демократов?

— Сам погляди.

— Я и спрашиваю, не агитатором ли тебя поставили эти мошнократы?

— Боже милостивый! — хватаясь за голову, крикнул грамотей. — Так тебе безбожная власть нужна? Чтобы костелы прикрыла, а твои ребятишки — без молитв, без креста, как жиденята, росли, а?

— Ты не ори, ты что на меня орешь! И жиденят не касайся. С жидами я, может, пропаду, а может, и не пропаду, а твои мошнократы нынче сало подчищают, а завтра, может, все подряд подчистят.

Мужики было схватились. Но тут из своей лавчонки вышел Шлёма — старый, сгорбленный, сплошь седой, в черной круглой шапочке на макушке. Склонил набок голову, почмокал ярко-красными губами:

— И это красиво? Это красиво, люди? Базарный день, покупать-продавать надо, а вы — ай-ай-ай!

— Не лезь, а то тебе самому будет ай-ай-ай!

— Бить меня? Меня, старого еврея? Ай-ай-ай, люди, люди!

— Мы евреев не бьем. Нет такой моды в Литве. А вот что ты, нехристь, нас за ксендзов агитируешь? И тебе сало подчистить захотелось?

— Ха-ха-ха, — захохотали вокруг.

— Говори, нехристь, чего ты за ксендзов агитируешь?

— Я агитирую? Ай-ай-ай, люди! Это я агитирую? Это мои стены агитируют. Если первым наклеит католик, тогда стена за католиков, ну, а если бы первым наклеил некатолик, тогда стена была бы за некатолика. Я агитирую? Это стена агитирует!..

Теперь хохотали почти все. Сцепившиеся мужики остыли. Повеселели и даже сами удивлялись:

— И чего грызлись? В прошлый раз голосовали за католиков мошнократов, а что получилось? Ерунда! Вот и надо присмотреться как следует, сообща. Так я говорю?

— Святую правду говоришь, Йокимас.

— И еще подумать надо, чего они так клянут друг друга? Дело известное: кто больше других клянет, к такому и надо присматриваться.

— И это святая правда.

— Тише, — прошипел кто-то. — Легавый идет.

На площади показался Ефимка. В синей шинели, с золотой башней на козырьке фуражки, штаны, как всегда, пузырями на колеснях. Выступал, точно яйцо на голове нес. Подошел, стукнул каблуками, поманил меня пальцем.

— Ты как сюда попал? — спросил. — Что тут делаешь?

— Смотрю.

— Настоятелю пастуху смотреть незачем. Шагай домой.

Сказав это, Ефимка опять стукнул каблуками, глядя на меня. Стоял и глядел — ясно, ждал, что я буду делать. А что мне было делать?

Дошагать до дому мне не удалось. Не успел я миновать несколько возов, как меня кто-то взял за плечо и вежливо так спросил:

— Ты куда, мальчуган?

Рядом со мной стоял мужчина в черном пиджаке и полосатых штанах. Рубашка на нем была белая, лицо чисто выбрито, под подбородком пестрый галстук, проколотый медной булавкой с головками на обоих концах. У нас такие были только у сыновей самых богатых хозяев. Но этот не походил на хозяйских сыновей: тонкий, руки белые, пахнут духовитым мылом.

— Хочешь послужить богу и отечеству? — спросил меня.

— Я-то?

— Пойдем-ка, — позвал он.

Повел меня мимо возов в большой двор, тоже заставленный возами. Подтолкнул меня в одну дверь и еще в одну. Там стояли длинные столы, заваленные пачками листов. Несколько женщин вкладывали листки в конверты, надписывали, заклеивали. Все работали молча.

— Дайте ему. — Мужчина подтолкнул меня поближе к столу. — Разных дайте. Второго, пятого, двенадцатого... Добавьте третьего.

Женщины, все так же молча, отобрали стопку листов, дали мне.

— Раздавай их, — сказал мужчина.

— Кому раздавать?

— Людям, кому же еще. Только не раздавай у наших дверей, слышишь?

— А у чьих же дверей?

— Не у наших! И у наших ворот не раздавай. Отойди подальше, подальше. Когда все раздашь, опять приходи. Я тебе конфетку дам.

— За что конфетку?

— За работу. За то, что богу и отечеству послужишь. А если кто нападет на тебя — отбивайся. Или беги. Только не сюда беги, сюда нельзя. Понял? Ну, иди.

Вывел меня, довел до ворот и сразу куда-то делся, словно сквозь землю провалился. Оставил меня со стопкой листов в руках. Пошел я по площади. Люди сидят на возах и не то смеются надо мной, не то ждут, что я буду делать. Прошел я всю вереницу возов, и вдруг кто-то крикнул из ворот:

— Смотрите, поповский холуй идет.

Тут чьи-то руки вцепились в меня, потащили в ворота, в темноту. Там стояли три парнишки, один другого выше, и самый маленький был больше меня. А с ними была Аквиля. Стояла ко мне боком, выпятив нижнюю губу, и губа эта дрожала.

— Что несешь? — спросил самый рсслый. — Покажи.

— Твое какое дело?

— А это видал? — показал мне кулак.

— Кулак у меня самого есть.

Парнишка тут же дал мне промеж глаз. Я ему — сдачи.

Алаушас не раз говорил, что задирать людей не надо, но если тебя задирают — давай сдачи, всегда давай сдачи, да так, чтобы больше тебя не трогали. Но старшему парнишке мои кулаки были нипочем. А тут подошли и остальные... Раскидали мои листки.

Когда я упал, Аквиля нагнулась ко мне, спросила:

— Жив?

— Пошла ты к черту!.. И этих обормотов с собой забери.

— Вот я ему добавлю, — пригрозил старший парнишка. Он стоял поодаль вместе с другими и косился на меня.

— Погоди, — остановила его Аквиля. — Больно ты скор на руку.

— А чего он лаетя? Чего поповские листки раздает? Брат он тебе? Или, может... жених?

— Хи-хи, — засмеялись остальные.

Тут я поднялся и сказал, сжимая кулаки:

— А ну, подойди!

— Перестаньте! — прикрикнула Аквиля. — Это пастух Дирдов. Такой же наймит, как и вы, сопляки.

— Пастух? — недоверчиво протянул старший. — Иди ты. Поповский холуй он, а не пастух.

— Пастух, говорю. Вместе пасли, только он не отбыл срока, принес топорик... Шкуру свою продает, как и ты, дурак.

Парнишка замолчал.

— А чего он к павасарининкам¹ лез? Сами видели, как он с полосатыми штанами в обнимку шел?

Аквиля взглянула на меня, спросила:

— Правда, лез?

— Никуда я не лез. Какие павасарининки?

— Не знает! — засмеялся старший парнишка. — А это где взял? — тронул ногой листки на земле.

Аквиля опять посмотрела на меня.

— Что же молчишь?

— Не знаю я.

— Как не знаешь? Поповские листки раздаешь, а сам ничего не знаешь?

— Хи-хи, — смеялись младшие парнишки.

— Мне дали... — сказал я.

— Дали, — плюнул старший. — А ты и рад взять. А если тебе дадут топор, велят людям головы рубить? Возьмешь и будешь рубить?

— Что же молчишь? — опять спросила Аквиля. — Ты, правда, не знал, что раздаешь не наши листки?

— А которые «наши»?

— Не знает он! Какая божья овечка, ничего не знает.

Аквиля вытащила откуда-то синеватый листок, протянула мне.

— Видишь? Кузнец Димбелис. Наш.

— Ваш?

— Не «ваш», а наш! Мой, твой, наш. И не один кузнец, а все в этом списке. Девятый номер, видишь?

¹ Павасарининки — члены католической юношеской организации «Павасарис» («Весна») в буржуазной Литве.

На листке и правда стоял девятый номер, а рядом с фамилией кузнеца Димбелиса — Гярвицкас, потом Пиюс Гловацкас...

— Так чего тебе надо от меня? — спросил я Аквилю.

— Будешь раздавать этот листок, — ответил вместо Аквили старший парнишка. — Дай ему, Аквиля, а мы поглядим.

— Дудки! Сперва лезешь драться, а потом — раздавай. Сам раздавай.

— Опять запел петушок, — засмеялся он. — Сказал я, надо ему добавить.

И — на меня. Но тут опять вмешалась Аквиля.

— Не трогай, он будет раздавать. Будешь ведь... петушок? — обернулась она ко мне.

— Не буду.

— Слыхала? — ухмыльнулся старший. — Опять будешь заступаться?

Младшие заржали.

Аквиля вдруг развернулась и закатила мне оплеуху, а потом побежала в глубину двора.

Взял я листки.

Но и их не удалось мне раздать. Ничего мне в этот день не удавалось. Только я раздал несколько листков, вдруг — откуда ни возьмись — ксендз-викарий. Без сутаны, одет как все, не узнаешь его, не отличишь от других людей.

— Ну-ка, покажи, — и взял у меня листок.

Начал читать и тут же меня за ухо. Повел через всю площадь, как бычка или комолого барана. Я рванулся, но он держал ухо словно клещами.

— Не вырывайся! Хуже будет.

А что могло быть хуже? Привел, втащил к ксендзу-настоятелю в комнату и похвастался:

— Большевика поймал.

Викарий подтолкнул меня вперед. Положил на стол листок.

— Надеюсь, ксендз-настоятель, вы хоть на этот раз сделаете должные выводы?

Тот взял листок, проглядел его, потом обернулся ко мне:

— Ну?

Я опустил голову.

— Раздавал их, ксендз-настоятель. Народу раздавал.

То у нас в доме был один большевик, теперь их двое. А все, извините, благодаря вашему либерализму, ксендз-настоятель.

— Прошу оставить здесь пастушка, — сказал настоятель.

— Но я... я надеюсь, ксендз-настоятель, что на этот раз вы действительно сделаете соответствующие выводы?

— Прошу оставить здесь пастушка, — повторил настоятель.

Его самого я не видел, одни его ноги. И викария не видел — одни ноги. Настоятель будто в пол врос, а у викария ноги топтались с места на место, потом повернулись, застучали по полу к двери, там остановились, еще потоптались, тогда шагнули из комнаты. Дверь скрипнула. Настоятель подошел к окну, стал ко мне спиной.

— Раздавал? — спросил не оборачиваясь.

Лицо у меня горело после кулаков парнишки, глаза наливались жгучими злыми слезами. Я кусал губы, чтобы не разреветься.

— А я еще умным тебя считал, — заговорил настоятель. — Думал, пастух у меня толковый. Как же ты так?

— Сам-то не больно умный, — ляпнул я, не сдержав своей злости.

И слез не сдержал. Хлынули из глаз, шут бы их взял.

— О! — обернулся настоятель, — не больно умный, говоришь?

— Урбонелисова сына даром отпели, а он смеется в трактире... насмехается над вами... растяпой считает...

Один бог знает, зачем мне понадобилось говорить об этом. Давно уж хвалился Урбонелис в трактире, давно насмехался, зачем же я теперь? А вот взял и все рассказал. И все с плачем, утирая кулаком глаза. Настоятель выслушал меня, потом сказал:

— Некрасиво ябедничать на людей. Больше так не делай.

— А насмеяться над вами красиво? А называть вас глупым — красиво? А врать так — очень красиво?

Настоятель долго глядел на меня и заулыбался.

— Не плачь. Плакать тоже некрасиво. И незачем. Урбонелис не врет.

— Как не врет? — крикнул я. — Растяпой вас называет. Не врет?

— Не врет, братец, — еще шире улыбнулся настоятель.

Я позабыл свою злость и слезы и глядел на него во все глаза. А он подошел, взял обеими руками меня за подбородок, приподнял голову.

— Да тебя избили! Кто это тебя так?

— Никто.

— Неужели ксендз-викарий?

— Не викарий.

— Кто же еще?

— Никто.

— Как это никто? Зачем ты мне лжешь, не говоришь? Кто тебя избил? Ну?

— Никто.

— А синяки? А разбитая губа? Расцарапанный подбородок?

Он все держал меня за подбородок и глядел прямо в глаза. От его взгляда глаза у меня снова наполнились слезами.

— Да вы сами... — промямлил я, — вы сами говорите: некрасиво ябедничать.

Настоятель отвел руки, выпрямился и вдруг весело расхохотался:

— Ловко ты меня поймал! Ну и ловко!

— Я не хотел...

— Этого еще не хватало. Не хватало, чтобы ты захотел! Не-ет, не ошибся я: смысленый ты пастух. Смысленый.

Вытер слезы, выступившие у него от смеха, и сказал:

— Позови Раполаса.

— Раполаса? Вы ему все расскажете?

— Что, испугался?

— Так расскажете?

— Расскажу. Все Раполасу расскажу.

— Может, не надо...

— Поди позови! — настоятель так же внезапно нахмурился, как до этого повеселел.

Когда я вернулся вместе с Раполасом, он сидел за своим черным столом. Протянул листок.

— Читай.

Подождал, когда прочтет Раполас, и сказал:

— Ксендз-викарий поймал с ними пастуха. На базаре поймал. Он раздавал их.

Раполас поглядел на меня.

— Черти тебя понесли на базар? — сурово спросил он. — Кто пустил?

— Подожди, — махнул рукой настоятель. — Он свое получил. Погляди на этого красавца.

Раполас поглядел.

— Мало дали. Надо бы ремнем.

— Теперь вот что, — сказал настоятель. — Уведи его и не спускай с него глаз.

— Я сначала шкуру ему обработаю.

— Шкура уже обработана. Сейчас нужно что-то другое.

Раполас подумал и сказал:

— Все равно викарий так это не оставит.

— Потому и прошу тебя. Не выкиньте мне еще новый номер.

— Все понятно, ксендз-настоятель, — сказал Раполас. — Новых штук не отколем.

Сказал и подтолкнул меня к двери. И сам пошел следом. А когда мы вышли, двинул меня по затылку. Не очень больно, а все-таки...

— Раполас...

— Молчи, свиненок.

Такой уж, видно, был это день: всем хотелось побить настоятелева пастуха.

Ну и времечко для меня настало! Раполас так переменялся, будто был и не Раполас, а дракон о шести головах и двенадцати глазах, о котором рассказывал сказку Алаушас. Куда ни шагну, сяду ли, встану ли, он все видит, тут же прикрикнет:

— Не озорничать!

А когда я говорил, что не озорничаю, кричал еще строже:

— Сказано тебе — не озорничать!

Даже Амилия не выдержала:

— Житья не даешь мальчишке.

— Не твоя забота, — отрезал Раполас.

Амилия не знала о случившемся. И никто не знал, кроме настоятеля, Раполаса и меня. Знал еще викарий, но он опять улетучился из дому, мы не видали его целыми днями.

Раполас пригрозил мне:

— Только проговорись — голову сниму и волос не оставлю.

Я и так молчал. Скрывал не только от Амилии, но и от Винцулиса и, понятно, от Агне. Ксендз-настоятель при встрече со мной насмешливо покашливал, а Раполас без устали покрикивал:

— Не озорничать у меня, не озорничать!

Тем временем покончили мы с дровами. Сложили их в поленицы — высокие, широкие, ничуть не меньше прошлогодних. А остатки прошлогодних переложили под навесы. Этих остатков было столько, что им там места не хватало. А сараи были полны сена, риги — соломы. Зима будто и не задела настоятельской усадьбы, — не то что крестьянские дворы! Зато великий пост задел нас, как и всех, еще и заметнее, чем других. Амилия так спала с тела, что по утрам чуть не вдвое закладывала пояс юбки. Даже брусничные щеки Агне побледнели от воздержания, будто все эти недели она прожила в курной избе. Про Винцулиса и говорить нечего. Утром он подолгу возился в постели, а когда вставал, то на ходу заплетал ногами, как петушок, когда его подгоняет ветер; сечь с соломой тащил широко раскорячившись и после никак не мог отдышаться, стоял, прислонясь к стене.

— Эх ты, кавалер, — подшучивал над ним Раполас, — еще к барышням, к Агне подъезжаешь.

— Не твое дело... — хватая ртом воздух, отвечал Винцулис.

Раполас махал рукой. Убирал скотину, делал свое дело, будто никакого поста не было. Только ходил, стиснув зубы, и говорил мало. Скажет слово, крикнет на меня, чтобы я не озорничал, и опять как воды в рот набрал. А то просто покажет рукой или кивком головы, за что надо браться, что делать.

— И где, черт дери, эта пасха замешкалась? — стоял Винцулис.

— Такие слова в настоятельском доме! — возмущалась Амилия.

Винцулис уныло глядел в окно, будто за ним где-то проходила пасха. Шла и мешкала в пути — то яйца красила, разжигала в кустарниках костры, может, и пекла пироги, снимала с черной ольхи кору на желоб — катать яйца...

Зато пришла она не только с полным решетом разноцветных яиц, но и жарким солнцем на небе; у изгородей живо пробились вырезные листочки крапивы, потянулись вверх побеги красного пиона, и тополь расправил смолистые почки, а ласточки бороздили воздух как черные молнии.

А сразу после пасхи — зарядил на много дней дождь. Ливня лил, хлестал, бушевал над полями, покато сбегающими за наш сад, над поймой речки Вирдуле у подножия горы и над замковой горой, промыл до корней ольшаник и затопил болото, так что из-под воды виднелись лишь пучки осоки на кочках, а заросшее озерцо посреди Валакнай превратилось в настоящее море, от края до края покрытое зыбью.

После дождя снова засветило солнце. Еще светлее, еще горячее. Испарения туманом заполнили все вокруг. А когда ветер сдул его, стали подсыхать южные косогоры, выманивать на волю скотину и людей.

Раполас запряг в плуг пару лошадей и вышел за сад. Огляделся, снял шапку, щелкнул кнутом и крепко ухватил чапыги. Длинный, острый, заржавевший за зиму лемех вошел в землю. С шуршаньем, с треском прошлогоднего жнивья опрокинулся первый пласт — тучный, жирный, как черное масло. И тотчас тучи ворон, и еще больше воробьев, бог весть как узнавших о начале пахоты, захлопали крыльями над головой Раполаса.

Застоявшимся за зиму лошадям нетерпелось побежать рысцой, приходилось не понукать, а придерживать их, чтобы не заездить за весну, разумно распределять силы на все полевые работы. Попахал с полчаса Раполас и остановил лошадей, сел спиной к ним на стойку и улыбнулся. И вороны с воробьями сели вокруг него, ждали, когда он начнет пахать снова.

Все вышли поглядеть на начало пахоты. На горе возле садовой изгороди стояла Амилия, и простоволосая Агне, и Винцулис, и барышня. И даже ксендз-настоятель. Он стоял поодаль. Залоснившаяся сутана блестела на солнышке. Ветер трепал седые волосы. А он стоял и смотрел. Один, в стороне.

Раполас шевельнул вожжами, лошади прижали уши, дернули постромки и опять из-под лемеха отваливались парные пласты. Опять вертелись вокруг стаи ворон и воробьев, а там и черные, как вороненая сталь, скворцы,

только что прилетевшие со скворечниц настоятельского сада и лип костельного двора.

Раполас вернулся к вечеру весь взмокший, пахнувший свежей землей и, как редко когда, веселый.

— Приготовь и ты лапти, — сказал мне. — Завтра погонишь стадо в ольшаник.

— И чтобы пас отдельно, — сказала барышня, как нарочно очутившаяся возле нас. — Скажи ему, Амилия, чтобы пас отдельно.

— Не глухой, без Амилии слышу.

Барышня замахала руками.

— Нет, я больше не могу, — простонала она. — Пусть брат, ксендз-настоятель, поговорит с этим нахальным мальчишкой.

Побежала в дом, видать, жаловаться настоятелю. Но на сей раз он не пришел поругать, как раньше, когда барышня плакалась ему на нас. И во время ужина не показался на нашей половине. Может, барышня не жаловалась, а может, он не слышал, как она жаловалась, а если слышал, то подумал, что не стоит связываться с пастухом и долго объяснять, как надо пасти, сгонять или не сгонять свое стадо с другими...

А наутро только я загнал свое непокорное стадо в ольшаник, как услышал с дальнего конца мальчишечьи голоса. Их было трое — те самые, которые дали мне листки. А с ними Аквиля, в постолах на ногах, с высоко обвиняющими голяшки оборами. Вместо кнута у нее была хворостина. Старший подбежал ко мне.

— Гони домой! — крикнул во все горло, щелкая кнуртом.

— Еще не пас.

— Ну что? — ухмыльнулся он. — Задал тебе трепку твой ксенженька?

— Радуйся, что тебе не задал.

— Чего ты нос задираешь? Кто ты такой?

— Ты тоже невелика птица.

Париншка положил кнут наземь, прищурился и спросил:

— По морде хочешь?

— Хи-хи, — обрадовались оба младших и придвинулись поближе.

— Смотри, как бы я тебе морду не взборонил.

— Да ну? — Он подошел так близко, что толкнул ме-

ня и заставил попятиться. Руки не поднимал, а толкал грудью, ясно — ждал, что я ударю его, начну первый. Но тут подлетела Аквиля.

— Перестанете вы или нет?

Двинула локтем в грудь старшего, другим локтем — меня, турнула и младших.

— Как петухи, как павлины! Как сойдутся, сейчас же сцепятся. Из-за чего?

Мы молчали, не глядели друг на друга. Аквиля показала хворостиной на старшего.

— Это — Яронимас, — объяснила мне. — А те вон — Повилюкштис и Йокубелис. Поздоровайтесь за руку, по-хорошему. Ну?

— Пускай рыжий пес с ним по-хорошему... — бормотнул Яронимас, не глядя на меня.

Аквиля замахнулась хворостиной.

— Долго будешь тут бурчать?

Яронимас был раза в полтора выше Аквилы и держал в руках туго свитый, весь в узлах кнут. Но он не замахнулся им, а исподлобья глянул на Аквилю и спросил:

— А чего этот поповский прихвостень не говорит, как его зовут?

Я сказал. Яронимас подошел, подтолкнул меня плечом и сказал грубым голосом:

— Ладно уж, раз так хочешь, давай по-хорошему...

И пошел прочь через голый еще ольшаник. Младшие тоже поплелись за ним, дергая носами.

— Яронимас! — крикнула Аквиля.

Яронимас не обернулся. За кустами, среди редких осин, паслось его стадо — коровы, овцы и несколько белых коз. Коров было много, все отощавшие, издали пересчитаешь ребра; увидев клочок травы, они кидались к нему, как дикие звери, выдирали прямо с корнями не только траву, но и молодые кустики. А впереди с громким блеянием бежали в поисках корма овцы и козы. Осинник из конца в конец вытоптан дочерна, везде море грязи, какое это пастбище!

— Яронимас!

Но Яронимас был уже за ольшаником. Стоял, не оборачиваясь на голос Аквилы. Младшие парнишки остановились недалеко от него и тоже не оглядывались.

— Дурья башка, — сказала беззлобно Аквиля.

- Чего он сердится?
- И ты дурья башка.
- А я почему?

Аквиля покосилась на меня.

— Мы тут пасем местечковое стадо. Отчим позволил, вот мы и взялись. Вчетвером пасем.

Сказала и опять покосилась. Так и стояла боком ко мне.

- Где теперь Ализас? — спросил я.
- У отчима и побуду этот год, в местечке.
- А Ализас?

— Нам с головы платят. Сколько коров, столько и платят. Выходит больше, чем в деревне у хозяев, только харчи свои.

— А Ализас?

— Отчим кормит. После, говорит, расплатишься, осенью.

— Аквиля, а где Ализас?

Аквиля обернулась наконец, с удивлением поглядела на меня, будто впервые услышала имя Ализаса.

— Тебе чего? — спросила.

— Я про Ализаса...

— Какое тебе дело до Ализаса? — И добавила: — Свинья ты.

И скрылась в кустах.

В ольшанике бродили мои коровы. Лениво, не торопясь, опускали головы к траве, хотя она была здесь не такая, как в осиннике, где пасли Аквиля и Яронимас, а солнечные прогалины пестрели уж белыми как снежинки цветами земляники.

Вдоль ольшаника вилась от настоящей усадьбы дорога — изъезженная, запущенная, затопленная талой водой и жидкой грязью, но уже покрытая на буграх травкой. Только шагай вдоль этой дороги, не пускай коров на настоящеское поле — всего-то дел пастуху. В осинник они и сами не пойдут.

Вот я и пас себе, когда меня все оставили. А немного погодя в ольшаник опять пришел Яронимас. Сел поодаль, строгают ножом деревяшку. и не оглянется, будто и нет меня, лишь один он. Нож у него короткий, со сломанным и вновь заточенным острием, привязан короткой бечевкой к поясу. И все на Яронимасе короткое: сермяга до пупа, штаны не прикрывают голяшек, картуз дер-

жится на самой макушке... Сидит, строгают, молчит. Молчу и я.

— Ализас у Аквили, — заговорил он наконец.

— Где это у Аквили?

— Отчим пустил. В сенях живет. В сене.

— В сене? А как же зимой?

— И зимой. Плохо, что ли, в сене? Дадут поесть, и сиди там.

— Холодно.

Яронимас не ответил. Строгал свою деревяшку. И не узнать было, что он хочет выстрогать. Только стружки летели во все стороны.

— Ты Аквилю не серди, — сказал он.

— Она сама чего-то злится.

— Не серди, и не будет злиться.

— А я не сержу.

— Не сердишь? Всю зиму обжирался в настоящельском доме салом, а вспомнил хоть раз Ализаса? Не се-ержу-у, — передразнил меня Яронимас.

— Да я...

— Не товарищ ты Ализасу. И Аквиле не товарищ. Ксендзовский холуй ты!

Сказав это, он встал, сложил ножик, спрятал в карман штанов.

— Не серди Аквилю, — уходя повторил он.

Тем временем на небе набежали облака. Белые, негустые, но холодные, недобрые. Заволокли солнце, и сразу похолодало кругом, и ветер стал резче. В поле пахал сейчас не один Раполас, а и Винцулис. Все рос и рос черный лоскут пашни. Вокруг озерца, над поросшими осокой кочками, носились чибисы и кричали наперебой:

— Чьи вы? Чьи-и вы?

Вечером у настоятеля собрались старшина Уткус, начальник полиции Жилюс и аптекарь Урбутис. На сей раз они не столько пили и закусывали, сколько кричали, спорили, уговаривали друг друга. Всех больше кричал Жилюс.

— Вот... вот до чего довела наша бездеятельность! Ведь говорил я! Объяснял! Теперь мы все проиграли, прошляпили, прозевали, потеряли!

— Вы правы, господин Жилюс, — подхватил Уткус. — Вы абсолютно правы. Испокон веку, со времен седой старины...

— Эх, оставьте вы свою седую старину, — перебил его Жилиус. — На что она нам сейчас, эта старина? Какую дыру заткнешь ею? И не в старину мы живем, вот что надо понять. Старина подождет, а что нам делать сегодня, сегодня?

— Я ведь про Литву, господин Жилиус... — пролепетал Уткус.

— Литва — это мы! — воскликнул начальник полиции. — Так что нам делать, я спрашиваю?

— А что бы вам хотелось делать? — послышался спокойный голос настоятеля.

— Я? Как так что бы мне хотелось делать? — раскипятился Жилиус. — Вы смеетесь надо мной, ксендз-настоятель? Кто победил на выборах? Безбожники, либералы, большевики! Не завтра, так послезавтра будет легализована коммунистическая партия, — надеюсь, вы понимаете, что это значит?

— Святая истина, — откликнулся Уткус. — Вы правильно анализируете события... Гибель!

— Кому — гибель? — снова послышался голос настоятеля.

— Литве — гибель, или вы не понимаете, ксендз-настоятель? — выкрикнул Жилиус. — Литве, дорогому нашему отечеству.

— Неужели Литве?

— Каждый из нас в первую очередь думает о Литве. С глубокой древности, с седой старины, с дедов-прадедов...

— Нуте-ка, выпьем, — предложил настоятель.

— Пить? В такое время пить? Это уж извините, ксендз-настоятель!.. — рассердился Жилиус.

— Почему же не выпить?

— Но это будет Пирров... Пирров пир, ксендз-настоятель.

— Поистине Пирров пир, — поддакнул Уткус. — Вы, дорогой мой, господин Жилиус...

И оба внезапно замолчали. Видно, ждали, что теперь скажет настоятель. А он не спешил. Звякнул рюмкой, раз и другой, застучал вилкой, ножом, и тогда спросил:

— Кем вы были до выборов, господин Жилиус?

— А? Вы меня спрашиваете, ксендз-настоятель?

— Кого же еще мне спрашивать? Вы, верно, лучше всех знаете.

— Ну, я... — забормотал Жилиус и вдруг вспылел: — В конце концов, мой мундир говорит, кто я такой.

— Совершенно справедливо, господин Жилиус. Мундир все говорит о вас. Ну, а вы, господин Уткус?

— Хе-хе-хе... Вы насмехаетесь надо мной, ксендз-настоятель?

— А если всерьез?

— Хе... — хихикнул Уткус, но не очень весело. — Старшиной... старшиной я был.

— Вот и отлично, господа, — сказал настоятель. — Вы были старшиной, а вы начальником полиции. Ну, а теперь, господин Жилиус, вы побудете старшиной...

— Старшиной? Я — старшиной?

— А почему бы нет? Жалованье то же самое, положение то же самое, уважение народа... ну, то же самое.

— Подождите, а куда мне тогда? — спросил Уткус.

— Найдется и для вас место. Были вы старшиной, а теперь побудете начальником полиции.

— Начальником полиции? Вы шутите, ксендз-настоятель.

— А почему нет? Нарядитесь в мундир, чаще повышайте голос, и готов начальник. Или вам не хочется?

Тихо стало на ксендзовской половине. Раполас усмехнулся, обернулся ко мне:

— Слышишь?

— А что?

— Власть делают.

— Ге-ге, — заржал вдруг аптекарь Урбутис, молчавший весь вечер. — А ведь вы гениально придумали! Честное слово! Если позабыли, то позвольте вам напомнить, господа, что я всегда и везде говорил: когда церковь, как скала, а все мы сплотились вокруг церкви, то и мы — скала. Скала, уважаемые господа.

— Подождите, — опять заговорил Жилиус. — Значит, ксендз-настоятель, значит... серьезно? То есть, я что хочу сказать? Значит, вы уверены, что это возможно, и что я... и что господин Уткус, так сказать?..

— Почему же невозможно, господин Жилиус? Во всем мире после выборов должностные лица меняются местами. Почему же в Литве должно быть иначе? Мы гонимся за Европой, учимся у цивилизованного мира. Мне прямо-таки непонятно, чего вы ждете? Думаете, кто-то должен прийти и переменить вам места? Если и придет, то зай-

мет посты сам. На вашем месте я бы давно все устроил. Ну, а теперь выпьем, господа!

— Го-го, — снова заржал Урбутис. — Прекрасное начало и прекрасный конец. Выпьем! Сегодня необходимо выпить. До дна, господа, и пусть процветает, пусть благоденствует, пусть укрепляется родина Литва!

Зазвенели сдвинутые рюмки.

— Поделили, — сказал Раполас.

Дни шли за дням, недели за неделями. Густой листвою оделся ольшаник, не увидишь сквозь нее, где теперь Яронимас и Аквиля пасут местечковое стадо. На прогалинах вымахала трава — густая, темная, таяли последние снежинки — цветы земляники, завязались мелкие и твердые, усыпанные веснушками, ягоды. В холодке, под ольхами, где перепревают прошлогодние листья и отмершие веточки, выскакивали один за другим светло-зеленые трилистники кислицы.

В воздухе толклись роем голодные комары в ожидании отбившейся от стада овцы или коровы, которая принесет им на обед свежей кровушки. Притихли чибисы на придорожном кочкарнике, притихло и озеро среди густой остролистой осоки. На косогоре, где Раполас и Винцулис провели первые борозды, поднимались пшеница и ячмень, в низине проклеывался желтоватый молодой лен. Винцулис вывозил в поле навоз, и Амилия с Агне в высокоподоткнутых юбках растрясали его вилами; парной запах стоял над лугами и в ольшанике.

Дни стояли длинные, и совсем не осталось вечеров. Ночи тоже пропали. Только загонишь коров, только привяжешь, а Раполас уж покрикивает:

— Спать, спать, не болтайся зря.

— Еще не ужинали, — скажешь ему.

— На голодный желудок легче.

На дворе лошади наготове, у одной на спине — длинная попона. Раполасу пора ехать в ночное, а он не выезжает, снова кричит:

— Поскорее, поскорее! Так вы всех невест проспите.

Раньше всех загонял меня в постель, а еще раньше — вытаскивал из нее. На дворе еще полутемно, стоят лошади, и опять на одну накинута длинная попона. И не понять, был ли Раполас в ночном или не был, и спал ли

ты сам или не спал. Только дрожь пробирает с головы до ног, только сон тянет назад в постель.

— Скорее, — сердится Раполас. — Что я тебе вечером говорил? Проболтался полночи.

— Не болтался я.

— Валяй к колодцу, пои коров. Амилия и Агне доят.

Однако доит одна Агнете, Амилия стоит у колоды и споласкивает подойник. Споласкивает-споласкивает, будто к нему пристала смола или деготь. Раполас кричит и на Амилию:

— Довольно плакать, берись за вымя! Не пропадет твой настоятель.

— Да ведь все чаще стали вызывать, Раполоюкас.

Настоятеля в самом деле опять «вызывали», и дома его нет. Один викарий расхаживает по дому, служит обедни, ездит соборовать больных. Амилия как только увидит его, заливается слезами, а Раполас цедит сквозь зубы:

— Ябеда, сыщик, выжига.

— Вызывали и еще вызовут, — говорит он Амилии.— А коров доить все равно надо, ксендзы и каноники не подоят.

Амилия присаживается к корове, утирает тыльной стороной ладони глаза. Молоко жужжит, ударяясь о дно подойника.

— Все из-за тебя, — хмуро говорит Раполас.

— Чего из-за меня?

— Листовки на базаре раздавал? То-то же! А тут еще выборы провалили, своего милого братца, вора проклятого, под суд не стал отдавать... Есть за что отвечать нашему настоятелю в епархий. Ну, выгоняй!

Выгоняю я задолго до солнышка. За пазухой у меня — хлеб и сыр, в руке — кнут. Коровы выбивают в росистой траве темные следы, а за ними и я. Роса студеная, как лед, но ноги не зябнут, их только приятно пощипывает. Трава клонится под ней, а в ольшанике столько ее, что чуть туда сунешься — и с головы до ног мокрый. Черно-пегий, огромный, как печь, бык, с налитыми кровью, свирепыми глазами не спешит приняться за траву, как все стадо, а ходит и ходит, обнюхивает следы коров.

В полях тишина. Серебристой пылью курятся яровые, блестит трава на пойме. Густой пар стоит над озер-

цем, а замковая гора в приплюснутой шапке еще не пробудилась, будто снятся ей еще сны короткой летней ночи, будто ожидает она чего-то. А вот и жаворонок показался на краю нивы, пробежал по земле, расправил крылышки и — фрр — ввысь, выше, выше, а там зазвенел, запел о том, что наступило утро, довольно спать. И враз словно бы раскрыли глаза поля, заговорила приозерная осока, расправила плечи просыпающаяся замковая гора.

Солнышко встало...

На дорожке показался человек. Неведомо, с какой стороны он и шел, опирался на кривоватую палку, — видеть, выломал в пути, за спиной нес мешок с веревочными ляжками. Лицо бледное, чуть ли не синеватое, не тронутое солнцем и ветром. Поровнялся со мной, остановился, улыбнулся.

— Здравствуй, что ли!

И на щеках у него появились ямки, и справа и слева. У меня мурашки по спине пробежали.

— Пятрас! Это ты?

— Узнал, однако.

Я стоял, смотрел и смотрел. Конечно, Пятрас. И ямки на щеках Пятрасовы. И чертенята в глазах. Голова только без волос. Словно косилка по ней проехала.

— Плакать-то зачем? — удивился он.

— Да я не плачу...

Пятрас сбросил с плеч мешок, присел на камень, вытянул ноги.

— А ты подрос, — сказал он. — И в плечах раздался... Настоящий мужик, а?

— А ты откуда?

— Не знаешь разве? — улыбнулся Пятрас, сворачивая цигарку.

— Отбыл, что ли, срок?

— По амнистии выпустили.

— По какой амнистии?

— Пришла новая власть, вот тебе и амнистия. А ты как? Крутишься?

— А это что — амнистия?

— Амнистия? Как бы тебе сказать? Когда приходит новая власть, она хочет понравиться народу... Милостыню подает... из тюрьмы вот выпускает.

— Сама власть выпускает?

— Сама власть.

— Это, выходит, хорошая власть?

Пятрас глубоко затянулся сигаркой, выпустил дым, помолчал.

— Нехорошая, — сказал.

— Тебя же выпустила.

— Выпустила и опять посадит. Если прищучит, конечно, — улыбнулся он. — Вначале все власти хороши, а потом портятся. Ну, а ты? Слышал я, ты у брата моего любезного пас?

— Нанимал меня...

— Она мне сказала, теперь ты у настоятеля. Иду и думаю: авось, встречу на выгоне. По правде говоря, соскучился я по тебе.

От этих его слов у меня спине горячо стало.

— А я по тебе.

— Ну вот видишь. Не забыл, как мы с тобой у Чяпулисов жили? А как ругалась Она, когда меня брали?

— Когда тебя увели, она еще больше ругалась. Чуть глаза не выцарапала хозяевам. А откуда Она знает, что я здесь?

— Знает, не беспокойся.

— А сама она где теперь?

— В Чёвиджяй, у Вайчюлиса работницей. Второй год уж.

Роса спала, и Пятрас скользнул с камня в траву, улегся. Сигарка во рту у него потухла, глаза закрылись. Пятрас еще подвигал плечами, укладываясь поудобней. Видно, немалый конец отшагал он за утро.

— Она ведь подкармливала меня, — заговорил немного погодя. — В Паневежис привозила. В тюрьму. — Помолчав, добавил: — Сильный она человек.

Мне стало неловко. Аквиля кормит Ализаса. Она возила харчи Пятрасу. А я? А я что?

— Пятрас, а это нехорошо, что я у настоятеля?

— Нехорошо? Что тут нехорошего?

— У настоятеля служу... У попа...

— Ребяёнок ты, — сказал Пятрас. — Вырос, вытянулся, а все еще ребяенок. Кому он ксендз, кому — поп, а тебе — хозяин. Как и другие хозяева.

— Он хороший, настоятель-то, — обрадовался я.

— Растяпа твой настоятель, — обрезал меня Пятрас. — Родня его обворовывает, грабит. Скайстис, мальчишка этот, доносчик, выживает его, а что делает твой

настоятель? Вздыхает, как последняя баба, лакает водку с пропойцей Каушпедасом...

— Откуда ты все знаешь?

— Все не все, а кое-что знаю.

Пятрас привстал, придвинулся ближе, легонько ткнул локтем меня в плечо:

— Сердишься за настоятеля?

— Он все равно хороший...

Пятрас улыбнулся. Развязал свой мешок, засунул в него руку, порылся и вытащил высокую бутылку из белого стекла.

— Возьми. Это тебе.

— Не надо мне...

— Да ты хоть посмотри. Все сердишься?

Я обернулся, глянул. В бутылку был вставлен крест из светлого дерева, высотой во всю бутылку и такой широкий, что концы крестовины упирались в стенки бутылки. Был на нем распятый Христос, в терновом венце и с пронзенным сердцем, а под крестом стояли два ангела с крыльями, у обоих головы опущены, руки молитвенно сложены. Горлышко закупорено длинной, деревянной же втулкой, а на конце ее внутри бутылки — поперечина, и у нее на концах — тоже поперечинки.

— Нравится?

— Это ты сделал?

— Где там, — засмеялся он. — Такая хитрая работа не по моим, брат, лапам. Уголовники подарили. Здорово владеют ножом.

— А их не выпустили?

— Как не выпустили! Выпустили, еще раньше, чем меня. На прощание и подарили: держи, говорят, большевик, хороший ты человек. Видишь? И меня кое-кто считает хорошим, — весело сказал Пятрас.

— Ты и правда хороший.

— Хороший? У тебя, как я вижу, все хорошие. Настоятель хороший, я хороший, она хорошая... Так что ли, все?

— Не все. Есть и плохие.

— Ага, есть все-таки. Кто же плохой?

— Плохой? Плохих много.

— Может, и сам ты?

— Я? Я не очень...

— Стало быть, ты хороший?

— Не очень...

— И такой — не очень, и этакий — не очень? Какой же ты все-таки?

— Знаешь что, — сказал я. — Не нужна мне твоя бутылка.

— Обиделся? — прищурился Пятрас.

— Тебе дали, ты и держи ее.

— Значит, обиделся. Вот и зря. Я только узнать хотел. Понравился мне ты, скучал я по тебе. В тюрьме, бывало, думаю: хороший человек вырастет. А у тебя вон в голове туман какой-то: этот хороший, тот хороший, а сам ты и такой не очень и сякой не очень... Ну, бери, — сунул мне под бок бутылку. — Не последнюю отдаю, не бойся. В мешке у меня еще две. Уголовники смастерили. В тюрьме знаешь как? Со скуки повеситься можно. Мы-то учились, книги читали, а они только ножом работали.

Вложил бутылку мне в руки. Вздел на плечи лямки, вскинул мешок повыше.

— По утрам моешься у колодца, как я учил? — спросил.

— А ты уж уходишь?

— Значит, не моешься, — решил Пятрас. — Ну, будь здоров, как говорится, не поминай лихом.

Хлопнул меня по спине и пошел по заросшей дорожке. Без палки пошел, оставил ее лежать возле камня.

— Пятрас!

— Что? — приостановился он.

— Куда ты теперь денешься?

— Не пропаду.

— Все давно батраков наняли. Поздно ты пришел, Пятрас.

— Не пропаду. Буду канавы рыть у мелиораторов. Рожь косить поденно. В тюрьму меня заберут не так скоро.

— А могут опять?

— Могут, брат. На то и амнистия, чтобы опять посадить. Если прищучат, конечно. Если прищучат.

И пошел по дорожке, а там свернул на пыльную дорогу, зашагал в гору, к местечку. Все дальше и дальше. Когда уж дошел до первых домов, я вспомнил, что за пазухой у меня хлеб и сыр, а Пятрас, наверно, голодный, не завтракал...

— Пятрас! Пятра-ас! — закричал я и побежал за ним.

Но он не услышал.

В ясный воскресный день пришла на пастбище Амилия. Было это после вечерни, от костела во все стороны катились тележки и брички, брели пешие с молитвенниками в руках и сапогами или ботинками через плечо.

— Иди и ты, — сказала Амилия. — Навести своих. Поди соскучился?

— А пасти кто будет? — недоверчиво спросил я.

— Раз говорят, так иди. За коровами я присмотрю. Или не хочется?

Я только засмеялся и помчался через поле, не заходя в настоятельскую усадьбу, прямо домой.

Дома — ни отца, ни матери. Одна Маре сидит у избы. Бледная, с синяками под глазами, руки — одни косточки.

— Хвораешь, что ли?

— Не знаю. Говорят, мне надо жить, где сосновый бор. Иначе, говорят, плохо будет.

— Кто это сказал?

— Многие. Иначе плохо дело.

— Кто это тебе даст сосновый бор? — спрашиваю. — Ведь кругом, километров на десять, а то и больше, — одни болота, ольшаники, непроходимые заросли черемухи и береста.

— Авось, и даст, — хитро улыбнулась Маре, — найдутся такие.

— А где все наши? Лявукас где?

— Тятя с мамой в Шимонис пошли. С самого утра. Слыхали, будто там нянька кому-то нужна. — Маре улыбнулась еще хитрее. — Там и сосновый бор есть. Может, сладятся, тогда пойду.

— А Лявукас где?

— Лявукас? Запродали Лявукаса.

— Лявукаса? Он же маленький.

— Запродали. В Диджяграшисе пасет. И вовсе он не маленький. Ты такой же был, когда первый раз тебя...

Я оглядел наш дворик, огород. Все было по-старому. На грядках уже лопушилась капуста и тянулись вверх липкие стебли отцова самосада, все тот же камень лежал

у порога, только в окошко были вставлены новые лучинки, — опять, видно, разбилось стекло.

— Ты Алаушаса навести, — сказала Маре. — Когда еще был здоров, спрашивал про тебя. Хочет повидаться, сказал.

— Захворал Алаушас?

— Помирает.

Старый Алаушас в самом деле лежал на кровати, узкой и глубокой, как корыто. Под голову подостлана холстина, седые волосы разметались по ней, и не отличить их по цвету от холста. На дворе лето, а изба натоплена, крепко пахло тмином, чебрецом, мятой и аиром. Знобило, видать, Алаушаса.

Алаушас был не один. Перед кроватью стоял Тяконис — большой, высокий, чуть не до потолка доставал головой. В руке он комкал сложенную вдвое шапку. На сей раз во рту у него не было всегдашней соломинки с вымолоченным колосом. Пот струйками лился по его лбу. Стоял он здесь, видать, долгонько.

— Сколько же тебе будет годов, Алаушас?

Алаушас долго молчал, потом дрогнули его опущенные ресницы, он слабо зашевелил губами:

— Не будет. Кончились мои годы.

Пот еще обильнее выступил на лбу Тякониса. Он отер его скомканной шапкой.

— Вот я и говорю, — вымолвил он с натугой. — Как ни вертись, а от божьей десницы не уйдешь. Значит, смертушка твоя пришла. А раз смертушка, так надо по-хорошему...

Опять приложил шапку ко лбу, отерся подкладкой.

— Что же ты, Алаушас, не слушаешь меня?

Но Алаушас все не открывал глаз. Тяконис подождал немного.

— Я разве чудо какое сотворить прошу, либо чтобы сам явился? Нельзя, так нельзя — знаю это, не маленький. Никто еще из-за гроба не приходил, не пустят, стало быть, и тебя. Мне бы только знак какой подал. А?.. — Тяконис поперхнулся, долго откашливался в кулак. — Я в долгу не останусь. Обедню закажу. В случае чего, с органом и певчими. Деньги есть.

Алаушас лежал неподвижно.

— Так это меня тревожит, — просил уже Тяконис. — Все время тревожит... Ксендзы говорят и так и этак. Рай,

мол, есть, ну, там чистилище, чего доброго, и ад... А как на самом деле? Я чего пришел? Человек, думаю, ты честный, жизнь прожил примерно, никого не обидел... Вот и говорю, авось, знак какой можешь подать. Во сне, либо еще как. А?

Тяконис обливался потом. Переложил шапку в другую руку, потер шею и поверх ворота и под воротом.

— Когда дедушка кончался, как просил я. И отца просил... Отошли, и крышка. Так, может, теперь ты, Алаушас? В долгу не останусь!..

Замолчал Тяконис, верно, все сказал. Нагнулся к Алаушасу, ждал чего-то. Алаушас пошевелил пальцами поверх одеяла, и Тяконис насторожился.

— Как ты сказал?

— Иди домой, — сказал Алаушас, и сказал так тихо, что Тяконис не расслышал.

— А? — засуетился он. — Как ты сказал?

— Уходи, Тяконис, — повторил Алаушас, не открывая глаз, но Тяконис и на этот раз не услышал. Выпрямился, оглянулся по сторонам, будто чего-то искал. Увидел меня у двери и писклявым голосом хихикнул.

— А? Ты видел? Заговаривается старик. Видно, правда это, что старики перед концом как малые ребята становятся. Заговаривается. Я с ним, как с разумным человеком, а он... видал?

— Не видал, — ответил я.

Тяконис — шапку на голову и скорее в дверь. Вышел он почему-то на цыпочках, как из костела во время обедни. Как только он вышел, явилась сноха Алаушаса Карусе — худая женщина с седеющими волосами под белым платочком.

— Замучил тебя Тяконис? — подбежала к кровати. — Ой, напрасно... Напрасно ты велел пустить его, батюшка! И зачем? Притомился? Сильно притомился?

— Смотри сама.

— И зачем это? Больше никого не пушу. Буду стоять у ворот с палкой и стеречь. Не подать ли тебе чего? Поесть, попить?

— Сыт, — сказал Алаушас. — Всем сыт. Вон гостя угости.

— Какой он гость, — фыркнула Карусе. — Пастух.

— Мой гость. Делай, что тебе сказано.

Карусе, ворча, отошла в сторону.

— Подойди ближе, — подозвал меня Алаушас. — Руку не целуй.

— Что ты, дядя Алаушас? Сердишься, что ли, на меня?

— Старикам не надо целовать рук.

— Кому же тогда, дядя Алаушас?

— Старикам не надо. За что? За то, что на земле по-дольше покопошились, больше хлеба перевели?

Сил у него уж не оставалось. Скажет слово, будто вросший в землю камень выворотит. Скажет и задохнется, отдышаться ему надо. Вот он открыл глаза, поглядел на меня, улыбнулся.

— Это хорошо, что пришел.

Опять отдохнул, полузакрыв глаза.

— Лихой ты парень...

— Какой я лихой, дядя Алаушас!

— В шапке набекрень разгуливаешь...

Схватился я за голову, и тут лишь увидел, что не снял шапку. И заломлена набекрень она, как сказал Алаушас.

— Нелегко тебе будет жить.

— Почему, дядя Алаушас?

— В шапке набекрень разгуливаешь.

Отдышался и тогда уж ответил:

— Собьют с тебя люди шапку. Всегда так бывает, когда что не так.

— Батюшка, притомись ты, — сказала Карусе.

— Об этом не сокрушайся, невестка.

— Поберег бы себя, батюшка. Выздоровеешь, наберешься сил, будет время и на разговоры и на все...

— У кого будет время?

— Выздоровеешь еще, батюшка, поднимешься, все будет хорошо...

— Выздоровливает, кто хворает, а я не хвораю, я — помираю. Сколько раз твердил тебе, и все не можешь понять.

— Батюшка...

— Довольно.

Невестка замолчала, захлюпала носом.

— Сын где? Йокимас? — спросил Алаушас.

— На покосе с мужиками делянки отмеряют. Вот-вот косить начнут, батюшка.

Невестка заплакала навзрыд, приложила к глазам уголок передника.

— Выйди лучше, — рассердился Алаушас.

Невестка вышла.

— Видал? — сказал Алаушас. — Глаза на мокром месте.

— Ей жалко вас, дядя Алаушас.

— Чего жалеть? Пришел твой час, и уходи. Со всеми так, не со мной одним.

— А зачем так, дядя Алаушас? Жили бы люди и жили.

— Жили? Для чего?

— Ну, чтобы... чтобы жить.

— Для чего?

— Ну, пожить еще... Много добра сделать.

— Добра? Кто делал добро, тот покуда жив был, сделал, а кто не делал, тот и не сделает, хоть двести лет ему добавь.

Алаушас совсем ослаб. Лежал с закрытыми глазами, как мертвый. Невестка на дворе скликала кур, доставала воду из колодца, с кем-то разговаривала, а Алаушас все не очнулся.

— Пора помереть, — сказал он вдруг.

— Не надо, дядя Алаушас! — У меня в голове не укладывалось, как это наш старый дядя Алаушас сейчас вот здесь рядом, а скоро будет лежать в гробу, и его зароят, и над ним вырастет трава, как над всеми могилами в Борке. — Не надо, дядя Алаушас!

— Вырос ты, вон как вымахал, а болтаешь как малый ребенок. Я не помру, ты не помрешь... Что же это будет? Везде будут кишмя-кишеть старики... Земля от них протухнет, постареет... Хочется тебе этого?

Я молчал.

— Каждую осень с деревьев опадают листья... осыпаются ягоды в лесу... А весной, глядишь, все зазеленеет, медом пахнет...

Помолчал, отдышался:

— Ну, иди. Не теряй со мной время. Что пришел, — спасибо, а если можешь, проводи меня до кладбища. Повезут ведь мимо вашего выгона.

— Дядя Алаушас...

— погоди, не мешай... Чего же тебе пожелать, а?

— Не знаю я, дядя Алаушас.

— Кто же знает? Пожелал бы я, чтобы врагов у тебя хватало, да вот исполнишь ли ты?

— Да, дядя Алаушас, на что мне враги?

— Подрастешь, сам поймешь. А теперь иди, — сказал он сурово.

Слезы заливали мне глаза. Я нагнулся, чтобы проститься, а он пошевелил пальцами поверх одеяла.

— Руку не целуй. Никому не целуй. Иди.

Я вышел.

А через несколько дней, когда наступила жара и я пригнал после утренней пастбы замученное оводами стадо, меня позвал костельный сторож Пранукас:

— Идем, помоги мне.

В костеле он отпер боковую дверь и стал выдвигать какие-то черные низенькие ящики без крышек.

— Перетаскивай их на середину, — сказал он.

Когда я сделал, как было сказано, он начал ставить ящики один на другой. Внизу, которые побольше, на них — поменьше, выше — еще меньше. Накрыл их черным полотнищем с нашитым на нем белым черепом и двумя перекрещенными костями.

— Кто помер, Пранукас?

— Ты и не знаешь? Старик Алаушас.

Сказал и, топя сапогами, пошел в ризницу. Вынес оттуда четыре деревянных подсвечника, высокие и толстые, как дубины. Расставил, опять ушел, затопал. Хлопнул дверью. Принес четыре восковые свечи толщиной почти с подсвечники, только короткие, порядком обгоревшие и оплывшие. Вставил их в подсвечники, и если они сразу не влезали из-за восковых потеков, он стучал по подсвечнику кулаком. Опять пошел в ризницу. Долго стучал там дверцами шкафов, чем-то гремел, звякал и, наконец, посвистывая, притащил продолговатую посудину с двумя ручками, полную воды. Бросил в нее растрепанное мочальное кропило.

— Ну вот, — сказал он. — Теперь можно положить покойника.

И вышел — верно, встретить. Но Алаушаса еще не привезли, только вдаль, над полями, раздавалось в горячем воздухе, то слышнее, то замирая, пение.

В костеле прохладно, тихо. Ближе к главному алтарю висит на длинной и толстой цепи не то серебряная, не то просто покрытая серою пылью лампада, и в ней теплится дрожащий огонек. Во всем костеле одна такая. Сколько раз я ни приходил сюда зимой или летом, ранним утром или поздним вечером, всегда мерцал этот огонек. В большие праздники Пранукас зажигал паникадила и свечи в приделах, и тогда горели, потрескивали огни по всему костелу, и во всех уголках его пахло воском. Тогда исчезал огонек лампады, становился невидимым. Но кончался праздник, Пранукас брал в руки большой шест с гасилом и ходил с ним от паникадила к паникадилу, от придела к приделу, и в костеле гасли все огни, а маленький огонек опять оживал в своей лампаде и весело светил один во всем костеле. Мне тогда казалось, что он горел всегда — и когда еще не было меня, не было отца и матери, и даже старого Алаушаса, и жили на земле неизвестные мне люди; и что он, этот огонек, будет светить, когда опять не станет меня, и не останется в живых ни отца с мамой, ни Маре с Лявукасом, ни Пятраса с Юргисом, а может быть, и Аквиля будет лежать в Борке, и в костел будут ходить новые пастухи новых настоятелей...

А за лампадой в главном алтаре — Христос, воскресший из мертвых. Отвалил от гроба большой, тяжелый камень, поднял правой рукой крест и поплыл по воздуху — все выше, выше. Под ногами у него римские воины; сами во всем железном, в железных шапках и с длинными острыми копьями в руках, а до того перепугались, что плашмя припали к земле, взглянуть боятся вверх, где плывет Христос с крестом в руке...

В правом приделе бегут по лужайке паренек в коротких штанишках и девочка в белом платице, гонятся за мотыльком. И не видят они, что лужайка под ногами обрывается, а за нею круча, сверзишься с нее — костей не соберешь. Зато кручу видит голубокрылый ангел-хранитель. Стоит позади детей, простер над их головами руки, оберегает их...

В левом приделе нет ни Христа, ни ангела-хранителя. Там стоит богоматерь Мария в широких голубых, как небо, одеждах, и в руках у нее белая лилия. Длинные волосы спадают на плечи, развеваются от легкого ветерка, а сама она глядит вверх.

Сколько я ни видел святых, и в костеле и в избах, все они глядят вверх. Один лишь Христос на кресте склонил голову в терновом венце и глядит вниз. Но он такой израненный, глаза ему так заливают пот и кровь, что они ничего не видят. А когда не на кресте, он тоже глядит вверх. Можно подумать что тут, внизу, где живем мы все, нет ничего доброго, хорошего, — только насвистывает в костеле Пранукас, похаживает, закусив соломинку, Тяконис, покрикивает с печи Довидонис да ищет змеиные выползки старая Розалия... И никто не мог мне сказать, почему святые глядят так. Кого ни спрошу, все отвечают, что это не мое дело, а то и поругают: святые, мол, знают, куда глядеть, на то они и святые, что ничего хорошего не видят внизу, где мы все...

Тем временем пение приблизилось, доносилось уже с костельного двора. Пранукас появился опять, зажег большие свечи и торопливо стал зажигать другие, в главном алтаре. Вот настоятель прошел в ризницу. А через главный вход люди внесли на плечах гроб и поставили его на черное возвышение. Народу было много. Кто-то положил руку мне на плечо. Я оглянулся и увидел отца.

— Алаушас помер, — сказал он глухо. — Позавчера помер...

— Помолись за него, — сказала мать, подойдя ко мне с другой стороны. — Добрый был человек...

Оба они оделись во все лучшее. Мать повязалась своим девичьим еще шелковым платком с цветочками по черному полю, который не надевала даже на пасху. И на всех кругом тоже — что у кого было лучшего.

— Сам ксендз-настоятель будет отпевать, — сказал отец.

— Дай бог всякому такие похороны, — добавила мать.

— А кулаков — ни единого. Тяконис, и тот не пришел, — сказал отец.

— Отец, начинается... — шепотом остановила его мать.

Панихида еще не началась, но настоятель вышел из ризницы в белом стихаре, и поверх него в длинной черной ризе с вышитым серебром крестом во всю спину. На хорах тихо заиграл орган.

Все опустили на колени.

И тут я увидел Амилию. Стояла на коленях и плакала, утирая рукой слезы. И рядом с ней Агнёте и Винцу-

лис с испуганным лицом, и даже Раполас стоял, преклонив одно колено, как и все мужчины в костеле. Видно, никто в нашем доме не пошел отдыхать. Все были здесь. Не было только викария. Не было и барышни.

Не пришли они и на кладбище, когда после панихиды мы проводили туда Алаушаса. Зато настоятель не только освятил могилу, но еще сказал надгробную проповедь. Не очень длинную, но все кругом стояли с заплаканными глазами, а отец опять взял меня за плечо и сказал:

— А ты слушай, слушай.

— Невелика наша страна Литва, и гордиться мы можем не золотыми и серебряными россыпями, не высокими замками, не большой грамотностью, а лишь горячими сердцами наших людей, светлым умом, глубокой мудростью, можем гордиться своей неиссякаемой любовью к земле своих отцов, ко всему живому, что есть на нашей земле. Мы любим труд, любим возвращенный нашими руками хлеб, любим и песню и смех, мы можем горько поплакать и весело пошутить... Потому и рождаются на нашей земле такие люди, как Алаушас. Они свершают свой жизненный путь, не склоняя головы перед теми, кого не уважают в душе, не унижая тех, кого любят всем сердцем. А когда кончается их жизненный путь и наступает смертный час, они оставляют эту землю так же, как и жили на ней, — с ясной душой, прекрасно и величаво, без слез, без стонов и вздохов. Так не плачьте же, братья и сестры. У могилы таких людей не печалиться надо, а учиться жить и учиться умирать. Истинно говорю вам: не один король, не один из сильных мира сего позавидовал бы сегодня нашему Алаушасу, ибо немного сердец скорбят так по королям, как мы сегодня скорбим по Алаушасу. Так не будем же плакать, а отдадим ему последний долг, и да покоится он здесь, возле своих отцов, дедов и прадедов, да будет и ему легка земля наша...

Велел не плакать, не печалиться, а у самого во время проповеди слезы стояли в глазах. И люди, увидев это, еще горше заплакали, а женщины рыдали в голос. Настоятель стоял, ждал, когда опустят гроб в могилу, и тогда стал на колени, взял щепоть земли и бросил ее туда. Три щепоти бросил. И все подходили к могиле и бросали туда по три щепоти.

— Подойди и ты, — подтолкнул меня отец.

Он и сам подошел вместе со мной, и, когда нагнулся над могилой, я увидел, что и отец плачет.

Так мы похоронили старого Алаушаса, предали его земле. С кладбища расходились молча. И солнце как будто молчало в небе. И трава вдоль дороги. И озерце в поросших осокой берегах молча глядело в небо своим ясным глазом...

А дома рвал и метал викарий Скайстис.

— Что за церемония, что за торжество, ксендз-настоятель? Дворянин это умер или даже князь?

— Алаушас умер, — ответил настоятель.

— Здравствуйте — старик Алаушас! И, значит — звонить во все колокола? Закатить панихиду с органом? Надгробное слово?

— Вы же отказались отпевать его... Я и отпел.

Настоятель утомился, разомлел от жары, но улыбался. Сел в холодке на скамью, закрыл глаза, расстегнул на животе сутану. А викарий кипятился все пуще.

— Это не похороны, ксендз-настоятель, это... это демонстрация! А если демонстрация, то против кого? Вернее, в честь кого?

Настоятель молчал.

— И эта демонстрация происходит в то время, когда мы проиграли выборы, когда надо накапливать силы, готовиться к новым битвам!

А настоятель будто уснул.

— Это вы организовали демонстрацию!

— Разве? — настоятель открыл глаза.

— Да, да! Иначе бы вы не исполнили требу безвозмездно.

Настоятель медленно поднял голову, потом встал, застегнулся и стал против викария. Тот попятился. Лицо у него побледнело.

— И я прав! Я прав! — крикнул он.

— Идите-ка вы подальше, ксендз-викарий, — сказал настоятель. Повернулся, пошел по саду. Викарий закусил нижнюю губу и то сжимал руки в кулаки, то разжимал их.

— Посмотрим... Мы еще посмотрим! — прошипел. Потом ушел и он.

— Съест он ксендза-настоятеля, — сказала Амния. — Теперь наверняка съест.

— Не съест, — отозвался Раполас. — Пока еще не съест.

— Дай-то бог! Что мы будем делать без него? Куда нам всем деться, Раполюкас?

Никто ей не ответил.

Отзвенели косы на лугах, над полями и дорогами разнесся запах свежего сена. И отава уж отрастала, осыпал пыльцу цвет на пшенице, овес провожал молодые денечки, ячмень отращивал длинные усы — собирался в сваты. А впереди всех — рожь. Широко размахнулась она по полям, расшагалась, словно светлый лес, а кое-где и полегла под тяжестью колосьев, полных горячего зерна.

И вот вышли на ржаное поле Раполас с Винцулисом с косами на плечах, в белых рубашках, оба в соломенных шляпах, которые сами же сплели в зимние вечера. А с ними и Амилия, упрятав под белый платочек свои густые волосы, и Агнёте, мелькая загоревшими досиня голяшками. Мне тоже было сказано:

— Днем, как пригонишь стадо, тут же — в поле. Будешь вязать снопы, поможешь бабки ставить.

Так сказал Раполас, но на деле вышло не совсем так. Не успел я загнать избегавшихся от строки коров, как на дворе загремела повозка — какой-то человек привез настоятеля от больного.

— Ты что тут делаешь? — спросил меня настоятель. — Как ты можешь бездельничать в такую пору?

— Не бездельничаю я, коров загоняю, — отвечаю ему.

— Ржица, ржица в поле осыпается. Все сейчас там, хлеб собирают, черные дни отгоняют, а ты тут... Завтракал?

— Никто еще не дал...

— Идем, — поманил меня рукой. — Сам тебе подам. В страдную пору и камень в поле крутится, — слышал, как люди говорят?

— Слышал, только не все крутятся.

— Не все? Кто же это?

— А вон, в костеле, ксендз-настоятель.

— В костеле? Кто сейчас в костеле?

В костеле на самом деле никто не крутился, а били поклоны наши богомолки-богаделки. Всякий день они приходили сюда, молились в холодке, всякий день причаща-

лись святых тайн. И нынче, как всегда, они молились, стоя на коленях.

Настоятель вихрем влетел в костел. Вздогнули благочестивые богаделки. А он остановился, широко расставив ноги, побагровел от ярости. Протянул ко мне руку:

— Кнут.

Не успел я сунуть ему в руку кнутовище, как наш настоятель размахнулся и огрел ближнюю богомолку. Потом другую, третью, четвертую...

— Иисусе! Иисусе! Мария! Мария! — вскрикивали они. — Ксенженька-настоятель!.. Иисусе!..

— А-а! — кричал он вне себя от ярости. — Тебе Иисус понадобился? Мария тебе? Так вот тебе Иисус! Вот тебе Мария! Вот тебе Иисус!

Богомолки с воплями бегали по костелу, а настоятель гонялся за ними и хлестал кнутом, приговаривая:

— Это тебе Иисус! Это тебе Мария! Это тебе Иисус!..

Богаделки выскочили в ворота, как птицы, перелетели площадь и скрылись в дверях богадельни. Настоятель остановился. Он так запыхался, что у него дрожали руки. И вдруг бросил мне кнут, ухватился за бока и расхохотался.

— Ха-ха-ха! Как они летели, а? Видал, как мчались? Ха-ха-ха! А говоришь, — в костеле не крутятся! Ха-ха-ха!

Темная кровь отхлынула от его лица, от смеха слезы бежали по щекам.

— Ну, а теперь иди в богадельню и скажи этим сорокам: чтобы все — в поле. И немедленно, не теряя ни минуты!

Я побежал в богадельню, а настоятель пошел к себе. Он и не заметил, как зашевелилась в одном окне вязаная занавеска. А я знал: там стоит викарий, глядит и все заминает. Когда я вернулся из богадельни и пришел в людскую, настоятель весело крикнул барышне:

— Поесть кавалеру подай. И мне чего-нибудь. Сейчас же, сейчас же! Прямо на этот стол подай. Пора идги к ржице.

Барышня стала ломать свои узловатые пальцы.

— Братец, ксендз-настоятель, надеюсь, ты не будешь смешить людей... В поле, вместе с наймитами... Твой сан...

— Надеешься? — переспросил настоятель прищурившись. — Блаженны надеющиеся! А тебе, Тереселе, одно могу сказать: тебе самой бы стоило разок поразмяться.



— Братец, ксендз-настоятель... при пастушке?

— Дай-ка позавтракать пастушку. Дай поскорее! Нам обоим пора.

Ушел на свою половину, а вернулся без сутаны, без черных ботинок, в длинных полотняных штанах и такой



же рубахе навыпуск, длинной чуть не до колен. На ногах у него были постолы, на голове соломенная шляпа, как у Раполаса.

При виде его Агне повалилась наземь от смеха, Амелия прижала ладони к щекам и застыла на месте.

— Нравится? — засмеялся настоятель.

Стал на краю полосы, поплевал на ладони и начал ряд, откладывая шуршащую рожь под ноги грабельщикам. Раполас покачал головой и взял свою косу, следом за ним — Винцулис. Теперь косили втроем, а за ними гребли Амилия и Агнёте, и за ними я, то вязал снопы, то оттаскивал связанные в сторону. Вскоре явились богаделки. К нам не подошли, ни с кем не заговаривали, а остались на краю поля стаскивать в кучу снопы и ставить бабки.

Солнце пригревало и палило, над полями — ни ветерка, и в озере не всплескивала ни одна рыбка. Даже коромысла не перелетали с камышинки на камышинку, а сидели, широко расставив ножки, на листьях кувшинок, покрытых росой даже в такую жарынь. Настоятель остановился, смахнул пот с лица, достал из-под кучи снопов кувшин с водой и долго пил, наклоня его обеими руками. Вода лилась по его щекам, стекала темными струйками по рубахе. Напился, гулко ударил себя кулаками по груди:

— Вот так!

И опять за косу. До самого обеда. И после обеда, когда я опять выгнал стадо, и долго еще после захода солнца.

Когда мы все вернулись домой, убралась со скотиной и сели ужинать, вышел к нам настоятель, попробовал деревянной ложкой варево.

— Нехорошо, Амилия. В страдную пору корми посытнее. Люди работают.

— Да я, что ли... — Амилия запнулась.

— Знаю, знаю. Сам поговорю с Тересе.

И ушел к себе.

— Золотое сердце, — сказала Амилия.

— Слушай, что тут было? — обернулся ко мне Раполас.

— Где?

— Днем что стряслось? С богаделками?

— С богаделками?

— Ты глупеньким не прикидывайся, а рассказывай, — рассердился Раполас. — Что тут стряслось днем? Все местечко только об этом и говорит. Ну?

— А что такое, Раполас? — встревожилась Амилия. — Опять что неладно?

Раполас не ответил ей, он глядел на меня, да так, что пришлось все ему выложить. А когда я рассказал, Амилия опять ухватила за щеки. Всегда она так, когда что-нибудь неладно.

— Беда... Беда! Хорошо еще, викарий не видел. Съел бы настоятеля без хлеба и без соли...

— То-то и есть, что видел, — сказал я.

— Видел? Видел? Ну, теперь пропал наш настоятель! Теперь как есть пропал... Ведь пропал, Раполюкас?

— Не причитай ты.

— Пропал! Чует мое сердце — пропал настоятель! Владыко боже, святой и милостивый... А ты ему еще свой кнут? — вдруг напустилась она на меня. — Ты ему кнута в руки? Свиныя ты после этого, паршивый ты поросенок!

— Да он сам попросил... — оторопел я.

— Попросил... Почему у меня не попросил? У Раполаса? Сам ему сунул, навязал, а теперь еще оправдываешься!

— Да я...

— Да знаешь ли ты, понимаешь ли, в какую яму толкнул настоятеля? Вот ты что наделал... поросенок паршивый!

Амилия все еще кричала, но вдруг внимательно поглядела на меня.

— Да ты мало того, что кнут... — сказала она. — Откуда настоятель узнал, что богаделки в костеле? Кто ему сказал?

Тут и Раполас уставился на меня. И Агнёте. И даже Винцулис. Все глядели на меня.

— Ты? — спросил Раполас, когда все замолчали.

Я опустил голову.

— Свиныя, — сказал Раполас и встал из-за стола.

На другое утро, когда я выгонял стадо, никто со мной не заговаривал. И днем, когда я пригнал его и пошел вязать снопы. Будто никто меня не видел. Амилия только показала рукой, куда относить снопы.

Один настоятель был не такой. Широко махал косою по-вчерашнему, а когда заходил новый ряд, то улыбался мне, а раз даже подмигнул и спросил:

— Как, держимся, с ног не валимся?

— Да нет...

Раполас усмехнулся:

— Как же, собирается жениться.

— А, — сказал настоятель. — Хорошо, когда так. Хорошо.

И пошел валить новый ряд.

Так и проходили мои дни. И пока убирали рожь и после.

Близилось успение, а с ним и храмовый праздник в нашем костеле, самый большой в году и самый торжественный, потому что хлеба уже убрали, а сеять озимые еще не начинали. Вот и время возблагодарить всевышнего за тяжелый ржаной колос и заодно просить, чтобы он благословил новые семена. И чем ближе к успению, тем беспокойнее становился настоятель. Осматривал в костеле скамьи и хоругви, открывал сундуки в ризнице и советовался с барышней и Амилией, как лучше подготовиться к приему гостей, где рассадить их, может быть, приспособить для этого людскую, привести ее только в порядок, а может быть, расставить столы в саду. Гости ждали много. Не было еще такого случая, чтобы гостей здесь приняли плохо, отпустили, не угостив на славу. Так мне объяснила Амилия. А Раполас сказал:

— Не гости у него на уме. Комиссию ждет настоятель.

— Какую комиссию? — полюбопытствовал я.

Раполас не ответил. Он теперь просто не видел меня. И не слышал. Держался так, будто меня вовсе не было здесь, а были только они одни — он сам, Амилия, Агне, Винцулис.

Но успения ждал не только настоятель. Органист Йоцкус нагнал в богадельню павасариников и еще каких-то молодых людей. Он разучивал с ними, кроме духовных песнопений, еще и народные песни, собирался после службы в костеле устроить, как он говорил, «выступление» своего хора и не где-нибудь, а на замковой горе.

— *Голубь сизокрылый...* — мычал по-бычьему за распахнутым окном низкий мужской голос, должно быть, погорельца Матяконюкаса.

— Мощнее, мощнее, — требовал органист. — Подавай звук из утробы.

— *Голубок мой милый,* — ревел певчий.

— Еще мощнее!

— *Скушно мне, скушно, скушно мне...*

— Еще, еще, пожалуйста!

— *Тошно мне, тошно, сердце изныва-а-ает!..*

— Удовлетворительно. Спасибо. Теперь всем хором.

— *Голубь сизокрылый,* — завели тонкими голосами девицы, — *голубок мой милый...*

— *Тошно мне, тошно, тошно мне,* — снова замычал Матяконюкас.

Не один органист так старался. Бывший старшина и нынешний начальник полиции Уткус гарцевал на белом коне вокруг костельного двора, галопом взлетал на замковую гору и там поднимал его шпорами на дыбы, а затем скакал обратно, к ограде костельного двора.

— После богослужения мы организуем празднество, — сказал он вечером, когда у настоятеля собрались его завсегдашние гости.

— Что еще за празднество?

— Историческое празднество, ксендз-настоятель. Я буду Гедиминасом.

— А нужно ли это, господин старшина?

— Нужно ли празднество? И почему вы называете меня старшиной? Я начальник. Начальник полиции.

— Извините, я все перепутал. Видно, старость пришла. Seriously, нужно ли это? Люди соберутся помолиться...

— Именно поэтому, именно поэтому. Вы отслужите обедню, а мы — после обедни. Религия всегда должна сочетаться с патриотизмом. Разве не ясно?

Глядя на Уткуса, на другой день сел в седло и старшина Жилюс, хотя белой лошади у него не было, а была мохноногая и гривастая серая в яблоках.

— Я буду Витаутасом, — объявил он.

Теперь они вместе с Уткусом вздыбливали лошадей на вершине замковой горы, гарцевали вокруг костельной ограды и по местечку. И такими молодцами они выглядели, так горячили лошадей, что у Пранукаса слюнки текли.

— Не хватает еще Кестутиса, — нашелся он. — Какой это будет праздник без Кестутиса?

Недолго думая, и он сел в седло. Теперь у него был коняга с лысиной на лбу, такой же загнанный, как прежде его серый, пегий и иных мастей рысаки. Но когда

Пранукас подъехал, колотя ногами по бокам лошади, Гедиминас и Витаутас встретили его в штыки:

— С такой дохлаятиной на празднество? Позорить литовскую историю?

Пранукас вернулся чуть не плача, унылый, сердитый. Долго он плакался Амилии, что нет ему жизни, что и человеком его не считают, а каким-то собачьим огрызком, что и Амилия глядеть на него не желает. Та успокаивала Пранукаса, как умела, а тем временем Матяконюкас гремел на все местечко:

— *Тошно мне, то-о-ошно, то-о-ошно мне...*

Наступило утро успения, солнечное, росистое. На лугах серебром отливала трава, пыль на дорогах потемнела, прибилась. С раннего утра ожили дороги, проселки, тропинки и наша заросшая травой дорожка в ольшанике. Люди шли пешком, ехали в повозках и верхами, а кое-кто дул в гору на велосипеде, еще издали позванивая звонком, чтобы расступались пешеходы. Иные несли пучки запоздалых цветов, иные и не несли, но у каждого в руках был белый холщовый мешочек с семенной рожью, и держали его так, чтобы все видели и знали: в борозду не будет брошено неосвященное зерно.

Местечко нельзя было узнать. Что людей привалило, что подвод забило базарную площадь, а на длинной улице остался лишь узкий проход и то лишь потому, что Ефимка не давал протиснуться в него, то и дело покривал:

— Не можно сюда, не можно! Не можно!..

По этому проходу уже маршировал Союз стрелков¹. Шли по двое в ряду, отбивая шаг толстыми подошвами сапог. Все в серой форме, в серых фуражках. Все с винтовками, только держали их по-разному: одни стволом вверх, другие — вниз.

А впереди шагал лицом к стрелкам аптекарь Урбутис, тоже в форме, но без винтовки, зато подпоясанный широким поясом из красной кожи и с пистолетной кобурой на боку. Кобура была пустая, ссохшаяся. Урбутис командовал:

— Ать-два, ать-два... Ногу, ногу! Ребята, ногу! Ать-два.

¹ Союз стрелков — полувоенная, полуполицейская организация в буржуазной Литве.

Стрелки топали как бог на душу положит. Тут еще народ напирал с обеих сторон, всем хотелось разглядеть их получше, так что приходилось не столько маршировать, сколько выгребаться, обоими локтями освобождать себе проход. Стрелки разгорячились, вспотели.

— Запевай! — крикнул Урбутис.

Мало кто услышал его команду. Люди кругом переговаривались, хлопали в ладоши, кричали:

— Ура защитникам отечества! Ура!

Среди стрелков шагал и Юозёкас Дирда. Форма была ему велика, висела мешком. И шаровары спадали с колен чуть не до половины голенищ. Рядом с ним, вцепившись в полу, шла Дамуле с пестрым узелком в руке. Ее толкали, ругали, она тоже отругивалась.

— Запевай! — кричал Урбутис, выгребаясь локтями из толпы. — Песню, ребята! Ать-два...

Юозёкас первый услышал команду и затыкнул, перекосив даже рот, полный коричневых зубов:

Нам сплетут венок из трав,
Кровью обогранных...

Другие подхватили, и все кругом замолчали, наслаждаясь песней защитников отечества. Так промаршировали до костельной ограды, вошли в ворота. Там стрелки повернули налево, к белой колокольне, сняли с плеч винтовки, составили в козлы, а Юозёкасу приказано было сторожить их, чтобы не растащили. Стрелки во главе с Урбутисом вошли в костел, а Юозёкас взял свою винтовку обоими руками и так держал перед собой, как зажженную свечу. Дамуле села рядом, подперла кулаками голову и стала любоваться бравой выправкой своего Юозёкаса. Народ повалил в костел, все спешили помолиться, потому что по всему местечку на стенах были развешаны объявления о празднестве на замковой горе, имеющем быть после богослужения и вечером: будет зажжен костер, хор исполнит народные песни и состоится лотерея-аллегри. Всего заманчивее было неизвестно что означаящее слово «аллегри». Но до этого «аллегри» было еще далеко, надо было сначала помолиться, выслушать проповедь, отстоять вечерню, потому на дворе осталось лишь несколько человек, всё молодые мужчины, которые норовят постоять, когда другие опускаются на колени, и не молиться, когда другие молятся. Вика-

рий называл их вольнодумцами, а настоятель посмеивался, — побольше, мол, таких вольнодумцев: постоят-постоят и — на колени, никуда они не денутся. А Юозёкас все стоял недвижимо с винтовкой. Дамуле, налюбовавшись его бравым видом, спросила:

— Не проголодался, Юозапелис? Я тут захватила... — и стала развязывать узелок.

— Молчи, дурища, — ответил Юозёкас, не поворачивая головы.

— Может, хлебнешь глоток? Я и выпить захватила. В такую жарынь, известно, все нутро пересохнет.

— Рехнулась, дурища? — процедил сквозь зубы Юозёкас, опять-таки не оборачиваясь. — Не видишь, что делаю?

Он еще усерднее вытянулся, крепче сжал винтовку. Но Дамуле, видно, не понимала, что он делает, — развязала узелок, достала из него бутылку и поднесла было Юозёкасу, но тут откуда ни возьмись — Пятрас. Подошел, остановился у козел:

— Стоишь? — обратился он к Юозёкасу.

— Проваливай, проваливай, — крикнул тот, не оборачиваясь.

Жарко было Юозёкасу. Фуражка окончательно сползла на глаза, из-под нее стекал пот, заливал лицо, а он и утереться не мог — обеими руками сжимал винтовку.

— Кочерёжки сторожишь? — спросил Пятрас.

— Проваливай, проваливай, покуда не забрали, — опять крикнул Юозёкас.

— Тебе чего надо от моего Юозёкаса? — рассердилась Дамуле. — Иди себе, иди, покуда не забрали. Юозёкас верно говорит.

— Гляди ты, эта тоже, — засмеялся Пятрас. — Ну, стойте, стойте, — весело сказал он. — А ты тут зачем? — увидел меня. — Юозёкасу помогаешь?

— Успение. Скотину на обед пригнал.

— Успение? Ну, и у меня успение. Идем в костел.

— Да ты безбожник, Пятрас.

— А ты верующий?

Вот не ждал я, что он спросит об этом, и не знал теперь, как ему ответить. А Пятрас посмеивался:

— У причастия был?

— Не дури, — буркнул я.

— Какой же ты верующий? — Пятрас весело рас-

смеялся, подтолкнул меня локтем и только теперь поздоровался. — Крутишься?

— Я-то кручусь. А ты?

— Я тоже. Косил поденно рожь. И сейчас кое-какую работенку нашел. Ну, идем, идем. В костел идем.

И подтолкнул меня к главному входу, где толпился и теснился народ.

Служба еще не началась, и все стояли вплотную друг к другу, упираясь грудью в спину, спиной в грудь. Мужчины, женщины, дети... Пахло домотканым сукном и дегтем, накрахмаленным ситцем, горькой рутой и мятой. У стен томились, стоя на коленях, не успевшие исповедаться прихожане. Шептали молитвы, били себя в грудь. Во всех исповедальнях, какие только были в костеле, сидели прибывшие на праздник настоятели. Во всех приделах служили чужие ксендзы, а которые не служили, сидели на черных мореного дуба скамьях, склонив головы над золочеными ксендзовскими молитвенниками. Вот из дверей ризницы вышел наш настоятель в белом стихаре и епитрахили, стал искать взглядом свободную исповедальню и, найдя такую в дальнем углу, сел в нее. Тут же ринулись к нему прихожане от других исповедальен, да так, что чужие настоятели высунули головы и глядели, выпуча глаза. А наш, видя это, не стал выслушивать от каждого исповедь, а только благословил ставшую на колени очередь перед одним окошечком, потом— другую:

— Прочтите каждый в покаяние три раза «Отче наш», три раза «Богородицу», три раза «Слава отцу», добавьте от себя, что повелит совесть, и идите с миром.

Когда он сказал это, все кругом заговорили, что наш настоятель — это настоятель, а другие — так себе настоятелишки. Эти разговоры услышали те, чужие, которым некого было теперь исповедовать. Обозлились они, подсели к другим ксендзам и стали шептать им на ухо, а те только качали головами.

— Плохо, — сказал Пятрас.

— Что плохо? — не понял я.

— Растяпа твой настоятель.

Не успел он это сказать, как перед дверями в ризницу громко зазвенел колокольчик. Оттуда вышел вы-

сокий, седой и сердитый ксендз в облачении, с чашей в руках. Все на нем горело золотом. Впереди шли двое служек в белых стихарях и красных пелеринах. Один нес тяжелый служебник, другой уж не знаю что.

— Каноник будет служить обедню, — шепнул мне Пятрас.

Заиграл орган на хорах — все громче, громче. Нелыханно прекрасный мужской голос запел:

Да преклоним колени, все христиане...

Хор подхватил за ним:

Возжадав благодати господней.

Молящиеся упали на колени и один за другим стали подпевать хору. Вскоре пели все — и наверху и внизу; казалось, потолок поднимается и Христос в главном алтаре достиг облаков и летит высоко-высоко.

Слезно господу помолсимся...—

раздался тот же могучий голос.

Я не утерпел — оглянулся. Там, у каменного карниза хоров, стоял начальник полиции Уткус в синей форме и затыгивал:

С молитвой припадем Иисусу сладчайшему...

И весь костел подхватил:

Прими моления наши...

Казалось, пели не только люди, но и стены костела, дрожали паникадила со множеством зажженных свечей, а Христос вознесся еще выше и вот-вот покинет золоченую раму и далеко внизу оставит римских воинов в железных шапках.

— Красиво? — тронул меня локтем Пятрас.

— Очень, — признался я, непонятно почему с полными слез глазами.

Пятрас только крепче сжал мое плечо.

Научи нас исповедать имя господне —

пел начальник полиции.

И за ним весь костел:

Волю его творить и восславить его...

Никто не смотрел в молитвенники, все пели, подняв глаза к алтарю, где, потрескивая, горели толстые восковые свечи и как солнце сияла золотом дарохранительница.

Пятрас вынул из кармана платок, сунул мне:

— Утрись, стыдно.

— Идем отсюда, — попросил я.

Молящиеся стояли на коленях впритирку, соломинку некуда просунуть. И многие сердито оборачивались, когда я, пробираясь к дверям, опирался на их плечи. Иные и поругивались, дергали за полы, чтобы я опустился на колени. Пение умолкло. Началась обедня. Позади меня продирался Пятрас, и на него злились еще сильнее.

— Ну чего ты? — спросил он, когда мы очутились на паперти.

— Не знаю, — ответил я, давясь слезами.

— Плачешь, а не знаешь, почему?

— Не знаю...

Под липами все еще стояли молодые мужчины. И Юозёкас по-прежнему сжимал винтовку, и Дамуле сидела рядом с узелком на коленях.

— А все-таки? — допытывался Пятрас.

— Нехорошо мне...

— Отчего же нехорошо?

— Не знаю.

Мужчины обернулись к нам. Пятрас дернул меня за рукав.

— Пойдем отсюда.

Пошли мы в сад, долго бродили по тропинкам между яблонями. Нынче год был яблочный. Ветки лежали прямо на земле, в траве, в свекольной ботве, между вилками капусты. Дождя давно не было, и везде валялись и червивые, и уже загнившие, с потемневшими боками, и целенькие яблоки. Прохладно было здесь, под густой листвой деревьев, между разросшимися кустами крыжовника и смородины. И тихо было кругом. Только на поляне гудели пчелы у летков, — носили и носили в улей сладкий взятки. У яблони стояла беседка со скамейками, где оба ксендза пили чай или читали вечерние молитвы. Пятрас как раз повернул к этой беседке.

— Садись и ты, — хлопнул он ладонью по скамье рядом с собой. — Пока ксендзы молятся, ты побудешь тут вместо них.

И улыбнулся.

— Так нехорошо, говоришь? — спросил он, когда я сел рядом. — Молодой ты, вся жизнь у тебя впереди, и здоров ты, и ловок, и мозговитый. Почему же тебе нехорошо?

— Не знаю...

— Заладил, брат, одно: не знаю и не знаю. А еще чего-нибудь не добавишь?

Я не спешил с ответом, тогда он взял меня за подбородок, повернул лицом к себе и заглянул прямо в глаза.

— Опять скажешь — не знаю?

Я не ответил, что не знаю, а рассказал, как настоятель хлестал богаделок моим кнутом, как я подал этот кнут ему, как Раполас назвал меня свиньей, и что теперь никто со мной не хочет разговаривать.

— Правильно делают, — сказал Пятрас. Сказал это строго, а сам улыбался, глядя в глубину сада.

— Ты все-таки изрядный поросенок, — сказал он наконец. — Коего черта сунулся со своим языком к настоятелю? Без тебя он и не узнал бы, что богомолки эти в костеле. Ведь не узнал бы?

— Может, и узнал бы...

— А кнут? Не будь твоего кнута, избил бы он их?

Я побоялся сказать — да, и побоялся сказать — нет.

— Никогда не суйся со своим языком куда не следует. Да, брат, — вздохнул Пятрас. — Жалко мне твоего настоятеля. Жалко...

— Плохо ему придется, Пятрас?

— Ему давно плохо. А сейчас дело его — совсем дрянь. Слышал я, проповедь он должен сказать. Каноник будет его слушать, для того и приехал. И все настоятели будут слушать, их викарий натравил. Видел, как он подбегал то к одному, то к другому?

— Не видел.

— Плохо, что не видел. Надо видеть. Болтать не надо, это ты втемяшь себе в голову, а видеть надо. Все надо видеть. Эх, жалко, жалко настоятеля... Скажет плохую проповедь, и пропал. Съедят его эти крокодилы.

— Может, он хорошую скажет.

— Хорошей не скажет. Он правду будет говорить. А за правду, знаешь, что бывает?

Пятрас замолчал, опустил голову. Пчелы с гудением носили взяток со жнивья, где было много клевера; стучались оземь падавшие яблоки.

— Пятрас, — окликнул я. — Пятрас, а ты больше не попадешь в тюрьму? Ты больше не попадай.

— Слышишь? Орган играет, — сказал он ни с того ни с сего. — И поют.

— Ты только не попадай в тюрьму, — снова попросил я.

— Красиво, — ответил Пятрас самому себе. — Очень красиво.

Он вытянул ноги чуть не через всю беседку, потянулся.

— Умеют же работать ксендзы, — заговорил опять. — Ох, как умеют! Умеют, брат. И опыт у них. Поставят орган, играет он, гудит, заманивает людей. А пение! А запах ладана! А свечи во всех приделах, а золоченые хоругви! Это не пустяки, брат. Уж если настоятелева пастуха слеза прошибла, это не пустяки! — весело закончил Пятрас.

— Пятрас, а ты правда не попадешь? Тебя не посадят?

— А?.. — Пятрас будто очнулся от дремоты.

Он обнял меня за плечи, прижал к себе.

— Не знаю, — ответил. — Ничего, брат, не знаю.

Из костела повалили очумевшие от жары люди. Выбравшись, подолгу стояли на дворе, не в силах прийти в себя, не понимая, где они были, что слышали и почему стоят здесь. Вместе с прихожанами вышли и стрелки. Разобрали винтовки, взяли их на плечо. Попытались построиться в две колонны по двое, но это не очень им удавалось, потому что люди, придя в себя, опять полезли со всех сторон поглядеть на них.

— В ногу, ребята, в ногу! — покрикивал Урбутис. — Шаг на месте!

Стрелки стали поднимать ноги, не сходя с места, но и это удавалось не всем: один поднимал ногу раньше, другой — позже, третий стоял и глядел на них. Послышался смех. Толпа вокруг становилась все плотнее. Красный, как вареный рак, Урбутис крикнул во все горло:

— Ша-агом марш!

И сам первый зашагал к воротам. Стрелки замаршировали следом, отбиваясь локтями, а кое-кто и лягался со злости, что все лезут поглазеть на них. Позади стрелков с боем продиралась сквозь толпу Дамуле, крепко прижимая к себе узелок. Так стрелки вырвались в местечко. Когда команда «в ногу» не помогла, Урбутис опять крикнул:

— Запевай!

И опять запевалой был Юозёкас:

Мы скачем далеко,
В широкое поле...
Где телами убитых покрыта земля,
Где кровавой волною плещет река...

Народ все подваливал, и теперь все сплошным потоком двигались по улице местечка, потом вниз, к пойме речки Вирдуле, а оттуда опять вверх, по склону замковой горы. Но песня не оборвалась и когда стрелки лезли в гору, только теперь это была иная:

Коль погибну за отчизну,
За родимую Литву...

Сзади подходили все новые и новые толпы: мужчины, женщины, подростки и совсем еще дети. И все — в сторону замковой горы.

— Видишь? — подтолкнул меня Пятрас.

— Смешно, — сказал я.

— Не смешно, — сказал Пятрас. — Скорее уж печально.

— А что тут печального? — не понял я.

Он не успел ответить, потому что в эту минуту мимо нас промчался на белом коне великий князь Гедиминас, закованный в латы, в руке — длинное острое копьё. Не все успевали вовремя отойти в сторону, и тогда Гедиминас покрикивал голосом начальника полиции Уткуса:

— Дорогу, дорогу!

Вслед за ним скакал на сером в яблоках великий князь Витаутас. Латы у него были не стальные, как у Гедиминаса, а из чистого золота и так сияли на солнце, что, глядя на него, все жмурились; и копьё золотое, вдетое в петлю у правого стремени.

Внхрем промчались оба в сторону замковой горы, и тогда притрюхал на своей лысанке наш Пранукас — без лат, без шпор, без копыя и даже без чепрака под седлом.

Но народ все равно расступался перед ним, как и перед великими князьями Литвы. Пранукас вслед за ними спустился к пойме. Пятрас обернулся ко мне.

— Эх, жалко, что тебе пора выгонять скотину. А то бы и мы пошли поглядеть.

И на самом деле, моя тень выросла до пяти, а то и до шести шагов. Пора было идти пасти.

— А ты еще и без обеда, — сказал Пятрас, — загляли мы. Ну, беги обедать. Я провожу тебя.

Зашли мы на двор, а там у колодца — Амилия. Стояла, отвернувшись, одной рукой придерживала на срубе ведро, другой — вытирала слезы.

— Что случилось? — спросил Пятрас.

— Все разъехались... Отказались от угощения. Ой, господи, господи!.. — запричитала Амилия. — Ни Раполаса нет, ни Винцулиса с Агнёте... Убежали на замковую гору... Повеселиться захотелось! А ксендз-настоятель сидит один!

Пятрас пошел в дом. На нашей половине не было ни большого стола, ни кроватей — все вынесено. Вдоль стен стояли длинные столы, тесно заставленные блюдами и бутылками. Наготовлено было всего столько, что хоть три дня ешь и пей, и все равно половины не одолеешь. Только некому было есть и пить. Один настоятель сидел в конце стола, опершись подбородком на ладонь. Седой, бледный. Увидел нас с Пятрасом, вздрогнул, улыбнулся.

— Здорово, большевик, — сказал Пятрасу.

— Здорово, настоятель.

— Присаживайся, — пригласил настоятель, показав на место рядом с собой.

— Спасибо. Угощение, пожалуй, приготовили не для меня.

— Садись, когда приглашают. Человек сам не знает, кого придется угощать.

Пятрас сел, показал мне глазами на стол: ешь, мол, что под руку попадет. Настоятель налил ему в большую хрустальную рюмку красного вина, налил и себе.

— Выпьем, большевик?

— Выпьем, ксендз-настоятель.

Чокнулись. Неторопливо отпивали вино, а когда все выпили, Пятрас потянулся за закуской, а настоятель закусывать не стал, понюхал только ладонь. Поглядел на Пятраса, спросил:

— Стало быть, плохой из меня вышел настоятель?

— Да неважный.

Настоятель хмыкнул и неторопливо налил обе рюмки.

— Выпьем, большевик?

— Выпьем, ксендз-настоятель.

Выпили еще. Настоятель пододвинул Пятрасу закуску, а сам опять понюхал ладонь, громко потянув носом.

— Вот ты все воюешь, — сказал, — власть хочешь свергнуть. Мы так уж все плохи? Все никуда не годимся?

— Где же все, ксендз-настоятель? — ответил вопросом же Пятрас. — Народ хороший, это власть плохая.

— Хм, власть...

— Да, власть, ксендз-настоятель.

— Хм... А власть — откуда? Не из народа?

— Шутите вы, ксендз-настоятель.

— Я не шучу. Не шучу. Я с тобой, большевик, всерьез разговариваю.

Настоятель опять налил в рюмки вина. У Пятраса уж покраснелись щеки, а у настоятеля наоборот — побледнели. Он всегда бледнел, когда пил.

— Так выпьем, большевик. — Он стукнул своей рюмкой о рюмку Пятраса, стоявшую на столе. — Выпьем и поговорим.

— Выпьем, ксендз-настоятель.

— Народ хороший... Народ хороший... — пробормотал настоятель. — А сам ты хороший?

Пятрас улыбнулся, но ничего не отвечал.

— Допустим, хороший, — сам себе ответил настоятель.

— Вы так полагаете, ксендз-настоятель?

— Не полагаю, а знаю: хороший, — почти сердито ответил настоятель. — Добиваешься облегчения для народа, за это в тюрьмах сидишь... Как же не хороший?

Пятрас опять только улыбнулся.

— А допустим, ты взял власть и разогнал всех нас, так называемых буржуев. Сам станешь властью. Хорошим тогда будешь? Хорошей будет твоя власть?

— Надо думать.

— Стало быть, при твоей власти не будет ни тюрем, ни лагерей, и никого не будут вешать, расстреливать? — спросил прищурившись настоятель.

— Будут, — ответил Пятрас.

— Все-таки будут?

— Будут, — повторил Пятрас.

— Так чем же твоя власть будет лучше? — еще сильнее прищурился настоятель.

— Кто попытается быть клопом среди людей, того ждет и участь клопина. А люди будут жить по-человечески. Такая будет наша власть.

— Хм... Интересно... А почему мы не пьем?

— Можно и выпить.

Они выпили не торопясь, но до самого дна. Пятрас еще больше раскраснелся, а настоятель еще больше побледнел. Поставил рюмку на стол, но нюхать ладонь не стал.

— Клопы, значит?

— Клопы. Тут у нас рука не дрогнет.

— Вижу, что не дрогнет. Давно я наблюдаю вас, большевиков, и вижу. Вижу.

Настоятель взял бутылку, налил себе, а Пятрасу налить забыл. Молчал, отпивал из своей рюмки.

— Возможно, и справедливо это. Но тут встает такой вопрос: кого считать клопом?

— Все зависит от того, во имя чего берут власть и кого она защищает.

Ксендз налил себе из новой бутылки и опять забыл налить Пятрасу. Долго отхлебывал поемногу. Вдруг спросил:

— Так не следовало мне идти в ксендзы?

— Откровенно говоря, не стоило, ксендз-настоятель.

— Значит, плохой из меня ксендз вышел?

— Настоятель плохой, — ответил Пятрас.

Настоятель улыбнулся уголком губ.

— Интересно, — сказал он. — Так что же? Может быть, мне следовало пойти в большевики?

— И в большевики не стоило.

— Ого! Значит, и тут я не гожусь?

— Откровенно говоря, плохой бы из вас получился большевик.

Настоятель даже помрачнел после этих слов Пятраса. Хотел, видно, сказать что-то злое, но сдержался. Встряхнул головой, посмотрел на Пятраса.

— Значит, плохой?

— Бесхребетный.

Настоятель больше ни о чем не спросил, только опять криво улыбнулся одним уголком губ. Пятрас повернулся к нему.

— Вы на меня не сердитесь, ксендз-настоятель, — сказал. — Вы напрямик спрашиваете, я напрямик отвечаю. Может, не очень приятно, зато откровенно.

— Хорошо, что откровенно, — настоятель глубоко вздохнул. — Правда, приятного ты мне мало сказал, но раз откровенно — ничего не попишешь. Выпьем еще?

— Не многовато ли?

— Тут тоже — смотря для кого. Для большевиков, конечно, многовато. Не умеют пить большевики, вот что я тебе скажу. И это я заметил — не умеют.

— Может, не так это необходимо?

— Научитесь! — успокоительно сказал настоятель.

— Вы так думаете? — усмехнулся Пятрас.

— Возьмете власть — всему научитесь, — убеждал его настоятель. — Власть очень быстро научает людей тому, что им вовсе не нужно. Так выпьем?

Настоятель взял бутылку, собрался было наливать и вдруг спросил:

— А чего здесь трется пастушок? Почему не пасет мое стадо?

Я вышмыгнул за дверь, удивляясь про себя, как это настоятель только сейчас заметил меня. По дороге сунул за пазуху добрый ломоть свинины и кусок пирога. Не каждый день бывает успение. И не каждый день приглашенные не являются к столу. Настоятель заметил это, но не поругал и не велел положить обратно, а усмехнулся и сказал Пятрасу:

— Этот своего не упустит.

На выгоне жара спала. Коровы успокоились, неторопливо ходили по жнивью. Понемногу успокоились и овцы, не кидались во все стороны, как обычно, мирно отыскивали траву посочнее, не вытапывали клевер. Не могли унять только ягнята. Кажется, и подросли уж, и шелковистые завитки на них сваялись в плотный сальный войлок, и все равно скачут без толку, бесятся или бегают по всему жнивью, блеют, зовут матерей, а те и не думают отзываться. Но и для них приходит пора: солнце садится, становится все прохладнее, выпадает роса — надо наестся до ночи, вволю пощипать травки.

А на замковой горе стон стоял: словно туча мошкеры толклась. Видно было, как сидели на конях оба великих князя — Гедиминас с Витаутасом и дым костра вился над их головами. Подальше, у самого края, сидел на своей лысанке Пранукас. Низко сидел, чуть-чуть вышался над толпой, и не было над его головой дыма. Кто-то говорил длинную речь, а после речи вдруг колыхнулось пламя костра, высоко взметнулся красный дым, и не стало видно Гедиминаса с Витаутасом. Потом они опять вынырнули. Востер погнал дым по обрыву, разостлал по полю. И вдруг послышались выстрелы: тра-та-та, тра-тра-трах! Один залп, другой, третий... Будто кто-то высыпал из мешка в сусек картошку. После стрельбы — песня. Сквозь шум прорвался голос Матяконюкаса:

— *Тошно мне, то-ошно, то-ошно мне!..*

Мой бык повернулся к горе, поднял голову, долго принюхивался к дыму. Ноздри раздулись, глаза налились кровью.

— *То-о-ошно мне!..* — жаловался погорелец Матяконюкас.

Минуло успение, и вскоре началось у нас что-то несуразное. Ни с того, ни с сего зачастил к нам по вечерам Юозапелис из Кикильджай. На ксендзовскую половину не шел, больше терся в людской, куда не являлась барышня. Переглянутся — и на двор. А там, в темноте, их ждали обе сестры Юозапелиса, а за садом и запряженные лошади. Один вечер так, другой так, а там и каждый вечер. Будто только и дел было у них, что ездить в настоятельную усадьбу. И стала у нас пропадать разная утварь. Пошел Раполас на гумно осмотреть бороны, — подошло время сеять рожь. А борон нет, и вальки к ним пропали. Рядом стоял еще плужок для окучивания картошки, его не стало. Не успел Раполас выругаться, оказалось, что в клети нет выездной сбруи, самой лучшей, с медным набором. Кинулся под навес, где стояла выездная «линейка», — а ее как не бывало. Побежал было он к настоятелю, но ему загородила дорогу Тересе.

— Я дала на время. Увез и опять привезет. Не пропадет.

— А бороны? А плужок? Плужок-то зачем? — кипятился Раполас.

— Не пропадет и плужок. Ведь не будешь сейчас окучивать картофель?

Раполас плюнул, махнул рукой. Но вот собрался он запрячь лошадь, вывезти в поле семена и не нашел вожжей, совсем новых, из пеньки; хватился кнута — и кнута нет. Разозлился он, прорвался к настоятелю. Тот выслушал его, переспросил:

— Ворует, говоришь?

— Из-под рук тащит.

— Выходит, плохи мои дела?

— Ксендз-настоятель, вы только слово скажите. Возьму топор и дам этому нутрецу обухом промеж рогов, узиает он, как брат, чего сам не положил!

— Топор, пожалуй, брат не стоит, — сказал настоятель.

— Ну так дубину. Вы поймите, ксендз-настоятель, если мы так разинем рты, скоро нам и борщ хлебать будет нечем.

Но настоятель был и против дубины. Больше ничего не сказал.

Опять каждый вечер из-за сада слышался скрип подъезжающей подводы Юозапелиса, а отъезжала она ночью, нагруженная мешками с зерном из настоятельских закромов, связками трепанного льна, узлами шерсти и даже плетеными из лещиновых драпок коробами и мерками. Раполас плевался, но к настоятелю больше не ходил, больше думал, как бы успеть за осень с полевыми работами. Кончался год батрацкой службы — последний в настоятельской усадьбе, как сказал однажды он сам.

А тут вдруг, как гром с ясного неба — новость: барышня выходит замуж за Пранукаса.

Раполас только усмехнулся, Агнёте прыснула, зато Амилия ударилась в слезы. Так плакала, что вечером прилетел Пранукас и стал оправдываться.

— Сама не хотела... Ты и человеком меня не считала, а всего-то собачьим огрызком.

— Ты и есть собачий огрызок, — сказала Амилия, утирая слезы.

Один викарий Скайстис был веселый. Теперь он не сидел у себя в комнате, не следил из-за оконной занавески, что делается на дворе и за двором, а расхаживал по дому, поскрипывая ботинками, и по воскресеньям

служил обедню, говорил проповедь. Пробор в его черных волосах прямо-таки сиял.

— Конец, — говорила Амилия, — теперь всему конец.

На самом деле казалось, что теперь конец. Даже постоянные гости — Уткус, Жилиос и Урбутис больше не показывались, хотя барышня по старой памяти приказывала Амилии по понедельникам, средам и пятницам приготовить к вечеру «какую-нибудь закуску». Ефимка, и тот ни разу не заглянул.

Но это еще не был конец. Шли дни за днями, недели за неделями, Раполас с Винцулисом свезли уж с поля яровые, и лен вымочили и разостлали на жнивье, а в настоящем доме было все по-старому.

Но вот пришло известие, что настоятеля все-таки вызывают в Паневежис, к епископу. Амилия снова залилась слезами.

— Без сутаны вернется...

Выехал настоятель почему-то вечером, когда на местечко пали густые сумерки. Винцулис взял вожжи, и настоятель сказал на прощание Раполасу:

— Если задержусь — не тревожьтесь. Может быть, придется съездить и подальше, чем в Паневежис.

Уехал. Винцулис вернулся через три дня, один, успев натереть лошади хомутом холку. Раполас чуть не прибил его за такую езду, а тот, едва не плача, оправдывался:

— А я знал? Откуда мне знать?

— Где настоятель?

— А я знаю? Велел мне вернуться...

Прошло еще четыре дня, тогда только объявился и настоятель. Тоже под вечер. И в сутане, — не исполнилось пророчество Амилии. Вернулся изрядно осунувшийся, так что скулы стали выдаваться. Амилия кинулись тушить опять-таки неизвестно где раздобытый рассыпчатый горох, и настоятель сел есть его тут же, у нас, придвинул поближе миску. Черпал деревянной ложкой и приговаривал:

— Хорошая ты женщина, Амилия. Уж такая хорошая...

— Долгонько вас не было, ксендз-настоятель, — сказал Раполас.

— Так скоро справедливости не добьешься.

— А вы добились?

— Как на это посмотреть. Пришлось до Каунаса добираться.

— Аж до Каунаса? Ну, как там, в Каунасе?

Настоятель черпал горох, посыпал каждую ложку солью и заливал ее квасом.

Тересе несколько раз выходила к нам, давала понять настоятелю, что его место не здесь, что его ждут на ксендзовской половине. Но он и не оборачивался. И горох уж прикончил, и Амилия с Агнёте вышли на двор убираться, позвав с собой и Винцулиса, а настоятель все сидел и сидел.

— Так как же там, в Каунасе? — опять не утерпел Раполас.

— Баньку мне не истопили? — спросил, не ответив ему, настоятель. — Весь грязью зарос за эти дни.

— Топится, скоро будет готова.

— Спасибо, очень кстати. Как вы тут все?

— Начали распахивать ржище.

— Хорошо.

— Как кончим, лошадей — на молотьбу. Самое время.

Настоятель кивнул.

— А этот... из Кикильджай?

— Как всегда. Не отобьемся.

— В Каунасе плохо, — помолчав, сказал настоятель. — Ропщет Каунас.

— Господа, что ли, ропщут?

— Господа по балам, по ресторанам. Окраины ропщут, Раполас. Забастовки идут, а полиция избивает рабочих, не хуже, чем царские жандармы.

— Чего вы хотите, — господская власть.

— Но чтобы своих избивать — литовцев!

— Господская власть.

— Господа тоже недовольны.

— Им-то чего надо?

— Кто их разберет? Шебуршатся потихоньку, организируются, тренируются... И вооружаются, как я понимаю. Готовятся. Вот только к чему готовятся?

Помолчав немного, настоятель твердо заявил:

— Добра не жди.

Невесело улыбнулся и сказал:

— С Майронисом повидался.

— С каким Майронисом? С тем самым... ксендзом?

— Да, с тем самым ксендзом, как ты говоришь. Дру-

гого Майрониса нет. Спас мне сутану, — снова улыбнулся он. — А то бы сняли, голым отпустили.

— Майронис?

— Мы с ним однокашники. В гимназии вместе учились, потом в семинарии. Можно сказать, друзьями были. Думал я, давно забыл меня — ведь такая знаменитость! О нет! Он — нет! Я уж давно заметил: великий человек — велик во всем. Не возгордится, не станет презирать маленьких людей. Это прекрасно, — светло улыбнулся настоятель. — Домой позвал, за стол посадил.

— Майронис?

— Сидит на площади Ратуши, — злой, одинокий. Заперся в своем домике. Все пишет... И что же он пишет? Показал мне, читал я. Так и врзалось в память:

О пьвки негодные, шайка бродяг,
Не брезгающих контрабандой!
Кой-где, кое-кто
Фамилию даже сменил, как пиджак.
Грабителей родины банда,
Сетями паучьих тенет
Опутавшая народ!
Пусть славой и титулом вас удостоят, —
Со лбов ваших знаки позора не смоет
Никто и ничто!¹

— Хлестко, — похвалил Раполас. — Ксендз, а здорово как!

— И я так сказал. А Майронис нахмурился. Кого, говорит, хлещу? Сам их растил, воспитывал... Кого же хлещу?

Настоятель больше не улыбался. Встал с лавки, стал медленно прохаживаться по людской.

— Я его понимаю, — проговорил он. — Как люди мечтали, какие песни пели, как боролись!.. Сидели в царских тюрьмах, томились в Сибири... И какие люди были, а? Басанавичюс, Кудирка — светлые, благородные, святые!

— Кудирка как будто был безбожник, — заметил Раполас.

— Святой человек был! — оборвал его настоятель. — Верующий или неверующий — это его дело, а в моих глазах Кудирка святой человек.

— Но безбожник, — не сдавался Раполас.

¹ Перевод Вл. Державина.

— А ты думаешь, кто каждый день бормочет молитвы, тот уж и праведник? Ошибаешься! Кто отдает людям свое сердце, несет им слово правды, понятие о свободе — вот кто святой, вот кто праведник. И я счастлив, что видал, сколько таких людей дала Литва. Сколько их было!

Настоятель разгорячился, говорил громко, размахивал руками. А потом вдруг опять сник, притих.

— Понимаю Майрониса, — сказал он. — Хорошо понимаю Майрониса —

Где Неман синеет, Шешупе струится,
Там наша отчизна — родная Литва,
Литовская речь там звенит над пшеницей...¹

Голос его дрогнул.

— Литовская речь... Литовская речь... — повторял он. — В долгах тонут братья-литовцы! Из нужды не вылезают. Люди бегут в разные Канады, Бразилии, Аргентины... Дома беда неизбывная!

— Правду говорите, ксендз-настоятель.

— Как же так получилось, а? Восемь лет минуло, как провозгласили независимость, а куда все делось? Где те идеалы, мечты? Сколько прозвучало красивых лозунгов: отчизна, свобода, независимость, любовь к народу, к родной земле! Где эта свобода? Где любовь к отчизне? — Настоятель остановился перед Раполасом, лицо его разгорелось, глаза сверкали. — Был Кудирка, Басанавичюс был, молодой Майронис потрясал от края и до края всю Литву. А теперь что? Идеалисты в могилах... Идеалисты всегда первыми ложатся в могилу... А те, кто жив, прозябают где-нибудь в сторонке, молчат... А наверху — министерства, вице-министерства, начальники полиции, охранки... И всюду — разложение, протекционизм и взяточничество, взяточничество, взяточничество... Как же это мы так измельчали, опустились, а?

И настоятель остановился, провел ладонью по лицу и тихо проговорил:

— Гибнет Литва.

— Как же не погибнуть? — весело ответил Раполас. — В Литве капитализм.

— Капитализм, значит, виноват?

¹ Перевод С. Мар.

— Он и виноват, ксендз-настоятель. Везде он догнивает, во всем мире, как же ему удержаться в Литве? Прогниет и здесь.

— И Литва... прогниет?

— Капиталистическая — прогниет.

— Какая же останется? — Настоятель внимательно посмотрел на Раполаса.

— Хорошая останется. Наша — рабочая Литва.

Настоятель молча дошел до двери, потом вернулся.

— А Россия не прогниет? — глухо спросил он.

— Россия? — удивленно поглядел на него Раполас и рассмеялся. — Россия... Да, ксендз-настоятель, в России-то капитализма нет. Россия — социалистическая.

Настоятель вовсе уж тихо спросил:

— И ты думаешь, этого достаточно, чтобы государство не прогнило?

— Вполне достаточно! — веселым голосом подтвердил Раполас.

Настоятель долго молчал.

— Завидую я тебе, — заговорил он наконец. — Для тебя все просто и ясно. И ты... еще веришь во что-то. Верись!

Хотел еще что-то добавить, но в дверях опять показалась барышня, и он не стал делать вид, что не замечает ее.

— Ну что ж, — сказал, — попытаемся еще понастоятельствовать... Попытаемся.

И ушел на свою половину, пропустив вперед барышню.

Раполас свернул сигарку, глубоко затянулся. На его лице уже не было улыбки.

И снова настоятель сам служил обедню по воскресеньям, читал проповедь, сидел в исповедальне и, наклоняясь то к правому, то к левому окошечку, подставлял ухо кающимся. А как теперь все прихожане перебежали от викария к нему, то он не всегда и выслушивал их, а делал как и на усение: выходил из исповедальни, благословлял исповедников направо и налево с теми же словами:

— Прочтите все в покаяние три раза «Отче наш», три раза «Богородицу» и три раза «Вечный покой», до-

бавьте от себя, что повелит совесть и что кто хочет, и да благословит вас бог.

Видно было, что настоятелю все надоело. И эти слова, и эта исповедальня с протертым сиденьем и залоснившимися от локтей перилами, и эти люди, приходящие с одними и теми же грехами, а может, и сам костел, где от всего веяло холодом и по утрам сторож Пранукас бил залетевших галок древком хоругви.

— И да благословит вас бог... — говорил он вслед исповедникам.

А они, довольные тем, что так быстро и легко удалось отделаться от грехов, читали молитвы и подходили к причастию. Викарий сидел в своей исповедальне с перекошенным лицом. Он даже похудел после возвращения настоятеля, и пробор на голове у него расстроился. Теперь он больше сидел у себя в комнате и наблюдал из-за оконной занавески, что делается во дворе и за двором.

Барышня попробовала привести Пранукаса на ксендзовскую половину, в свою комнату, но настоятель выгнал обоих. Она долго плакала, упрашивала, целовала ему руки, тогда настоятель позволил ей вернуться, но на Пранукаса и глядеть не хотел, даже как-то заметил, что пора бы присмотреть другого сторожа, помоложе и холостого, потому что от женатого сторожа, как и от женатого солдата, мало толку. Сказал он это как бы шутя, но барышня опять расплакалась. Теперь она только день проводила в доме, а по вечерам уходила в богадельню, к своему Пранукасу и оставалась там до утра.

Юозапелис с сестрицами попробовали опять сунуться в настоятельскую усадьбу, но барышня мало того, что не дала им похозяйничать, а еще позвала настоятеля. Он и пошел за сад, позаимствовав у меня кнут, и так отделал всех трюх кикильджайцев, что они с воплями побежали по полю. Больше мы их у себя не видели.

Зато каждый понедельник, среду и пятницу снова собирались у нас по вечерам начальник полиции Уткус, старшина Жилюс и аптекарь Урбутис. Только Урбутис теперь ходил без костяного воротничка, а в новой форме Союза стрелков, подпоясанный широким ремнем и с пустой кобурой. И в дом входил он теперь через парадное крыльцо, не взглянув даже на цветик литовских полей, хотя Агнёте дожидаться его не могла.

— Нет, нет, откровенно скажу вам — я поверить этому не мог, — дивился на ксендзовской половине начальник полиции Уткус. — Вы, господин Урбутис, вы — командир стрелков? Нет, извините...

— Но тогда, извините, вам придется еще не раз удивляться, — ответил Урбутис.

— Как это понять? — вмешался в разговор Жилиус. — Вы, господин, командир стрелков, кажется, угрожаете нам?

— Вы, господа, не так меня поняли. То есть я хотел сказать, что не очень дальновидным людям, извините, приходится постоянно удивляться.

— То есть... Кто же это недальновидный? — застучал ножом по тарелке Уткус. — Что вы этим хотите сказать?

— Господа, — обратился к ним настоятель, — давайте-ка выпьем. На свете нет ничего приятнее, чем взять да выпить.

— И закусить, и закусить! — подхватил Урбутис.

— Совершенно справедливо. Закусывайте, пожалуйста, — угощал настоятель. — Народная мудрость гласит: пить пей, но и закусывай.

Голос у настоятеля был невеселый. И не только при гостях. Все как будто было хорошо: викария поставили на место, кикильджайским пивкам больше не было ходу в настоятельскую усадьбу, ржи, пшеницы, ячменя, овса уродилось столько, что не хватало закровов, льна — погибель; ни одна телка не осталась яловой, и ягнята чуть не сравнялись с овцами, сытые лошади звонко ржали на клеверище... А настоятель будто ничего и не замечал. Сколько раз ни варила Амилия рассыпчатый горох, и он не пришелся настоятелю по сердцу.

— Пропадет, — твердила приунывшая Амилия. — Если и горох не помогает, все равно, что нет человека.

— Авось не пропадет, — возражал ей Раполас. — Он человек старого закала, — поскрипит-поскрипит, глядь — и ожил.

— Дай-то бог, дай-то бог, голубчик Раполелис.

Так подошел и Михайлов день, а за ним и день ангелов-хранителей. Вышли мы убирать картошку, а ее по столько выворачивал лемех Раполасова плуга, что не успеешь шагнуть, как решето полным-полно. Воз за возом свозил домой Винцулис, целые курганы навалил, насыпал за садом, и тогда они с Раполасом взяли за ло-

паты. Выкопали канаву вокруг длинных буртов просохшей и проветрившейся картошки, укрыли чистой соломой, обложили дерном, засыпали рыхлой землей, а чтобы зимой картошка могла «дышать», вставили сверху обмотанную соломой жердь — сделали «трубу».

А там и первые утренники, и ледяная корочка на лужах. Ветер стал злее, гнал то с поля в лес, то из лесу. Почернели луга, тронутые морозом, одрябли кучи картофельной ботвы на межах, порыжевшая трава скрипела под ногами.

Подошли в свой день по хрустящему ледку озерца все святые¹, опаживая все кругом своими черными длинными полами. И там, где ступала их нога, печально поникал последний древесный листок и последняя былинка. Замолк веселый жаворонок, чибисы покинули кочкарник, черными косынками помахали вороны, улетели в лес. Воробьи и те убрались с поля на богатый кормом настоятельский двор или на помойки местечка.

— Гони стадо домой. Хватит, — сказала барышня, выйдя в поле к стаду.

А дома опять гром с ясного неба — новость: Агнёте начала пухнуть.

Первый учуял беду, конечно, Раполас. И напустился на Амилию:

— Сколько раз я говорил: оберегай ее от этого черта Винцулиса! За столом рядом, возле сена — опять рядом. А где сено, там от них, полоумных, добра не жди. Приглядывать за ними надо было!

— Кто же мог догадаться, Раполокас? Я уж взять в толк не могу, что у нас творится.

Агнёте фыркнула и прикрыла рот ладонью.

— Ты еще будешь тут ржать, кобыла! — прикрикнул Раполас. — Вот узнает отец, он тебе шкуру через голову снимет.

— И не Винцулис вовсе! — фыркнула Агнёте.

— Не Винцулис? Что ты врешь! Кто же, если не он?

— Ты сам велел...

— Я? — оторопел Раполас. — Когда?

— Ну да, сказал: аптекаршей будешь... — громко смеялась Агнёте.

Раполас остолбенел.

¹ День всех святых.

— Слышишь? — обернулся он к Амилии. — Что ты на это скажешь? Выходит, я все это подстроил?

— Быть этого не могло, — сказала Амилия. — Право, не могло быть!.. Урбутис? Нет и нет...

— Как не могло, когда могло! — Агнёте вытерла кулаком выступившие на глазах от смеха слезы. — Так я и дамся Винцулису, поищите кого поглупее...

И она опять зафыркала — таким смешным показалось ей недоумение Раполаса и Амилии. А те стояли друг против друга и хлопали глазами. Как нарочно, в эту минуту вошел Винцулис с большой кочергой в руках. Агнёте зафыркала еще громче, а Раполас сгреб его за плечи и вытолкнул за порог:

— Идем, идем, поговорить с тобой надо...

Не знаю, о чем они там говорили, только Винцулис не вернулся ни в тот вечер, ни на другое утро. Сколько раз я ни спрашивал о нем Раполаса, он каждый раз отрезал:

— Не суйся не в свое дело.

Узнал о беде Агнёте и настоятель. Пришел к нам, поставил ее перед собой и стал спрашивать:

— Скажи, девушка, что же это теперь будет?

Она было принялась фыркать и, лишь когда настоятель прикрикнул на нее, объявила:

— Аптекарьшей буду.

— Ты, девушка, все как есть рассказывай, — нетерпеливо сказал настоятель.

— Буду. Раз Урбутис пообещал, и буду.

— Выгнать ее надо, братец ксендз-настоятель, — посоветовала барышня. — Чтобы здесь духу распутницы этой не осталось!

— А ты чем лучше? — спросил ее настоятель. — Последний раз спрашиваю, девушка, — уже строго сказал он, снова обернувшись к Агнёте. — Это тебе не шуточки!

Но тут рассердилась и Агнёте.

— Что вы все пристали ко мне? Каждый рад напасть на меня, знаю я вас! А сделала я, как сказал Раполас. Вот и буду аптекарьшей. Буду, буду, буду!

— Ужасно, — сказал настоятель.

Поднялся со скамьи, окинул нас всех взглядом:

— Урбутиса я выгоню.

В тот же вечер, а была это среда, настоятель во всеуслышание попросил господина Урбутиса «покинуть его

кров», добавив, что последняя собака и та не будет гадить там, где ест.

Урбутис тотчас ушел, но стеклянную дверь загораживал настоятель, и он должен был пройти через нашу половину.

— погоди! — крикнула Агнёте. — И я с тобой, здесь больше не останусь!

Она кинулась собирать свои пожитки, выдвинула из-под кровати сундучок. Но Урбутис не стал ждать, а угрозил ей длинным, твердым пальцем и крикнул, выплевывая слова:

— Не приставай! Ты еще будешь каяться, свинья!

Вышел, хлопнув за собой дверью.

Агнёте задвинула сундучок и со смехом сказала:

— Беги, беги, опять прибежишь!

— Совсем спятила девка, — сказал Раполас.

— Одна ли она? — возразила Амилия. — У нас у всех клепки в голове не хватает.

Сказала неправду. У меня, к примеру, все клепки были на месте.

В доме стало словно бы темнее, словно бы окна потускнели, потолок стал ниже. Настоятель как нахмурился после разговора с Агнёте, так с тех пор и не повеселел. Сидел у себя в комнате — суровый, неразговорчивый, чужой какой-то. По вечерам еще заходили к нему Уткус и Жилиус, но теперь они остались без четвертого игрока и не садились за карты, а за столом только пили и молчали. Викарий Скайстис тоже тихо сидел в своей комнате, оседлав голову наушниками. Снимал он их, лишь когда ездил с ребятами или шел служить обедню, а после опять за наушники и целыми часами сидел, облокотившись на стол — слушал.

А тут еще Раполас стал пропадать вечерами из дому. Уберется на дворе, и нет его. До поздней ночи. Амилия не раз остерегала его:

— Смотри, пить не начни, Раполюкас.

— Ты, часом, не рехнулась? — удивился он. — Это ли у меня на уме?

И верно — не это было у него на уме. Я раз выследил его и увидел, что он стоит с Пятрасом за нашим садом. Потом к ним подошел еще один. Не знаю, хорошо ли я разглядел, но мне показалось, что это был старший сын Шлёмы. Говорили все трое так тихо, что я ни шута

не: понял, а потом пошли полем. А всем ведь известно, что пить люди идут не в поле, а совсем в другое место.

Утром я нарочно спросил Раполаса, где это он разгуливал с Пятрасом и Шлёмой.

— Не суйся не в свое дело, — рассердился он, как всегда, когда я спрашивал о чем не следует.

Потом отошел, улыбнулся.

— Видел, значит? Не сболтнул кому-нибудь, что видел?

— Что я, дурак?

— Вижу, — сказал Раполас. — Пятрас верно сказал — не болтун ты.

— Пятрас сказал? — обрадовался я. — А еще что он сказал?

— А это уж мое дело, — отрезал Раполас, но не сердито.

Вечером он опять ушел из дому, а перед этим Амилия снова остерегла его:

— Раполокас, ты смотри, пить не начни. Этого нам еще не хватало.

— Сама ты не начни! И с чего тебе в голову лезут такие мысли?

— Уж это всегда так: если мужик бежит по вечерам из дому — это, знай, к водочке его потянуло, не иначе.

Потом несмело добавила:

— Или за какой юбкой...

Раполас посмеялся и вышел, не сказав ни слова.

И так каждый божий вечер. Какие дела завелись у него с Пятрасом и сыном Шлёмы, чего они искали по ночам за садом и в поле — этого никто не знал, не знал и я.

Агнёте ходила веселая. Веснушки по обеим сторонам ее носа высыпали еще гуще, лицо припухло, а она за работой — не за работой, все напевала с утра до вечера. Когда же Амилия ворчала на нее, Агнёте твердила свое:

— Не бойся: припрется, никуда не денется. Слаще меня нет никого — сам так говорил. Аптекарьшей буду...

Не знаю, было ли это утро или полночь, когда меня будто кто-то толкнул в бок. Я вздрогнул, открыл глаза. Возле кровати Раполаса стоял настоятель в длинной, до

полу, полотняной рубахе. В одной руке он держал зажженную свечу, другой расталкивал Раполаса:

— Вставай, Раполас, вставай!

Раполас сел, еще не проснувшись толком, заморгал глазами от света свечи.

— В Каунасе переворот, — сказал настоятель. — Фашисты взяли власть.

— Взяли? — сразу проснувшись, вскочил на ноги Раполас. — Не может быть! Не может быть, чтобы так скоро.

— Поторапливайся, — сказал настоятель хриплым глосом. — Викарий уж полетел в местечко, к Урбутису. С минуты на минуту могут нагрянуть. Понял?

Раполас молча всунул ноги в штаны, потом в сапоги, мигом вдел руки в рукава пиджака, набросил на плечи кожух, нахлобучил на голову шапку.

— Спасибо.

— Спасибо после скажешь. А сейчас вали прямо в Гялажяй. Отыщешь там моих родственников Гимбутасов... Третий дом от кладбища. Скажешь, настоятель прислал. Они тебя спрячут... на первое время. Дальше сам соображай.

— Кто такие эти Гимбутасы?

— Не спрашивай, поторопись.

Раполас исчез в темноте за дверью. По двору шел, видать, осторожно. Нигде не скрипнуло. Настоятель прислушивался, наклонив голову в сторону окна, потом высоко поднял свечу, поглядел на спящую Амилию, на Агнёте, на меня. Обе женщины спали, и я успел закрыть глаза, будто тоже спал. Настоятель немного постоял и тихонько прошел к себе. И только он — за дверь, как Амилия кашлянула и громко зашептала:

— Господи, спаси и сохрани Раполаса... Смилуйся над нами всеми, господи...

— Амилия, ты не спишь? — спросил я.

Амилия сразу утихла, затаила дыхание. А потом захрапела, да так, как никогда не храпят, когда спят настоящему.

Вдруг на дворе залаяли собаки, загрохотали двери, и брызнул свет — прямо мне в глаза. Я как ослеп, услышал только голос Урбутиса:

— Где батрак? Где Раполас?

И раз — кулаком по затылку. Меня аж качнуло.

— Будешь говорить или нет? Гляди прямо! — орал Урбутис. — Где батрак, черт бы тебя взял! Гляди мне в глаза.

— Чего ты дерешься, — спросил я и стиснул от боли зубы. — Настоятель выгнал тебя, так теперь драться?

Урбутис даже рот приоткрыл, будто ему не хватало воздуха. А потом — по голове меня, по голове.

— С кровью вытяну из тебя правду, большевистское отродье. Ты у меня еще заговоришь.

Кто-то зажег на столе лампу, Урбутис погасил свой фонарик. Придвинул кулак к моим зубам.

— Раполас где? Ну?

— Не бейте мальчонку! — крикнула Амилия.

Она стояла у кровати в одной рубаше, обеими руками прикрывая прореху на груди. Агнёте тоже стояла у кровати в одной рубаше, только она не прикрывала прореху, а еще шире раздвинула ее, показывала, что у нее там, под рубахой. У двери стоял Юозёкас в форме стрелков и с винтовкой. И Ефимка стоял с винтовкой. Урбутис тоже был в форме стрелков. Один викарий, как всегда, в сутане, застегнутой до самого горла. Подошел ко мне, взял за подбородок.

— Ну, большевичок, где твой Раполас? — спросил меня ласковым голосом.

— Не бейте мальчонку, — спокойнее уж сказала Амилия.

— Взять пастуха! — приказал Урбутис. — Там поговорим.

— Побойгесь бога, господин Урбутис, — стала уговаривать его Амилия. — Это наш пастушок... Или не припомните? Каждый же день видели...

— Кому приказано? — повернулся Урбутис к Юозёкасу.

Тот бросился ко мне, ткнул кулаком в спину.

— Одевайся, не то раздетого погоню.

— Ее тоже... — показал Урбутис на Агнёте.

— Меня? — фыркнула Агнёте.

— Взять ее! Ефимка, ты сюда пришел считать ворон или исполнять приказания?

— Слушаюсь! — встал навтыжку Ефимка.

Подскочил к Агнёте, подтолкнул ее прикладом к кровати.

— Одевайся, одевайся, не то я тебе...

— Мне надеть нечего,— дурачилась Агнёте, еще больше оголяясь. — Ой, щекотно! — взвизгнула она, хватаясь за приклад.

Ефимка покраснел, вспотел даже.

— Прикройся... не можно так... не можно!..

— Господин Урбутис, — сказала Амилия. — Прямо и не знаю, что про вас думать, я своим глазам не верю... Вы же знаете... Агнёте не одна...

— Взять ее! — крикнул Урбутис.

Он хотел, видать, крикнуть еще грознее, напугать нас всех, но голоса не хватило, и получился какой-то писк, так, что Амилия вздрогнула от неожиданности, а я приснул со смеху и за это получил от Юозёкаса по затылку.

— Поживее, поживее, — подгонял викарий. — Потопрапливайтесь, господа, время дорого!

На дворе заливались лаем собаки. Кто-то орал, кто-то светил карманным фонариком.

— Поживее!

В это время к нам вышел настоятель, уже в сутане и обутой. Остановился в дверях, криво усмехнулся:

— С пастушками воюете?

— Спасаем Литву! — Урбутис щелкнул каблуками, откозырял. — Ликвидируем большевистские гнезда, ксендз-настоятель.

— Ну так убирайтесь из моего дома!

Урбутис щелкнул каблуками.

— Ксендз-настоятель... Вы, надеюсь, понимаете, что достаточно одного моего слова, и вы будете арестованы?

— Вон! — Настоятель подался всем телом вперед.

Урбутис попятился. И как раз в эту минуту дверь распахнулась. Светя фонариками, ввалились несколько человек в форме стрелков. И тут же стали навтыяжку перед Урбутисом.

— Везде искали. Нигде нет большевика Раполаса.

— Растяпы! — крикнул Урбутис и толкнул, прямо-таки отбросил меня в их сторону. — Взять его!

А Юозёкас прикладом толкнул к ним Агнёте.

— И эту... и эту!

Агнёте не столько шла, сколько лягала Юозёкаса, куда только могла достать. Раскосматилась, раскраснелась, разъярилась, — и все равно фыркала. А когда поравнялась с Урбутисом, крикнула ему в лицо:

— Еще приползешь! Дерьма тогда получишь! — и плюнула ему в лицо.

— Увести се, увести! — кричал Урбутис не своим голосом.

Стрелки схватили нас, скрутили руки, вытолкнули в сени.

— Я буду протестовать... — услышал я голос настоятеля. — Вы еще пожалеете об этом.

Стрелки пинали нас ногами, подталкивали кулаками, пока вели по двору.

Над местечком занимался новый день.

Мы лежали на соломе, устилавшей пол от одной стены до другой, вернее, от одной лавки до другой. Больше здесь ничего не было, — только эти две лавки и полуразвалившаяся, давно не топленная печь у двери. Одно окно выходило на речку Вирдуле, другое — на улицу, и еще одно окошечко было прорублено в двери. И оба окна и окошечко забраны железными прутьями, а оконницы обиты жестью. Так мы обивали ловушки, когда ловили хорьков, — чтобы не прогрызли доски. А здесь были не хорьки, а люди. Много людей. Лежали, сидели, полулежали плечом к плечу, ногой к ноге, на полу, на лавке, под лавками. Один только стоял, прислонясь к стене. Я его сразу узнал, когда Юозёкас втолкнул меня сюда. Был это не кто иной, как Урбонелис. А Юозёкас стоял за дверью с винтовкой в руках и глядел на нас в окошечко, прижавшись лицом к прутьям.

— Молчать! — то и дело покрикивал он, хотя все молчали и без его окриков.

— Чего стоишь, дядя, почему не сядешь? — окликнул я Урбонелиса.

— Меня не проведешь, — ответил он.

Он и потом так отвечал всем, кто уговаривал его сесть или лечь. Простоял вчера весь день, а потом и всю ночь, и когда рассвело, видим — Урбонелис стоит.

— Меня не проведешь.

Тесно тут было — плюнуть некуда, а к нам все вталкивали новых и новых людей — и испуганных и не очень испуганных, но все были избиты. У всех были впавшие глаза, опухшие носы, лица в синяках. Очутившись здесь,



они некоторое время стяли, не понимая, куда попали, а за дверью Юозёкас покрикивал:

— Молча-ать!

На лавке задвигался невзрачный мужичок в кожане с седыми волосами и бородкой клинышком. Сел, огляделся и сказал:



— Нет на свеге справедливости.

— Молча-ать! — крикнул в окошечко Юозёкас.

На лавке опять застался мужчина. Накануне он стоял весь день, а потом всю ночь. Как ни проснусь, слышу — стонет. Подолгу лежать ему не давали, все время куда-то уводили, потом опять приводили, и каждый раз

все сильнее избитого. В последний раз, ночью, уж не привели, а волоком приволокли. Человек и на ногах не стоял. Бросили его на лавку, ушли. Он долго лежал как мертвый, лишь под самое утро застонал сквозь стиснутые зубы. Стонал он тихо, часто совсем замолкал, потом не выдерживал, опять начинал, стуча зубами.

— Молча-а-агь! — отчаянным голосом кричал Юозёкас.

Мужичок в кожухе раздобыл где-то воды, смочил избитому губы, стал успокаивать:

— Терпи, терпи, браток. Христос терпел, теперь — наш черед.

— Где я? — зашевелил губами избитый.

— Заговорил! — обрадовался мужичок в кожухе. — Жив, жив! — Радости его не было границ. — А я уж думал, ты, браток, отдашь господу богу душу! Решил, значит, еще пожить?

Нагнулся над избитым, поглядел и почмокал губами.

— Один глаз уж глядит! Ребята, один глаз глядит! А чисто работают, скажу я вам. Наши эти новые, как их?.. фашисты, что ли?.. Чисто, чисто работают. Куда до них Николашкиным жандармам!

— Где я? — опять пошевелил губами избитый.

— В раю, браток, в раю, или не видишь? — усмехнулся мужичок. — Все мы в раю, не ты один. Вон и архистратиг Михаил за дверью стоит, а на дворе ангелы-хранители, ангелы-хранители... Слышишь, поют? Не шевелись, не шевелись! — крикнул он, обеими руками прижимая избитого к лавке. — Ты, браток, не шевелись, а то можешь кровью изойти. Раз тебя обработали, надо лежать. Верно говорю. Лежи себе, отлеживайся, нутро и поправится. Кости нигде не сломаны, а?

— Не знаю.

— Не знаешь? Ну, так не сломаны, раз не знаешь! И за это скажи спасибо этим, как их... фашистам нашим. Чистая, чистая работа.

В одном месте, в другом зашевелились люди. Приподнимали головы, оглядывались на лавку. Кто-то захохотал, кто-то выругался. А один спросил хриплым голосом:

— Ожил, что ли?

— Считай, что так, — подтвердил мужичок. — И живуч, я скажу, наш брат литовец. Изобьют его, изувечат

по-всякому, целой кости не оставят, а он полежит-полежит и опять — «где я?»

Мужичок весело рассмеялся. Ему, видно, очень понравился избитый. Нагнулся к нему, отер рукавом губы, спросил:

— Водицы дать? Верно, голодный ты?

— И понапрасну ожил, — проговорил все тот же хриплый голос. — Все равно... Теперь уж все равно...

— Все равно? — обернулся в его сторону мужичок. — Тебе, верно, мало наложили, раз все равно. Ты его не слушай, — обернулся он к избитому. — И сколько у нас развелось таких... мало битых. Не успеют его пальцем тронуть, он уж бежит гвозди на гроб искать. Этак кудахтать каждая курица сумеет, а надо как? Надо, как ты, брат! «Где я?» Ха-ха-ха!

Несмогря на веселые эти утешения, избитый лежал не шевелясь, только часто дышал. И люди кругом замолчали, прилегли на солому. Кто-то крикнул Урбонелису:

— Сядешь ты наконец, чучело огородное, или нет?

— Меня не проведешь.

— Вот как стукну затылком об стену, перестанешь глаза мозолить!

— Меня не проведешь.

— Не просите, ему нельзя, — объяснил веселый мужичок. — Вы ему хогь десять подушек под задницу подложите, — не сядет он.

— Что так?

— Бойтся. Бойтся Урбонелис.

— Врешь ведь, пустобрех окаянный! Чего ему бояться!

— А я говорю — боится. Сам вчера сказал. Чуть только сядешь, говорит, потом всякая собака будет глаза колоть: Урбонелис в тюрьме сидел. А я, мол, не сидел, а стоял.

Лежавшие на полу сперва замолчали, потом разом грохнули хохотом. Все обернулись к Урбонелису. Он стоял, все так же прислонясь к стене. Всего и сказал:

— Меня не проведешь.

— Молча-ать! — прикрикнул Юозёкас.

Теперь он почти не отрывался от окошечка, стоял, прижавшись щекой к решетке, и то и дело выкрикивал свое «молчать!».

Избитый застонал, зашевелил губами:

— Ты кто?

— Я-то? — оживился мужичок. — Вайтис я. Вайтис. Из села Дригняй, хутор Гялдаскилес. Может, слышал? Есть такое веселое местечко. Как выберемся отсюда, приезжай в гости, я ждать буду и квасом напою.

— Замолчал бы хоть, пустомеля! — крикнул кто-то у другой стены. — Какого черта, так и сыплет, так и сыплет...

— Тебе пока не насыпал, — обрезал его Вайтис. — А то, смотри — насыплю.

— Еще и грозишься, брехун... Замолчи ты, ради Христа. Знаешь хоть толком, с кем говоришь? В такое время... в такое время! Впутаеть нас всех...

— Эх ты, свинья полосатая! Не знаю, с кем говорю? — вскинулся Вайтис. — На человеке живого места не оставили, все нутро отбили, а я не знаю, с кем говорю? Уж если этого не знаю, так что же я тогда знаю?

— Он один, что ли, тут, в кутузке?

Не успел Вайтис ответить, как дверь отворилась, стремглав влетели двое новых арестованных. Вайтис оставил избитого, подошел поглядеть на новичков. Брань утихла.

Так прошел весь день, наступил вечер. В кутузку опасно вошел Юозёкас. Не выпуская из рук винтовки, стал зажигать стоявшую на печке коптилку. Но руки были заняты, и спичка тухла раньше, чем он успевал поднести ее к фитилю. Долго так мучился.

— А ты положи свою кочергу, — посоветовал ему Вайтис.

Юозёкас выпрямился как ужаленный, направил на нас дуло винтовки, крикнул:

— Поговорите у меня! Сейчас же стрелять буду!

Он крепко сжимал винтовку, ждал, не заговорит ли кто. Но никто не заговаривал, и Юозёкас успокоился. Не переставая коситься на нас, зажал винтовку между ног, кое-как зажег коптилку.

— Молчать-ать!

Вышел, стал у окошечка. Однако мало что он мог разглядеть в кутузке. Коптилка стояла высоко на печи и чуть-чуть лишь освещала середину пола.

— Хоть бы поесть дали, иуды! — сказал кто-то из арестованных.

— На том свете горячими угольками накормят, — с издевкой ответил другой.

— Не имеют права морить голодом! И бить! Нет такого закона, чтобы бить честных людей.

— Ты им это скажи, — насмешливо отвечал из темноты все тот же голос. — Постучи кулаком в дверь и скажи.

Первый замолчал, но ненадолго. Повозился, шурша соломой, опять спросил:

— И за что? За что?

— За демократию, — откликнулся с лавки Вайтис. — А ты и не знаешь? Надо переворот делать, менять власть, а ты вцепился в нее зубами, добром не отдаешь... Демократия тебе нужна, голосовать тебе хочется? Вот и голосуй тут на соломе.

Кругом засмеялись, а громче всех сам Вайтис.

— Брехун ты, Вайтис, — не очень сердито сказал первый.

— Может, и брехун, — добродушно согласился Вайтис, — только не спрашиваю, чего не надо.

Первый не стал отвечать, но Вайтис не мог уже остановиться.

— Одного человека ищут, сто человек хватают, а тебе непонятно. «За что, за что?» Ищи у дураков ума!

Стало тихо. Все подремывали, даже Урбонелис, хотя колени у него то и дело подгибались и он стучался затылком об стену. Верно, была уж полночь, когда к нам вошли трое: два плечистых молодчика в форме стрелков с винтовками и Урбутис. Молодчики остановились у дверей, а Урбутис прошел дальше. Теперь он был в новеньком синем полицейском мундире с желтыми нашивками на воротнике. И кобура у него на поясе разбухла от тяжелого пистолета. В руках у него была тонкая тросточка с кожаной петлей на конце. Он тут же ударил кого-то этой тросточкой.

— Начальник... За что?

— Не садись посреди пола, идиот. Молчать! Стать вон там! — неизвестно куда показал он тросточкой, а когда человек встал, опять хлестнул его.

— Начальник... а теперь за что?

— Как ты смеешь вставать, когда я стою? Марш вон туда! — опять показал неизвестно куда.

Зашагал прямо через лежащих людей. Они отползли в сторону, жались к стенам. Урбутис подошел к лавке, остановился перед избитым, помахал тросточкой.

— Этот готов, — сказал Вайтис.

— Молчать!

— Молчу. Только понапрасну, начальник. Убей его — слова не выбьешь. Упорный.

Урбутис чуть было не ударил Вайтиса, но увидел у стены Урбонелиса. Подошел, пощекотал петлей ему нос, вежливо спросил:

— Почему ты стоишь?

— Меня не проведешь.

— Разрешаю тебе лечь, — так же вежливо сказал Урбутис.

Урбонелис не шелохнулся.

— Ну? — еще тише сказал Урбутис.

Все затаили дыхание.

— Меня не проведешь.

Урбутис обернулся к стрелкам у двери. Они подскочили, сгребли Урбонелиса, поволокли с пинками и колотушками за дверь, передали кому-то и крикнули:

— В подвал!

Урбутис вернулся к Вайтису. Пощекотал и ему петлей нос.

— Так ты сказал — понапрасну? — спросил опять же вежливо.

— Упорный, — унавшим голосом подтвердил Вайтис.

— Ты его знаешь?

— Я-то?

Урбутис обернулся к стрелкам, и те сделали с Вайтисом то же самое, что и с Урбонелисом. И тотчас вернулись, стали в дверях.

— Та-ак, — промянул Урбутис.

Сунув тросточку под сермягу на груди избитого, приподнял краешек, заглянул, высвободил тросточку.

— Так, та-ак.

Снова обернулся к порогу. Стрелки подняли избитого за руки и ноги, так что голова у него моталась, пока несли его к двери. Следом за стрелками вышел и Урбу-

тис. Юозёкас тотчас запер дверь на засов и припал щекой к окошечку.

— Молча-ать!

Совсем уж под утро к нам втокнули Урбонелиса и Вайтиса. Урбонелис добрался, обтирая спиной стену, до своего места, остановился. Только колени у него подгибались сильнее и сам он дрожал всем телом.

Вайтис кое-как добрался до лавки и словно окаменел, не найдя избитого. Долго сидел он, облокотясь на колени и покачивая головой из стороны в сторону.

— Нет на свете справедливости. Нет и нет...

Но справедливосгь все-таки, видно, была. Еще не рассвело путем, как я услышал из-за двери голос настоящего:

— Отдайте мне моего пастуха! Где мой пастух?

Ему загородил дорогу Юозёкас с винтовкой.

— Ксендз-настоятель, ксендз-настоятель... Не могу я, ксендз-настоятель... Прошу отойти!

— Не можешь, так и не надо! — гремел настоятель. — И не надо! — Он так двинул локтем Юозёкаса, что тот отступил. Завизжал железный засов, и на пороге появился настоятель — мрачный, большой, широкоплечий.

— Здесь мой пастух?

— Здесь я, здесь... — отозвался я.

— Р-р-революционер! — загремел настоятель. — Домой! Домой немедленно, р-р-революционер!

Кругом все проснулись, глядели на настоятеля, выпуча глаза, не понимая еще, что тут гворится. Настоятель заметил Урбонелиса.

— Ка-ак? И ты, Урбонелис, с р-р-революционерами?

— Меня не проведешь...

— Домой! Я тебе говорю, иди домой! И всем говори: меня выпустил настоятель. Мой ксендз-настоятель.

Урбонелис не шелохнулся.

— Меня не проведешь. Не ты забрал, не ты и выпустишь. Меня не проведешь.

— А ведь настоятель-то выпивши, — сказал кто-то в темноте.

Он и правда был выпивши. Не так, чтобы очень, а все-таки. Долго глядел на Урбонелиса, потом махнул рукой, сгреб меня, подтолкнул:

— Скорее!

Мы шли по замерзшей грязи двора. Только мы одни. Холодно было, тихо. Когда дошли до ворот, услышали голос Юозёкаса:

— Молча-а-ать!

Амилия ходила по дому угрюмая. Плакать не плакала, но работа валилась у нее из рук. Сколько уж раз спрашивала она меня:

— Где Агнёте?

Агнёте не вернулась ни в тот, ни на другой, ни на третий день. Вместо нее объявился Винцулис. Тоже угрюмый, отощавший, обросший.

— Где ты был? — спросил я его.

— Где я был, там тебе, дураку, не бывать.

Так ничего и не сказал, пошел убираться. Он подолгу возился над чем-нибудь, но за самую важную работу так и не брался. Теперь в настоятельской усадьбе осталось только двое работников — он с Амилией.

В доме не хватало не только Раполаса с Агнёте, но и самого настоятеля. Он не вернулся еще в то утро, когда выпустил меня. Весь день не приходил. И всю ночь. И весь следующий день. Амилия ни разу не спросила меня, где он, только с каждым днем становилась все угрюмей.

А без настоятеля барышня привела Пранукаса к себе в комнату. Костельный сторож повеселел, стал совать нос и в хлева и в клеть, добрался даже до риги, а когда Амилия накричала на него — мол, лучше бы он не лез, куда его не просят, — тот ответил ей, подбоченься:

— Я тебе не собачий огрызок.

— Нашел перед кем хвалиться — перед наймиткой! — пожурила его барышня.

Но журила только для видимости, а сама, видать, была рада, что Пранукас не собачий огрызок. Теперь она опять забрала весь дом в свои руки, даже свиное пойло запирала на замок.

— Когда здесь будет другая хозяйка, и порядки будут другие, а сейчас такие, — объявила она, когда Амилия посетовала на лишние проволочки.

— Мне не нужно другой хозяйки, мне порядок нужен! — обиделась та.

— Тебя никто не спрашивает, нужна тебе или не нужна. Мы с Пранукасом ненадолго здесь.

— Куда это вы денетесь?

— Не беспокойся, пожалуйста, есть куда деться. Нам с Пранукелисом везде на кусок хлеба хватит!

— Слышишь, Амилия? Слышишь, — повторил ей покрасневший от удовольствия сторож.

Амилия плевалась, отходила прочь.

— Лучше бы все Юозапелису досталось, — говорила она втихомолку.

А кикильджяйский Юозапелис и попробовал сунуться к нам. Один раз, другой. Но барышня горой стала на защиту настоятелева добра. А рядом с ней грозился толстым поленом Пранукас.

Викарий Скайстис опять подолгу сидел в своем кабинете, оседлав голову наушниками. Вечерами к нему захаживал Урбутис, и они засиживались до такой поздней поры, что мы не всегда видели, когда он уходил. И всякий раз он запугивал меня:

— Ты еще мне попадешься. Ты мне за все ответишь.

Долго так пугал. Однажды Амилия отважилась спросить его:

— Как же будет с Агнёте?

— Напрасно вы тревожитесь, — ответил Урбутис, — девушка в надежных руках.

— Одна я с работой не успеваю. Когда же вернется? Она еще свой год не отбыла.

— Придет срок, вернется. И год свой отбудет. Все-му свое время.

Сказал это и ушел. После этого он каждый вечер так быстро проходил мимо Амилии, что она не успевала и рот раскрыть.

Так проходили дни в настоятельском доме.

Наступил рождественский сочельник. И тогда мы увидели, что сочельничать нам не с кем. Настоятеля нет. Барышня куда-то запропастилась вместе со своим Пранукелисом. Агнёте нет, Ралоласа нет. Амилия чуть не в голос плакала, сидя за столом, на котором были и тушеные бобы, и заправленная маслом и луком селедка, и сладкое медовое питье. Винцулис стоял рядом и утешал ее, хотя и самому ему было ничуть не веселее:

— Не надо, Амилия... не надо.

Амилия вдруг испуганно посмотрела на него:

— А рождественская служба? Завтра же рождественскую обедню служить!

— Отслужит ксендз-викарий... Не надо, Амилия.

— Викарий? Ты что, малый ребенок или стал бредить? Рождественскую обедню служит только настоятель. Только настоятель!

И опять расплакалась.

— Господи боже, наказуй, если надо, но отведи милосердную свою десницу... — молилась она. — Вразуми нашего ксендза-настоятеля, просвети мудростью своей. Помутился разум его, милосердный боже, не допусти его гибели, укажи ему путь к святому алтарю!..

И пока она так молилась, наполнились слезами и глаза Винцулиса, а потом он вовсе расплакался. Так и плакали оба, только Амилия по настоятелю, а Винцулис, может, и не по нем. Кто его знает, по ком плачут молодые парни?

— Винцулис, сходи ты, — утирая слезы, сказала Амилия. — Сходи ты к Каушпедасу. Пади в ноги ксендзу-настоятелю. Пусть бросит, пусть не позорит ни себя, ни всех нас... Сходи, Винцулис. Сейчас же иди.

— А что я ему скажу? — всхлипывал тот, не двигаясь с места.

— Ничего не говори, только ударься ему в ноги и не вставай, он и поймет. Ляг крестом перед ним, бездольным, и не вставай, он и поймет...

Винцулис перестал всхлипывать, поглядел на Амилию.

— А ну как не пойдет?

— Я бы сама пошла, да не пристало мне. На что это будет похоже? Ты один можешь, тебе пристало. Пади, говорю, в ноги и не поднимайся, лежи, покуда не образумится ксендз-настоятель, не осенит его дух святой. Не теряй времени, Винцулис.

Амилия просила умильно, но Винцулис не трогался с места. Вытер насухо глаза и отвернулся.

— А я знаю? — бормотал он. — Откуда я знаю?..

И Амилия поняла: не пойдет Винцулис. Тогда она утерла слезы, покрылась платком.

— Может, тебе не ходить? — сказал я. — Амилия, ты лучше не ходи.

— А кто же, кто пойдет, раз нет мужчин в доме!..

— А может, и есть мужчины в доме, — вызвался я несмело: я ведь ни разу еще не был на мельнице Каушпедаса и вовсе уж не знал, как надо пасть в ноги настоятелю и лежать на полу, покуда не осенит его дух святой. Но идти нужно было. Чтобы во всем доме не нашлось ни одного мужчины — этого быть не могло!

— Я схожу.

— Есть... есть бог на небе! — воскликнула Амилия.

Мельница Каушпедаса на берегу Вирдуле гудела и гремела в темноте. Меня встретила толстая женщина, ходившая с фонарем возле мешков.

— Что скажешь? — она остановилась передо мной и не пускала дальше.

— Я настоятелей пастух.

— А! Ну, что скажешь?

— Не слышишь разве? Настоятелей пастух я.

Тогда женщина сошла с тропинки и кивком показала направо, потому что кругом все стучало и гудело. В серой от мучной пыли стене была дверь, которую я не сразу и заметил. За этой дверью нашел, кого искал.

Настоятель сидел за длинным, сколоченным из досок столом, подперев кулаками подбородок; глядел куда-то ничего не видящими глазами и вполголоса пел:

Вянет рута, вянет мята,
Вянут все цветочки...

Напротив сидел Каушпедас, такой же седой и с таким же измятым лицом грузный мужчина, и подтягивал настоятелю:

Так увяли, миновали
Юные денечки...

На столе стояла початая бутылка водки, нарезанный хлеб, ветчина, большая миска с солеными огурцами. Под потолком вздрагивала и покачивалась от грохота мельницы ярко горевшая лампа.

— *Юные дене-ечки...* — тянул настоятель.

Каушпедас хлопнул его по руке, показал подбородком на меня.

— А-а, р-р-революционер! — поздоровался со мной настоятель. — Знаешь, Каушпедас? Знаешь? — обернулся он к мельнику. — Этот молодец успел уж в тюрьме посидеть! А? Растет нынешняя молодежь, а?

— Что ей не расти, ксендз-настоятель? Много она горя видела? Нельзя сравнивать ее с нами, стариками.

— Что правда, то правда, Каушпедас! — обрадовавшись, закричал настоятель. — Никого нельзя с нами сравнивать. Кто мы такие, Каушпедас? Ничтожества мы, Каушпедас! А? Ты скажи, Каушпедас: ничтожества?

— Ничтожества, ксендз-настоятель. Оба мы с тобой — дерьмо.

— Ну, может быть, и не дерьмо, а по правде? Как мы жили, а? Сперва вырастешь, потом оглядишься и потом только пойдешь... Куда пойдешь? В Сибирь. В казематы пойдешь. И не какое-то дрянцо вроде Урбутиса тобой занимается, а сам царь, а? Царь всяя Руси! А теперь? Ты погляди на него: р-р-революционер! Где был? В кутузке был! Ну, что скажешь, р-р-революционер из кутузки?

— Домой надо идти, ксендз-настоятель, — сказал я. — Амилия плачет...

Настоятель долго смотрел на меня. Глаза у него были красные, слезились. Лицо в синих тенях. Прямо покойник. Закрыв глаза, долго сидел так, потом опять поглядел на меня:

— Плачет? Амилия плачет? Эта добрая душа?

— Эта добрая душа, — ответил я. — Который уж день плачет. Рождественскую обедню надо служить. А кто будет? Амилия говорит: настоятель должен, а викарию — нельзя...

Говорю это настоятелю, а сам смотрю на пол. Сплошь он покрыт толстым слоем утрамбованной мучной пыли, и если придется пасть в ноги настоятелю, как ложиться на такой?

— Скоро начинать обедню, — сказал я. — Амилия плачет...

— Налей! — крикнул настоятель Каушпедасу.

Тот налил. И настоятелю и себе. Выпили оба и потом долго молчали. Настоятель прижал щепоть к губам, громко втягивал носом ее запах.

— А Майронис сидит злой, — ни с того ни с сего ска-

зал он, отняв руку ото рта. — Чего злишься, спрашиваю. Сам этого хотел, сам воспевал в стихах:

Где в тихом саду кукованье кукушки,
Там встретят усадьбы прохожего взор¹.

А? Чего же теперь злишься? Домина у тебя в Каунасе, деньги есть, чего тебе еще? И есть чем утешаться на старости лет. Есть чем, все-таки! Правду тебе говорю: что бы ни случилось с Литвой, а все равно будет она жить. Будет жить Литва! Потому что проснулась, потому что пробудили ее... Так и сказал Майронису: ты, говорю, пробуждал! Басанавичюс, Кудирка и ты, Майронис! Ты!..

— Майронис любил Литву, ксендз-настоятель.

Настоятель сам налил себе из бутылки и выпил один.

— А я ничего не любил! — сказал опять ни с того ни с сего, и вовсе не пьяным голосом. — Ничего, Каушпедас... Литву не любил, девушек не любил... Самого бога не любил!

— Не надо так, ксендз-настоятель.

— А, испугался? И чего ты, такой правдивый человек, правды испугался? Да, ничего я не любил! Сказал отец — иди в ксендзы, я и пошел в ксендзы. Сказал бы — иди в золотари, я бы пошел в золотари.

— Не годится так... не годится при мальчишке, ксендз-настоятель.

— Какой еще мальчишка?

И как будто только сейчас увидел меня.

— Ты опять здесь? — удивился он. — Так чего тебе от меня надо?

— Рождественскую обедню... Амилия просит...

Настоятель глядел на меня и часто-часто моргал. Мне показалось, что он меня не видит. Но он все же видел.

— Иди домой... иди домой!

— А как же обедня?

— Иди домой. И забудь про обедню. Не слепой, сам видишь. И молчи о том, что видел! — грозно крикнул мне.

¹ Перевела С. Мар.

Я выбежал из мельницы.

Еще до начала рождественской обедни костел битком набился народом. Во всех приделах горели свечи, и свет их лился из окон до самого местечка, будто созывал все больше людей помолиться. Викарий Скайстис стоял в ризнице перед большим зеркалом, расправлял складки облачения, снова и снова причесывал волосы, хотя пробор и без того блестел, как никогда еще. Зеркало отбрасывало сияние свечей на викария, на полированные шкафы со священной утварью. И нетрудно было заранее догадаться, как засияет викарий у алтаря в своем расширенном золотом облачении, с дарохранильницей в руках.

Но до алтаря он не дошел. Только было шагнул, как двери сами распахнулись и впустили ксендза-настоятеля!

Викарий прямо остолбенел — стоял и чуть шевелил губами:

— Вы это... Вы...

А настоятель улыбался. Будто и не пил он, не сидел с Каушпедасом на мельнице, а только что вышел из бани и вымылся там, ополоснулся не горячей, а ледяной водой. Щеки румяные, свежие, шея горит, только вот глаза... те же глаза, что я видел на мельнице.

— Не спешите, — сказал он викарию, подняв руку, чтобы остановить его. — Мы еще понастоятельствуем.

— Вы... Вы, ксендз-настоятель, в таком виде? — лепетал викарий побелевшими губами.

— Понастоятельствуем, ксендз-викарий.

И, обернувшись к Пранукасу, ошеломленному не меньше, чем викарий, приказал:

— Облачение!

Пранукас подлетел к нему.

Прошел первый день рождества, прошел и второй. Настоятель заперся у себя, а викарий пропал из дому. Люди говорили, что он укатил в Каунас, и не один, а вместе с Урбутисом. Будто бы у него там нашлось много дел. Агнёте все не возвращалась, и Винцулис совсем повесил голову и с утра до вечера лил слезы. Амилия разрывалась на части на дворе и в хлевах, потому что

барышня ушла следом за своим Пранукасом, а он убрался из дому, как только вернулся настоятель. Вот и некому было отвезти меня домой, как развозят всех пастухов на второй день рождества.

Тут неожиданно-негаданно прибрела к нам на двор старая Дамулене—та самая, которая жила в лесной избушке и умела заговаривать от змеиных укусов и прочих напастей. Еще больше постаревшая, укутанная в пошершавевший от дождя, негнувшийся платок. Она долго всматривалась в меня.

— Не пастушок ли Чяпулисов будешь? — спросила она меня.

— Жил и у Чяпулисов. А что?

Дамулене оглянулась по сторонам.

— Да вишь ты... Пятрас у меня укрывается, — шепотом сказала она.

— Пятрас?

— Не кричи! И не знаю, куда его деть. Сейчас по всему лесу рыщут. Как его оберечь?

Опять огляделась.

— Раполаса нет дома?

— Давно нет. Еще с первой ночи.

— Прямо и не знаю, — призналась Дамулене.

Она не знала, и я не знал. Так мы и стояли посреди двора и, верно, долго бы еще простояли, если бы не настоятель. Увидел нас в окно, побарабанил по стеклу.

— Заходи, Дамулене, заходи.

Он как-то посерел, еще больше поседел, но улыбался. Слово за слово, и он все выведал у Дамулене.

— Сделаем, пожалуй, так, — сказал он. — Пятрасу, конечно, нельзя дольше оставаться там. Найдут — пристрелят на месте. Ему нужно уйти как можно дальше. Возьми, Дамулене, вот этого молодца, — показал он пальцем на меня, — и пусть они пойдут вдвоем. Вдвоем, а не в одиночку. Если один пойдет, это сразу бросится в глаза. Кто идет, куда идет, не от полиции ли скрывается? А когда вдвоем, да еще с мальчишкой... Сама понимаешь, Дамулене.

— Понимаю, ксендз-настоятель, дай вам бог здоровья. Только куда же он пойдет, куда денется?

— Я дам адрес. Передай Пятрасу, пусть прочтет и потом сожжет. Пусть не берет с собой никаких бумаг. Бу-

маги всегда губят человека. Пусть сожжет и направится в Жемайтию. Там другие люди, Пятраса они не знают. А люди хорошие, — добавил настоятель. — Побудет у них, а тем временем у наших фашистов поостынут задницы, тогда посмотрим, как быть дальше.

— Вот спасибо, ксендз-настоятель, — заплакала Дамулене. — Такой человек, такой человек — большевика и того спасаешь.

— Не большевика, а человека надо спасать, — поправил ее настоятель.

И вдруг неизвестно с чего улыбнулся.

— А тогда посмотрим.

— Спасибо, ксенженька-настоятель, дорогой ты наш... — нагнулась она поцеловать ему руку. Он отдернул руку за спину и всерьез пожурил ее.

— Стыдись, матушка. Сколько тебе лет?

— Да ведь полагается...

— Полагается! Все ли мы делаем, что полагается? Ну, отправляйся с богом. А ты подожди, — приказал мне.

Дамулене дошла до двери пятясь и все время кланяясь. Настоятель опечалился.

— Никак не распрямит спину наш народ. Чуть что — руку целовать. А ты тоже таким станешь? — сурово спросил меня.

— Не знаю.

— Все ты знаешь. И видишь все. Ну, вот что, — смягчился настоятель. — Хочу поблагодарить тебя.

— За что? — разинул я рот.

— Хороший пастух ты. Совестьливый, честный. Охотно взял бы тебя и на будущий год. Ты подумай. Если не найдешь чего получше, пожалуйста. Сейчас скажу Амилии, чтобы отвезли тебя домой. А ты подумай.

— Спасибо, ксендз-настоятель. Мне и думать не надо: я согласен.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо. А к Дамулене пойдешь один. Пешком. Дорогу знаешь?

— Знаю.

— Все ты знаешь... Так что же? Может, поцелуемся перед дальней дорогой?

И обнял меня своими ручищами, прижал к себе. И я увидел сквозь слезы, что слезы и у него на глазах.

— Теперь иди, — выпустил меня из объятий. — Всегда будь таким, совестливым, честным. А теперь иди, иди, — сурово сказал он.

И отвернулся к окну.

И опять проводили меня за дверь все: отец, мать, Маре, Лявукас. Только отец не поцеловал меня, как в тот раз, когда я впервые ушел из дому, а пожал руку, как мужчина мужчине, и твердо сказал:

— Держись.

И стояли они возле нашей избенки, как стояли всегда, когда кто-нибудь из нас уходил из дому, надолго уходил. Не было здесь только учительницы Насте, и отец как будто был беспокойнее, чем в другие разы.

— Держись, — сказал он еще раз, когда я вышел за ворота и обернулся. — Держись, сын.

● СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРАЯ

ГОРЕ-ПАСТУХ	7
ХОРЬКИ	20
ТАК ПАДАЛИ ДУБЫ	101
СКАЛА	231

Юозас Карлович БАЛТУШИС

ПРОДАННЫЕ ГОДЫ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1975, 416 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская.**

●

А 09300. Сдано в набор 21/1-75 г. Подписано в печать 22/V-75 г.
Формат $84 \times 108^{1/32}$. Бум. печ. № 1. Печ. л. 13,0. Усл. печ. л. 21,84.
Уч.-изд. л. 22,30. Зак. 1819. Тираж 180.000 экз.

Цена 95 коп.

●

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. Минск, Красная, 23.

В 1975 году
издается 15 книг
библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Й. Абижюс — Потерянный кров. Роман.
Перевод с литовского.

**А. Адамович, В. Быков, В. Богомолов,
Б. Васильев, Ю. Герш, А. Кулаковский,
Б. Рахманин** — Повести о войне.

Ю. Балтушис — Проданные годы. Роман.
Книга вторая. Перевод с литовского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман.
Книга первая.

В. Козаченко — «Молчия». Повести. Пе-
ревод с украинского.

В. Кожевников — Особое подразделение.
Повести и рассказы.

Я. Кросс — Окна в плитняковой стене.
Повести. Перевод с эстонского.

П. Куусберг — Одна ночь. Шоссе свобо-
ды. Романы. Рассказы. Перевод с эс-
тонского.

В. Лам — Кукла и комедиант. Роман. По-
вести. Перевод с латышского.

К. Лордкипанидзе — Клинок без ржавчи-
ны. Повести и рассказы. Перевод с гру-
зинского.

А. Нурпексоз — Крушение. Роман. Книга
третья трилогии «Кровь и пот». Перевод
с казахского.

Ш. Рашидов — Победители. Сильнее бу-
ри. Романы. Перевод с узбекского.

А. Чаковский — Блокада. Роман. Книги
1—5. В трех томах.

Scan Kreyder - 04.10.2018 - STERLITAMAK

7